

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1984

ДЕНЬ
ПОЭЗИИ
1984

ДЕНЬ
ПОЭЗИИ
1984

*Москва
Советский писатель
1985*

Главный редактор В. Цыбин.

*Редколлегия: Л. Аннинский, Э. Балашов, А. Вознесенский,
Е. Винокуров, А. Корнеев, М. Максимов, Ю. Прокушев, Т. Реброва (составитель), Г. Серебряков, Н. Тряпкин, Л. Щипахина.*

Художник Виктор ВИНОГРАДОВ

Дорогой читатель!

Перед тобой— очередной выпуск ежегодника «День поэзии». По традиции, в нем выступают со своими новыми произведениями московские поэты разных поколений. Наряду со знакомыми тебе именами ты встретишь здесь немало новых: редколлегия решила как можно шире представить в этом сборнике творчество тех, кто вступает сегодня в нашу поэзию,— участников VIII Всесоюзного совещания молодых.

Сборник «День поэзии 1984» готовился в год, когда отмечалось пятидесятилетие Союза писателей СССР. Это накладывало на нас особую ответственность. Формируя сборник, мы стремились к тому, чтобы на его страницах нашли свое достойное воплощение деяния и мечты современников, граждан Страны Советов, их героический труд, многообразие и высота их духовных устремлений. Одна из ведущих тем сборника— тема борьбы за сохранение и упрочение мира, борьбы, достигшей в наш «ядерный» век небывалой остроты.

Вместе с голосами активно работающих сегодня поэтов в сборнике звучат голоса тех, кого уже нет с нами, но чье творчество по-прежнему близко и дорого советским читателям: Александра Твардовского, Леонида Мартынова, Василия Федорова и других мастеров нашей поэзии.

Редколлегия

Николай Грибачев

ОТЦЫ

Нет, они не обижены
Славой, наши отцы,
Покидавшие хижины,
Чтоб войти во дворцы.

Этот след не затянется —
След борьбы и труда.
Эта слава останется
На века, навсегда.

Мысль их — вечно разведчица
Перед строем живым.
Новый путь человечества —
Это памятник им!

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Не нравится вам, господа,
Мой образ жизни, да?
Но мне ваш тоже. Так и что ж —
Сойдемся нож на нож?

Они у нас длинные, остры
И, если грянет бой,
С любой достанут высоты,
Из глубины любой.

А дальше что? А что потом?
То ли пожар, то ли потоп,
А то ли вместе вдруг.
И все. И замкнут круг.

И если некий идиот
Соорудит при доме дот,
То и постройка дота —
Напрасная работа.

Подходит? Вряд ли. Но тогда
Что будем делать, господа?
Ведь, кроме нас, на это
Никто не даст ответа.

ДО ВСТРЕЧИ

Прикраснело поле,
Удлинились тени.
Вижу в нашей школе
Стертые ступени.

Песни, ссоры, лица,
Сад и запах тмина...
Лишь мгновенье длится
Давняя картина.

А потом дороги,
Дым и шум перрона.
Пять могил у Волги,
Три в лесу у Дона.

И на горной выси,
И в глухом ущелье,
И еще на Висле,
И еще на Шпрее.

Грани обелисков,
Имена и даты,
На пути неблизком
Горькие утраты.

Нас вернулось мало,
Нас осталось мало,
Да и тем здоровье
Время доломало.

Так до скорой встречи!
Удлинились тени,
Размывает вечер
Школьные ступени.

Константин Ваншенкин

* * *

Улицу неспешно перейду
Возле светофора.
Встреча ветеранов в ПТУ
Состоится скоро.

Наш полковник делает доклад.
Ничего, но длинновато.
И за этим нужен был догляд —
Размышляем виновато.

Но и он кончает речь свою,
И до их готового ответа
Я, уже объявленный, стою,
Щурясь, как от света.

Что сказать? Что мог сгореть не раз?
Не прийти обратно?
Ну, а что я был моложе вас,
Это вам понятно?

Пролетели звонкие года
В бешеном намете.
Вы поймите это, и тогда
Многое поймете.

Сквозь совсем иное бытие,
На другой орбите,
Вы воображение свое
Все же напрягите.

Не зову поверить вас самих
В вашу будущую старость, —
Только в нашу юность в этот миг,
Несмотря на то, что с нами случилось!

БЕРЕЗА

В похожем на этот, быллом сентябре,
Когда синевы наплывает лавина,
Березку свою посадил на бугре
Счастливым отец в честь рождения сына.

А годы стремительно — каждый как вскрик —
Мелькая, проносятся справа и слева.
И что-то бормочет согбенный старик,
Ровесник могучего белого древа.

СТАРОСТЬ

Дед смутился — не узнал.
Ведь годов-то — с перебором.
Вспомнить, виделась в котором,
Нету сил уже — устал.

Чуть покачиваясь, он
Смотрит, светлого светлее,
Долгой старостью своею
Незаметно опьянен.

Как бывает у кого! —
Мы свой возраст молча терпим.
Впрочем, старость — только термин,
И не более того.

* * *

Как определяют без затей
Мореходы путь по звездам,
Так живет потребность у детей
Прижиматься к взрослым.

В детском доме все же нет родни.
Одиночества громада.
Дети — что ни сделаешь — одни.
Остальное — все как надо.

Мальчик безнадежно угасал
От тоски великой, не от боли.
Был помочь не в силах персонал,
Чем бы ни кололи.

Нянечка за совесть, не за страх,
На руках пять дней его носила,
И в него, буквально на глазах,
Из нее переливалась сила.

Ну а мы действительно родня,
И такие наступили сроки,
Что от внучки маленькой — в меня
Каждый день перетекают токи.

ВНУЧКЕ

Облетают листья,
Скоро — и зима,
Под небесной высью
Холодно весьма.

В солнечной полуде
Купол голубой.
Мы, понятно, люди
Близкие с тобой.

Вышли на дорожку
Около берез.
Что-то понарошку,
Что-то и всерьез.

Балуемся срочно.
Топаем: — Раз-два! —
Связанные прочно
Узами родства.

ФУТБОЛИСТ

Бесконечная усталость.
Пот, катящийся с виска.
Мало времени осталось
До финального свистка.

Был я молод, бегал вволю,
Так и шастал как челнок
По размеченному полю,
Не жалея сильных ног.

А встречали! — как министра.
Уважительно до слез.
Операцию мениска
Я еще не перенес.

Тренированное тело
Тоже к сроку устает.
Пусть все это пролетело,
Но во мне оно поет.

Вот судейская сирена
У судьбы уже во рту.
Лужниковская арена
Отступает в темноту.

Может быть, не всем заметны
В тишине, на склоне дня,
Но отдельные моменты
Были в жизни у меня.

БОЛЬНИЧНЫЙ РОМАН

Промытый ливнем день весенний.
Высокая голубизна.
Больница. Время посещений.
И кто-то смотрит из окна.

На каждой крашеной скамейке,
Так умилительно, хоть плачь,
Сидят по две и три семейки
Со сверточками передач.

И к ним выходят их больные,
Задумчивы и смущены.
Их лица, бледные, родные,
Улыбками освещены.

Но в этом слабом слитном гаме
Мне пара странная видна:
Она в халате, он в пижаме,
И с ними рядом тишина.

Судьбою пойманы с поличным
У рокового рубежа,
Гуляют в скверике больничном,
Друг друга за руки держа.

* * *

Надоело прыгать,
Тешить прыть свою.
Появилась прихоть —
Завести семью.

Захотелось замуж.
Вспыхнула в тиши
Золотая залежь
Собственной души.

С этою душою
Исстрадалась всласть.
А еще с другою
Надобно совпасть.

А еще несмело,
Будто от обид,
Колоколом тело
Девичье гудит.

* * *

Темнеет. Около восьми.
Погасли солнечные слитки.
Стоит Твардовский с дочерьми
На даче, около калитки.

Близ милых выросших детей,
Да-да, детей. Большой как башня.
Машину ждут или гостей? —
Теперь это уже неважно.

А важно — тишь, туман, Пахра,
Вдруг вспоминаемые снова,
И быстротечная пора
Былого вечера земного.

СВЕКРОВЬ

Не щадя людского слуха,
Материлась почему зря
Одинокая старуха,
Про невестку говоря.

Отняла невестка сына,
Нужно думать, навсегда.
И какая у ей сила! —
Ни управы, ни суда.

...Болью искренней своею
Выделялась меж людьми.
Возмущались громко ею
Только женщины с детьми.

ДЕРЕВО

В праздных блужданиях ваших,
В дымке прибрежной дуги,
С треском взрывается вальдшнеп
Осенью из-под ноги.

В чащу кидается заяц,
Вас напугав заодно, —
Робок, но прыток на зависть,
Что вам известно давно.

Но и сквозь вашу ученость
Вас задевает порой
Дерева незащищенность
Пред топором и пилой.

ЛЕЙТЕНАНТ

Лейтенант — вчера курсант, —
— Вста-ать! — команду подал взводу.
А в ответ: — Пустой курсак.
Перемерзнем в непогоду...

— Что такое? Старшина!..
— Кухни здорово отстали...—
А в дверях — пурги стена,
Грохот гусеничной стали.

Лейтенант опять: — За мно-ой! —
И от черного порога
Их выводит в путь земной
Наподобие пророка.

Сергей Смирнов

РАЗДУМЬЕ ВСЛУХ

Поэт иметь обязан почерк.
Иметь
 особинку строки,
Где хмель и дух весенних почек
Бушуют, стуже вопреки.

Поэт отгранивает слово,
Где время светится до дна,
Где не смолкает гул бывшего
И даль грядущего видна.

Поэт — пророчество
 и веха,
И ширь, по самый окоем,
Он — луч,
 он — зов
 и стрежень века
В духовном облике своем.

Поэт — общенье с целым светом,
Сегодня больше, чем вчера.
А кто не думает об этом,
Тому
 задуматься пора.

МОСКВА-СТОЛИЦА

Москва,
Любовь к тебе
 всегда со мною.

Любовь —
Не передать, что скрыто в ней.
Любовь
 собой объемлет все земное.

Любовь —
Теплынь и стрежень
Наших дней.

Любовь
 диктует мыслить
 крупным планом.

Любовь —
Душенастройщица моя.
Любовь к тебе —
 любовь к одноземлянам,
Любовь
Неафишируемая...

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КОСТЕРОК

Ну и вид —
 не сыщешь лучше:
Круча — узел троп-дорог.
А среди приречной кручи
Полыхает костерок.

Полыхает от заката
До светанья поутру.
Здесь все парни и девчата
Веселятся на юру.

Тут им вольно,
Тут и любо,
Тут сильнее стучат сердца.
Ведь поблизости —
 ни клуба,
Ни, тем более, дворца.

И сюда спешат с работы,
Каждый каждому знаком, —
Кто на «VELO»,
 кто на «МОТО»,
Кто
 на собственных —
 пешком.

Не беда, что нет буфета
Под шатром из двух берез,
Самобранками —
 газеты,
Угощайся что принес.

Хлеб, картошка, лук, редиска,
Даже хлебное вино...
С ходу —
 стопка гармонисту,
Он ведущее лицо.

Как вздохнут меха трехрядки,
Эхо множится окрест.
Женихи на танцплощадке
Кружат бережно невест.

Тут не просто так девчата —
Знатных лиц полным-полно.
А ребята — парни хвататы,
Хоть «вноси на полотно».

Тут питомцы средней школы —
Сплошь девчоночья среда.
Эх,
 орлят мужского пола
Поприбавить бы сюда!

И звучат,
 в одно сплетаясь,
Два фольклорные ручья:

«Мы на лодочке катались»...
 «...Восемь девок —
 один я»...

Самодетельность эта —
 Юных душ неугомонь.
 Пенье соло и дуэтом,
 Пенье хором под гармонию.

Пляс —
 до головокруженья.
 Танцы —
 кровь кипит от них...
 Но страда,
 как дни сражений,
 Не приемлет выходных.

Вот мычит на ферме стадо.
 Разгорается рассвет.
 Отдохнуть бы малость надо,
 А любовь диктует —
 нет!

Вот обнял
 кого-то кто-то,
 А уже светло, как днем...
 Все с гулянки —
 на работу!
 По дороге отдохнем!

ЛИЧНЫЙ ЗНАК

Экслибрис мой
 Не книжный признак,
 Не штамп,
 Не вензель именной,
 Нет, это знак
 на Книге Жизни

Моей,
 Творимой лично мной.

Насобирал
 По белу свету
 Пять
 Полустершихся подков
 И положил находку эту
 На грудь
 пяти материков.

Скрестил их
 кумачовой нитью.

И вот
 Фигура хоть куда:
 С боков — подковы,
 А в зените
 Пятиконечная звезда.

Вписал свои инициалы
 В сиянье звездное ее.
 Да это же — экслибрис алый, —
 Творенье собственно мое.

Сияй же,
 белый свет не застя,
 Гори
 Светлей да горячей,

Мой личный знак —
 Подковы счастья
 И краснозвездье
 в пять лучей!

ВЕТЕРАНСКАЯ РЕПЛИКА

Возможность самоустраниться
 Пришла —
 от всех постов и дел.
 Теперь ты сам себе
 граница
 И свой желаемый предел.

Уходишь на законный отдых,
 Как старожил и ветеран.
 Гуляй в саду,
 лечись на водах,
 Кочуй среди морей и стран.

Цени покой.
 Гасти волнение.
 Вовсю довольствуйся судьбой...
 Но чувство самоустраненья
 Отнюдь не радует собой.

Оно как путь без главной цели,
 Оно безнравственно,
 когда

Вся жизнь
 на ядерном прицеле —
 Не знает, кинуться куда.

Нет,
 не отдам на поруганье
 Тебя во всей твоей красе.
 Твои враги —
 и мне врагами,

Как были,
 Так и будут все.

Сияй
 девизом всех девизов,
 Мечта и явь,
 Что мир хорош.
 И те,
 кто нам бросает вызов,
 Не поживятся
 Ни на грош!

Владимир Соколов

* * *

Мне будет вечно сниться дождь
 И шум листвы у изголовья
 Каких-то баснословных рош
 Бесчашья или безвековья.

Мне будет вечно сниться путь,
 Скрывающийся за холмами,
 Которым позабыл шагнуть,
 Как снится детский сон о маме.

Мне будет вечно сниться дождь
С полурасплывшейся страницы.
И то, как ты меня зовешь
И я встаю, мне будет сниться.

Так будут ветки ходуном
Ходить, мешая солнцу с тенью.
И тоже станут чьим-то сном...
Но будет в песне — воскресенье!

Потомок, выстой под окном,
Домучься до стихотворенья!

О СНЕГЕ

*Доре Боневой,
болгарской художнице*

«Еще в полях белеет снег» —
Заметил гениальный Тютчев...
А мне последних хлопьев бег
Всю душу вымотал, наскучив.

Уже смеются надо мной,
Подсчитывая, сколько строчек
Забил я снежной белизной
И синевой, без проволочек.

Постой, не смейся, подожди,
Не утруждай косые взгляды,
Я скоро выйду на дожди,
На листопады, звездопады.

...Дождь моросил, а не хлестал.
Тянулась серая погода.
И стало так — что снег восстал,
Как время и души и года.

Он заглушал собой ручей,
Незаселенный город строил.
Он был пустой, он был ничей,
И я себе его присвоил.

* * *

Евгению Евтушенко

Ветер ли свищет в желтом лесу,
Птица ль в саду, где нет никого,
Солнце ль роняет блики в росу —
Время зовет слугу своего.

Перевести соберешься дух —
Вдруг встрепенешься ни от чего.
Это необязательно вслух,
Время зовет слугу своего.

Как тишиной своей ни кружи,
Вызовет, перед глазами встав,
Гордая лирика спелой ржи,
Горькая лирика жухлых трав.

Листья ль кружатся в старом пруду,
Птица ль в саду, где нет никого,
Личную ли повстречал беду —
Время зовет слугу своего.

— Я не слуга, я хозяин, я...—
Но, не желая знать ничего,
Из неработы — небытия —
Время зовет слугу своего!

МАРТ

Кто голову кому тут задурил,
Снег саду или снегу ветер вешний?
Или все трое мне? Но я открыл,
Что машет синь оттаявшей скворешней.

Блестят на всех заборах воробы
И мелким дождичком о чем-то сыплют.
И — как в глаза, от счастья и любви
Все зыблется, так воздух стены зыблет.

Я оставляю сад. Он городской.
Он отстаёт от улицы и даже
От переулка — со своей тоской
Внезапно устаревшего пейзажа.

Над ним скворешник в воздухе парит.
А он, лишь день назад манивший пышно,
Теперь такой, как будто говорит:
Да нет, у нас бы ничего не вышло.

Снег запорхал! Как будто бы с утра,
Преодолев и ветер и смущенье,
Все, кто не познакомился вчера,
Наверстывают это упущенье.

* * *

Есть жизнь у меня,
О которой не знает никто.
Возьму свою трость,
Потихоньку надену пальто.

И скроюсь. Исчезну.
Растаю, как воздух, как даль.
Куда же он делся? —
Посмотрит на туфельку шаль.

Расскажет ли трость,
Возвратясь:
Отдохнул иль устал,
Кого обогнал.
От кого я в той жизни
Отстал?

Возможно наступит
Серьезнейшая тишина...
А это — всего только тайна,
Загадка одна.

ПОСЛЕ ПОЭМЫ

Ну вот и свершили мы этот побег —
Во времени выбрали время —
И нас не узнал ни один человек,
Когда мы вернулись в поэме.

Ах, как было трудно собою не быть
И все ж оставаться собою.

Тебя, как поэма велит, не любить
И жертвовать личной судьбою.

Такой уж нам свыше достался сюжет,
Чтоб ты в нем любила другого.
И ты помогла мне закончить портрет
Ценою лица дорогого.

Я знаю, никто не поможет другой.
Ты всех мне дороже и ближе.
Живой, не поэзный спасется герой,
Прочтя ее... Я это вижу.

Не надо спасать и прокладывать след!
Мы вышли в поэзные дали...
Хоть в жизни иной, как заметил поэт,
Друг друга они не узнали.

Владимир Гордейчев

В РУДНИКЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»,
СИХОТЕ-АЛИНЬ.

В. Е. Субботину

Штреком шли, ускоряя шаги.
Тени свет искажал великански.
Прогибали настил сапоги.
Мелочь брызг разбивалась о каски.
Мгла густела. Однако в груди
пребывать скукоте холодящей
не давал командир, впереди
угловатую тенью летящий.
Он ногами закидисто греб,
тем же самым вымахивал шагом,
как входил к пехотинцам в окоп,
словно в штрек, перед самым рейхстагом.
Он к проходчикам, словно в бою,
обращал свое слово достойно,
так похожий на книгу свою
про Берлин: «Как кончаются войны».
Там, где кровля касалась голов,
в темноту, что слагалась из пыли,
словно пять автоматных стволов,
наши лампы навскидку палили.
Соблюдая дистанцию все ж,
находил я (такая минута),
что и свет был на вспышки похож
в сорок пятом, в Берлине, салюта.
Я и после, под солнцем уже,
нес в глубинах отысканным призом
осветленность победой, душе
лишь одно пониманье приблизив:
старший, равенство наше двоя,
дня победного памятной вспышкой
мог вернуть себя в юность, а я
дня того ж становился мальчишкой.
Много больше, чем к залежам руд,
с тех великих времен, без изъятья,
нас, мальчишек всегдашних, ведут
воевавшие старшие братья,
что и в воинском адском огне,
и в гражданские влившихся десанты,
учат праведной нас глубине,—
и Вергилии наши, и Данты.

В НАЧАЛЕ ДНЯ

Слепящий свет — сквозь сомкнутые веки.
А разомкнул — опять лепечет клен...
Не знак ли подан в этаком «привете»:
вздрог ядерный — и ты испепелен?..
Такую леденящую мыслишку
вдруг явит миг, хватая через край,
когда тебе в глаза швыряет вспышку,
визжа контактным проводом,
трамвай.
А клен себе шумит зеленой сенью,
младенчески не ведая о том,
что и его касается давление
томительно-зноблящих мегатонн.
Трамвайные грохочут колесницы,
и утренний настолько мир хорош,
что страшно снова схлопывать ресницы:
вдруг больше их уже
не разомкнешь?..

Борис Слуцкий

МОИ МОЛОДЫЕ ТОВАРИЩИ

Мои молодые товарищи
давно перешли в сказанья
и старше Ивана Грозного
с опричниной
и Казанью.
Мои молодые товарищи
древней богатырских былин,
Киевского цикла
и Новгородского цикла.
Как к лету земля привыкла,
она привыкла к товарищам,
павшим
в бою за Берлин.

Когда ночами бессонными
они приходят ко мне,
когда перстами беззвучными
они меня нежно будят,
мне кажется:
мы причастны
к самой главной войне.
Такой, наверное, не было.
Конечно, такой не будет.

Оружье моих товарищей
коррозия не берет,
и возраст моих товарищей
самое время не старит.
Я шел и остановился.
Они шагают вперед.
О чем-то тихо толкуют
или неслышно гутарят.

Они обсуждают в подробностях
умолкнувшие бои.
Как молодые
молодые
товарищи мои!

СОН ОБ ОТЦЕ

Засыпаю только лицом к стене,
потому что сон — это образ конца
или, как теперь говорят, модель.
Что мне этой ночью приснится во сне?
Загадаю сегодня увидеть
отца,
чтобы он с газетою в кресле сидел.

Он, устроивший с большим трудом
дом,
тянувший семью,
поднявший детей,
обучивший как следует нас троих,
думал, видимо:
мир — это тоже дом,
от газеты требовал добрых вестей,
горько сетовал, что не хватает их.

«Непорядок», — думал отец. Иногда
даже произносил: — Непорядок! — он.
До сих пор в ушах это слово отца.
Мировая — ему казалось — беда
оттого, что каждый хороший закон
соблюдается,
но не совсем до конца.

Он не верил в хаос,
он думал, что
бережливость, трезвость, спокойный тон
мировое зло убьют наповал,
и поэтому он лицевал пальто
сперва справа налево,
а потом
слева направо его лицевал.

Он с работы пришел,
вот он в кресле сидит.
Вот и новость нашел.
Вот и хмуρο глядит.

Но потом разглаживается
лоб отцов
и улыбка смягчает
твердый рот,
потому что он знает,
в конце концов,
все идет к хорошему,
то есть вперед.

И когда он подумает обо всем,
и когда это все приснится мне,
окончательно
проваливаюсь
в сон,
привалясь к стене.

ДОМОЙ!

Расходимся по домам,
застрявшие на рубеже.
Все те, кто нас поднимал,
давно разошлись уже.

Они разошлись давно —
кто как,
кто мог,
кто куда.
Им так теперь все равно!
Беда им уже — не беда!

Когда-то было легко
уйти из домов поутру,
но это столь далеко,
что слова не подберу.

Теперь легко молодым —
пора веселых ребят,
и то, что нам неподым,
теперь молодым впадет.

Подобно черным дымам,
летающим по городам,
расходимся по домам,
расходимся по домам.

СТАРУХА — СТАРИКУ

Старуха старику
кричит по телефону.
Про что она кричит?
Она кричит про то,
чтоб он не смел гулять,
ну, разве по балкону
и то —
закутавшись в суконное пальто.

— Поаккуратней двери запирай! —
она кричит
с такою грозной силой,
что мне все слышится:
— Не умирай!
Живи, пожалуйста,
мой милый, милый!

НАБРОСОК АВТОПОРТРЕТА

В этот город разнородный
я вписался где-то сбоку:
краснорожий, толстомордый...
Ну и что же — слава богу!

Я привык к твоим уставам,
город!
Знаю, не простят.
Привыкай к моим суставам,
что от старости хрустят.

Я соблюл твои законы.
Ты теперь моя семья.
Мы теперь давно знакомы,
так-то, город, ты и я.

Я деталь твоих пейзажей:
краснорожий,
дошлый,
ражий.

Евгений Евтушенко

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Я учился не только у тех,
кто из рам золоченых лучился,
а у тех, кто на паспортном фото
и то не совсем получился.
Больше, чем у Толстого,
учился я с детства толково
у слепцов,
по вагонам хрипевших
про графа Толстого.
У барака
учился я больше, чем у Пастернака.
Драка — это стихия моя,
и стихи мои в стиле «баракко».
Я уроки Есенина брал
в забегаловках у инвалидов,
раздиравших тельняшки,
все тайны свои немудреные выдав.
Маяковского «лесенка»
столького мне не дарила,
как замызганных лестниц
штанами надраенные перила.
Я учился в Зиме
у моих молчаливейших бабок
не бояться порезов,
царапин и прочих других окорябок.
Я учился у дяди Андрея,
трехтонку гонявшего вместо бензина на чурках,
различать —
кто в залатанных катанках,
кто —
в окантованных бурках.
У Четвертой мещанской учился,
у Марьиной Роши
быть стальнее ножа
и чинарика проще.
Пустыри — мои пастыри.
Очередь — вот моя матерь.
Я учился у всех огольцов,
кто меня колошматил.
Я учился прорыву
разбойного русского слова
не у профессоров,
а у взмокшего Севы Боброва.
Я учился
у бледных издерганных графоманов
с роковым содержанием стихов
и пустым содержанием карманов.
Я учился у всех чудаков с чердаков,
у закройщицы Алки,
целовавшей меня
в темной кухне ночной коммуналки.
Я учился у созданной мною
бетонщицы Ньюшки,
для которой всю жизнь
собирал по России веснушки.
Нюшка — это я сам,
и все Ньюшки России,
сотрясая Нью-Йорк и Париж,
из меня голосили.

Сам я собран из родинки родинки,
ссадин и шрамов,
колыбелей и кладбищ,
хибарок и храмов.
Первым шаром земным для меня
был без ниточки в нем заграничной
мяч тряпичный
с прилипшею крошкой кирпичной,
а когда я прорвался к земному,
уже настоящему шару,
я увидел — он тоже лоскутный
и тоже подвержен удару.
И я проклял кровавый футбол,
где играют планетой
без судей и правил,
и любой лоскуточек планеты,
к нему прикоснувшись, прославил!
И я шел по планете,
как будто по Марьиной Роше гигантской,
и учился по лицам старух —
то вьетнамской,
а то перуанской.
Я учился смекалке,
преподанной голью всемирной и рванью,
эскимосскому нюху во льдах,
итальянскому неуныванью.
Я учился у Гарлема
бедность не чувствовать бедной,
словно негр, чье лицо
лишь намазано кожей белой.
И я понял, что гнет большинство
на других свои шеи,
а в морщины тех шей
меньшинство укрывается,
словно в траншеи.
И я понял, что долг большинства —
заклейменных проклятьем хозяев —
из народных морщин
выбить всех окопавшихся в них негодяев!
Я клеймом большинства заклею.
Я хочу быть их кровом и пищей.
Я — лишь имя людей без имен.
Я — писатель всех тех, кто не пишет.
Я писатель,
которого создал читатель,
и я создал читателя.
Долг мой хоть чем-то оплачен.
Перед вами я весь —
ваш создатель и ваше создание,
антология вас,
ваших жизней второе издание.
Гол, как сокол, стою,
отвергая придворных портняжек мошенство,
воплощенное ваше
и собственное несовершенство.
Я стою на руинах
разрушенных мною любовью.
Пепел дружб и надежд
охладело слетает с ладоней.
Немотою давясь
и пристроившись в очередь с краем,
за любого из вас,
как за Родину, я умираю.
От любви умираю
и вою от боли по-волчьи.

Если вас презираю —
 себя самого еще больше.
 Я без вас бы пропал.
 Помогите мне быть настоящим,
 чтобы вверх не упал,
 не позволил пропасть всем пропащим.
 Я — кошелка, собравшая всех,
 кто с авоськой, кошелкой.
 Как базарный фотограф,
 я всех вас без счета нащелкал.
 Я — ваш общий портрет,
 где так много дописывать надо.
 Ваши лица — мой Лувр,
 мое тайное личное Прадо.
 Я как видеомагнитофон,
 где заряжены вами кассеты.
 Я — попытка чужих дневников
 и попытка всемирной газеты.
 Вы себя написали
 изгрызенной мной авторучкой.
 Не хочу вас учить.
 Я хочу быть всегда недоучкой.

Николай Тряпкин

СТИХИ О ПЕРВОМ СОВХОЗЕ

Я приехал сюда в ту старинную пору —
 в тридцатом, —
 И весь детский медок испарился в душе у меня:
 Загремело шоссе под железом грохочущих скатов,
 Зарычали «фордзоны», запахла соляжкой земля.
 Зарычали «фордзоны»,
 прогрохал битюг с водовозом,
 И успел насчитать я с полста коновязей вокруг.
 Это было судьбой. Это было тем самым совхозом,
 Где мне жить предстояло
 и строить свой песенный струг.

Двухэтажные зданья стояли по всем направлениям,
 А столбов телеграфных я так и не смог сосчитать.
 Это было райцентром. И всех рупоров голошеньем.
 Ах, таких рупоров нам нигде уж теперь
 не встречать!

Грохотала вся Русь, примостясь на железных
 приколах!
 И со всех верхотур! И во всю первозданную прыть!
 И почувствовал я: не знаять уже прежнего крова
 Никому и нигде — и по прежней траве не бродить.

И все зданья кругом — то взлетали, как мячики,
 в гору,
 То, как бочки с раската, стремились под самый
 раскат.
 А планета Земля уносила в безвестную пору,
 Уходила туда, где гудел
 бухенвальдский набат.

И неслась на меня та подвода с лихим водовозом —
 И насквозь пролетела, рванувши кнута вервием...
 Это было судьбой. Это было великим прогнозом.
 И гудели все струны в мальчишеском сердце моем.

* * *

Экзотика мира сего — такая, брат, детская штука!
 Такой примитивный парик —
 экзотика мира сего!
 И даже романтики дым для зрелости, брат,
 не годится:
 Не слишком, брат, хитрая вещь —
 туману в глаза напустить.

Из мухи выдуть слона иль страуса сделать
 блохою, —
 Пусть это забавно порой — не в этом соль
 мастерства.
 Предметы в натуре своей — вот высшая проба
 искусства,
 И чувства в своем естестве — вот радость
 для истинных муз!

СРЕДИ ИЗНАЧАЛЬЯ РУССКОГО...

Среди изначалья русского
 И целого белого света
 В какой же именно местности
 Предстал я на суд мирской?
 А была деревенька Саблино
 Романовского сельсовета,
 Уезда старинного — Старицкого,
 Губернии, значит, Тверской.

Такая была деревенька —
 Сосновая, бирюзовая,
 По улице — травка зеленая,
 А посередке — прогон.
 Осталась она в моей памяти
 Почти целиком уже новая —
 Сосновая, бирюзовая,
 В малиновый перезвон.

Вот там-то я и родился —
 Под тем ли кумачным цветом
 Да вместе с Советской властью
 У той ли земной межи.
 Да здравствует наша деревня
 Романовского сельсовета!
 Да здравствуют наши саблинцы,
 По прозвищу «мураши»!

И пусть той моей деревни
 Давно уже нет в помине,
 Пускай там одни цветочки
 Да кружится снеговой, —
 Да здравствует та деревня
 В словесной моей долине!
 Да здравствует та деревня —
 И вечная слава ей!

СОВРЕМЕННОКАМ

Гении — вы,
а не в Будущем кто-то,
С профилем вечным,
с величьем в очах...
Нет у планеты
другого оплота —
Главные грузы —
на ваших плечах.
Вам — не кому-то —
и чуют тревогу
Слушая
Времени ход грозовой
Вам перекрыть —
не кому-то —
Третьей —
последней —
войне мировой.
Вас подымает борьбы непреложность
К высшим вершинам —
над горным хребтом, —
Вам поручается
гениев должность,
Гении — вы,
а не кто-то потом.

* * *

Все здесь:
и праздники, и будни,
Потери,
боль и торжество —
Другого Времени
не будет
У поколенья моего,
И места действия —
другого:
Здесь — Современник —
нам судья.
Здесь — наша жизнь,
и смерть, и слово,
Да и посмертная
судьба.
А все ли в жизни
мы свершили,
Со всеми — вместе —
все деля,
А так ли пели,
так ли жили —
Докажут —
будущих —
Дела,
Докажет молодость чужая —
Принадлежа иным векам,
Оттуда, может, —
нас читая,
Потянется
к фронтовикам.

* * *

Не пропадают наши битвы,
Все наши смертные бои.
Они —
подковы будто —
вбиты
В походку
и в дела твои.
И, ставшие твоею сущью,
Звучат в тебе,
как высший глас.
Определяют наши судьбы
Они — подчас —
помимо нас.

СРОКИ

То — к солнцу рванешься,
то — рушишься в темь,
А все свою главную песню не сложишь.
Они
уложились
в свои Тридцать Семь,
А ты в шестьдесят
уложиться не можешь...
Все тянет и тянет веревка тропы.
С большими
иль с малыми
нынче ты ровень?
Проносит —
сквозь Время — азартом борьбы.
Уже погибать неудобно бы вроде...
Могу и яснее сказать: не поймут...
Иль скажут:
— Теперь он погиб от бессилья... —
Так что ж тебя держит —
иль быта хомут,
Иль, может, действительно
крепкие крылья?
Иль вера, что слово твое —
впереди?
...За верность Столетью собой награди,
О Главное слово, скорее гряди!
Мне с этим вставать.
И мне с этим ложиться.
Но чувствую,
чувствую болью в груди,
Что в сроки свои
не могу уложиться.

* * *

И с болью думаю и страхом,
Себя невидимо казня,
Что пеплом стали вы и прахом,
Мои ровесники друзья.
И все — из сердца не уходит,
Все не идет из головы, —
Что вас бессмертье вдаль уводит
И что землю стали вы...

ПОБЕДА

Даже тот, кто пришел
На войну перед самым рейхстагом
И мальчишкой безусым
По счастью в бою не почил,
Не успел проявить
Свою волю, отвагу и храбрость,—
Но одну—«За победу»—
Законно медаль получил.

А потом—
Юбилейных и памятных—
Много прибавилось к этой медали.
Юбилейных и памятных—
Желтых кружков дорогих.

Сорок лет пронеслось
После нашей Великой Победы,
И медали чеканятся вновь
На Московском Монетном дворе.

Сорок лет пронеслось...
Из одной—стало восемь наград.
А у тех, кто навеки уснул
На Великой Российской равнине—
Ни единой медали,
И льгот—никаких...
Для них утешенье—
Победа.

* * *

Л. Лавлинскому

Георгиевский крест—
Награда небольшая.
Но все же дорога—
Своя, а не чужая.

И дед ее берег,
Завертывал в тряпицу,
Как память злых дорог
В болгарскую столицу.

Я деда не видал.
Я родился в тридцатом.
Отец мне передал
Тот крестик в сорок пятом.

Сказал: храни, сынок,
Как и мои медали...
Прошел немалый срок—
Мне тоже орден дали.

Я получал в Кремле
Ту скромную награду.
Поземка по земле
Летела на ограду.

Был радостен и свеж
Кирпич на Спасской башне.
И трепетных надежд
Был полон дух щемящий.

И в золотой пыли
Зубцы и башни были.
Мы рядом с другом шли.
Нас вместе наградили...

Когда стихи пишу,
Решаю кривотолки,
Все пристальней гляжу
За стекла книжной полки.

Там серебро блестит,
Эмаль и позолота:
Георгиевский крест
И орден «Знак Почета».

ПИСЬМО ЛЕСНИЧИМ НЕРИНГИ

Ваша литовская ива
Не переносит солености.
Сохнет, не приживается
На прибрежном балтийском песке.
Не огорчайтесь,
Это—не самые страшные горести,
Когда жизнь
Всего человечества
Качается на волоске.

И я сегодня все пристальней
Всматриваюсь в историю.
Думаю о Грюнвальде...
Слышу боль последней войны...
И вспоминаю ивы—
Кусты и деревья, которые
Растут на бескрайних просторах
Великой нашей страны.

Их перечесть невозможно—
Растения рода *Salix*—
Гораздо более сотни
Разного вида ив...
Из заросли сосен выпрыгнул
Чуть рыжеватый заяц.
Белый туман опустился
На тихий Куршский залив...

На Куршской косе вспоминается
О многих веках и потерях.
А ветер ломает сосны.
А в берег стучит волна.
Посадками ивы извечно
Мы укрепляем берег.
Но вот ведь—не приживается!—
От крови вода солона.

Мы снова умрем за Родину,
Как пращуров умирала.
Лишь бы зло не селилось
В наших братских сердцах...
Мне ясно припоминается,
Что где-то на Южном Урале
Есть мелкая ива, растущая
Даже на солонцах.

Я туда съезжу осенью,
Хоть это путь неблизкий.

И мы одолеем вместе
И злую волну, и пески.

Я вам привезу весною
От горькой ивы российской
Чуть розоватые, теплые —
Словно слеза — черенки.

* * *

Ирине

Видна труба заброшенной котельной,
И вьется лист — в подобие стрижу.
И из окна палаты неотдельной
Я каждый вечер все на них гляжу.

Ах, солнце, солнце!
Свет моей надежды.
Ах, Ира, Ира!
Свет моей души.
Я каждый вечер опускаю вежды
И говорю:
Живи, мой друг, дыши.

Мои часы — из солнца и трубы.
Мой календарь — из ветра и березы.
Моя любовь, конечно, из судьбы.
Но там — все слезы, слезы,
слезы, слезы...

ВЕНЧАНЬЕ ПОЭТА-ДЕКАБРИСТА. 1829

Владимиру Федосеевичу Раевскому

Венчанье, венчанье...
А может быть, это прощанье?
И добрый священник
Напрасно сулит обещанья,
Что жизнь хороша
И прекрасна и даже
Совсем не тревожна,
Да разве такое возможно?

И вдруг в барабане
Под куполом вспыхнуло
Яркое солнце.
А день-то январский
Угрюмый и черный
Над Русью просторной.
Откуда же солнце?
Откуда?
Ведь это и вправду
Похоже на чудо.

И руки, и свечи,
И наши венчальные кольца.
И снова под куполом —
Яркое вспыхнуло солнце.

А день-то январский
Угрюмый и черный
Над Русью просторной.
Откуда же солнце,
Откуда?
Наверное, чудо.

Егор Исаев

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС

ПОЭМА

1

Есть, есть он, двадцать пятый час.
Не в круглых сутках есть,
а в нас.

Есть в нашей памяти о тех,
Кто под траву ушел.
Под снег.
Ушел за свой последний след
Туда, где даже тени нет.

И все ж, я уверяю вас,
Он в междучасье есть,
тот час,

Есть в промежутке том,
Куда —
Что сутки! — целые года
Вмещаются, как смысл в слова,
И где особенно жива
И где особенно одна
Земля от высших сфер до дна,
Одна с утра и до утра.
От общей массы до ядра
Мельчайших атомов-частиц,
От скорбных до веселых лиц
Одна
на миллионы нас...

2

И вот как раз
В тот самый час,
Не знаю, явь ли это, сон,
Но с пьедестала
сходит
он.
Тот вечной памяти солдат,
Из бронзы с головы до пят,
И, верность подвигу храня,
Девчонку ту, что из огня
Он вынес много лет назад,
Баюкая, несет в детсад
Сквозь Трептов-парк...
И там,
В саду,
Укладывает спать
В ряду
Других ребят — о том и речь, —
А рядом с ней кладет свой меч,
Тот самый, коим искромсал
Громаду свастики,
А сам
Тем часом — все по форме чтоб —
Пилотку уголком на лоб
Хотел подправить,
Да забыл,
Пилотку ту осколок сбил
Еще тогда, тогда, тогда...

Года —
Как за грядой гряда.

Уж скоро сорок будет, как
Сюда пришел он, в Трентов-парк,
Из тех обугленных равнин,
В одном лице — отец и сын,
В одном лице — жених и муж,
В одном родстве на весь Союз,
Оплакан всюду и любим,
Пришел и встал.
Неколебим.
На самый высший в мире пост,
Лицом и подвигом — до звезд.

3

И вдруг...
В горах ли что стряслось!
Земная ль отклонилась ось!
Подвижку ль сделал континент!
А то и просто:
В тот момент
Он сам — что тоже может быть —
Такой телесной жаждой жить
Проникся с головы до ног,
Ито, хоть и бронзовый,
Не мог
Он не пойти домой к себе,
Чтоб там размяться на косьебе,
Чтоб там во сне, как наяву,
Обнять жену свою — вдову.
Детей,
Внучат своих обнять,
А если мать жива,
И мать
Обнять
И далее идти,
Чтоб службу памяти нести, —
Везде — мосты ли, не мосты —
Узнать: на месте ль все посты
И каково стоит им,
Друзьям-товарищам своим.
В граните,
В бронзе,
Здесь и там,
По деревням,
По городам!..
И не забыть зайти притом
И в дальний тот,
И в ближний дом,
Зайти на боль от старых ран
И — с ветераном ветеран —
Побыть
Горюючи, любя
И взять отчасти на себя,
На свой
На бронзовый магнит
Ту боль, что столько лет болит.
Взять,
Как берет громоотвод.

4

Что ж, и такой вот поворот
Возможен здесь.
Но в этот раз
Он от берлинских новых штрасс,

Стараясь больше по прямой,
Не на восход идет, домой,
А на заход —
В ту сторону,
Откуда ох как он в войну,
На том пожаре мировом,
Подмоги ждал в сорок втором,
Ждал: да когда ж он, второй фронт?!
Ждал год...
И два...
И третий год...
А если кровью мерить —

век.

Зато, когда второй Дюнкерк
Назрел в Арденнах, он не ждал
И миру мир принес

не в дар,
А в память, чтоб его беречь.
Об этом, собственно, и речь,
И в этом смысл всего того,
Что так встревожило его
Теперь
И он к Па де-Кале
Идет не как скала к скале,
А к человеку — человек.
Все тем же курсом — на Дюнкерк,
Все с тем же чувством,
Как тогда...
Года —
Как за грядой гряда.
Шаги —
Как за волной волна.
Поводырем ему — луна
И голос всех отважных тех,
Кто под траву ушел,
Под снег.
Там, на второй передовой.

5

И вот уж голос их травой
Восходит у его сапог:

«Спасибо, что тогда помог
И что пришел сюда сейчас.
Остановись, послушай нас.
У наших надмогильных плит.
Не всем же — бронза и гранит,
Не всем же — память во весь рост,
Лицом на зюйд,
На вост,
На ост...
Не всем.
Поскольку знаем: всем
В пределах даже двух систем
Не хватит камня и литья,
Чтоб всех поднять из забвения.
А хватит — тесно будет им
От нас,

от каменных,

живым —

Так много здесь погибших нас,
Парней, шагнувших за Ла-Манш.
Но трижды больше ваших

там —

По всем дорогам на Потсдам.
Да что там трижды —

во сто крат.

Спасибо вам за Сталинград.
За Курск.
За Днепр.
За встречный тот
Удар с привисленских высот.
Когда б не вы — нам всем каюк!

Вот почему ты вправе, друг,
Стоять, как ты сейчас стоишь,
Чтоб Лондон видел и Париж,
Чтоб Запад знал и знал Восток,
Какой ты памятью высок.
И что тебе еще расти.

Пусть будет так.

Но ты учти,
Нам тоже не одни холмы.
Мы — прах не просто,

почва — мы.

Ты — у вершин,
Мы — у корней,
Тебе — видней,
А нам — больней
И тяжелей день ото дня.
Кто там сказал: «В тени огня!»
Кто там сказал: «В тени ракет!»
Да будь он трижды президент,
Безумец он. Иди к нему
И подсади его уму:
В такой тени,
В огне таком,
Чуть что, все небо —

кувырком.

И вся земля — как головня.

В предчувствии того огня
Болят все кладбища —
скажи, —

Окопы все и рубежи
Болят на весь двадцатый век,
Как перед бурей у калек
Болят обрубки ног и рук...

Нельзя — скажи — на третий круг,
За крайний край,
За Рубикон
Нельзя!
И это — как закон,
Как просьба всех корней

и губ...

Квадрат огня, теперь он —

куб,

Теперь он больше, чем сама
Земля,
И больше, чем с ума
Сойти —
Сойти за ту черту,
Где бездна

ловит

пустоту,

Где шар земной — как не земной,
Не шар — а череп под луной
Легит —
Безбров,
безглаз,

безнос —

И — ни червя...
Такой прогноз
Прими как «SOS»,
как наш набат,
Опреди крылатый ад
И упреди как наш посол.

А явь ли это или сон! —
Не так уж важно.
Важен мир
Как первый твой ориентир.
Держись его по ходу звезд.
Тебе опорой — лунный мост
С материка на материк.
Ты по нему иди, старик.
И твердо знай: не подведет...»

б

И — представляете — идет
Всем исполинам исполин.
В одном лице — отец и сын,
В одном лице — жених

и муж,

В одном родстве
на весь Союз.

Идет над бездной,
под луной.

Четыре ветра за спиной
В порыве парусных веков, —
И поступь легкой облаков.
И ход стремительней луча
Рассветного,
А у плеча
На удаленье небольшим
Звезда Полярная с ковшем
По ходу вечности
На вест
Перстом указывает: есть,
Есть, есть он,
двадцать пятый час!

Уже давно фонарь погас
На башне Эйфеля.
Давно
Биг-Бен дозорное окно
Не поднимал из-за спины
И сам давно сошел с волны...
И вот уж, вот — левой, правой —
Под своды бронзовых бровей
Вплывает мощно берег тот...

Солдат честь флагу отдает
По форме всей
И лишь потом,
Весь подобравшись,
входит
в дом,
Опередив на шаг рассвет.

«Прощу прощенья,
президент,
Что рано потревожил вас.
Такой уж — извините — час,
Час памяти. А кто я есть!
Как видите, из бронзы весь,

«Литература—дело суровое...»

Письма А. Твардовского

Публикуемые в «Дне поэзии 1984» письма Александра Трифоновича Твардовского адресованы разным людям. Среди них — и литераторы-профессионалы, и те, кто впервые пробует свои силы в сочинительстве.

У каждого из этих писем — конкретный повод. Однако их объединяет главное: забота великого советского поэта о нашей литературе, ее достоинстве и высоком назначении.

Любезно предоставленные нам Марией Илларионовной Твардовской, письма эти войдут в книгу «А. Твардовский. Письма о литературе. 1930—1970», выпускаемую издательством «Советский писатель».

1. То в. ЧИСТЯКОВУ

М[осква]. 21 декабря 1947 г.

Уважаемый тов. Чистяков!

Мне передали Ваши стихи, присланные в «Лит. газету». Я могу о них сказать, что это стихи не новичка в этом деле, стихи с литературно-технической, как говорится, стороны вполне правомочные: размер соблюден, рифмы на месте и т. д.

Более того, в них есть и то, что отличает сознательное оформление лирического материала от простого умения складывать из слов строчки, из строчек стихи — конкретность, детальность изображения хотя бы в зачаточном, первоначальном смысле. Когда я читаю:

На пропитанных дымом и потом шинелях
Запекается коркой хрустящею лед...—

я верю, что автор нюхал такую шинель, носил ее, отметил в ней то, что другие не замечали. (Правда, насчет *запекающегося льда* — не уверен, — сочетание противоположных представлений. Кроме того, слово «запекается» в данном контексте как бы влечет за собою обязательно слово «кровь».)

Но когда:

Бьют куранты с кремлевской обветренной башни...
В вечность день безвозвратно уходит вчерашний...—

то эти строчки мне напоминают множество подобных, полагающихся в новогодних стихах строк, не задевающих мое сердце своей заимствованной торжественностью.

Примеров того, как Вы подчиняетесь чужой, заимствованной (бессознательно) интонации, можно было бы указать множество. Собственно, этот типичный грех молодых авторов — Ваш основной грех.

Далее. Нужно ухом, слухом, сердцем угадывать, какой лад и строй слов годится или не годится для изображения того или иного предмета. «Встреча» начинается описанием пляски, и бойкий четырех-стопный хорей здесь вполне уместен (хотя он уже послужил немало изображению всяческих плясов и переплясов), но когда — далее — речь идет о том, как

... санитаркой
Ты в полку у нас была... и т. д.

то несоответствие ритма предмету изображения здесь выступает во всей своей очевидности.

Далее. Хуже нет для поэта стремиться к «красивым» словам и выражениям.

Ты слышишь тысячи овец
Листвы, шумящей поутру.

Здесь дело не только в том, что овации на тысячи не считают, а именно в тенденции: дай-ка заверну этак позабористее! То же самое и с «проспектом де-Рибаса», который — не что иное, как Дерibasовская, говоря по-русски.

И еще. Нужно остерегаться слов и выражений, по духу, по оттенкам не соответствующих содержанию. В стихотворении «Березка» речь идет, по видимому, о встрече воина-освободителя с освобожденной из фашистского плена соотечественницей. А какие это слащаво-пошлые слова:

Землячка моя, полоняночка, (!)
Краев подмосковных разлив.
Прижалась ко мне северяночка, (!)
Косички свои распустив.

И как не к месту, некстати здесь эта условно-поэтическая нарочито расслабленная, банальнейшая «образность»:

А осень все сыпала, сыпала
Багряные листья вокруг...

Что касается Ваших песен, то они, при очевидной своей стихотворно-технической «деланности», слишком зависимы от сотни образцов того же ряда. Словарь, в частности, рифмы—обязательно—песенные, «казачьи»: тут и «лава—слава», и «конница—не угонится», и, конечно, «тополи—по полю» и т. д. («Сабля»). А в «Синей пилотке»—«Волга—долго», «встречи—вечер», «вести—вместе», «руки—разлуки». А в «Моряк вернется», конечно: «качка—рыбачка» (морячка), «утес—матрос», «моряк—маяк»...

Словом, выступать в печати с этими стихами Вам решительно не нужно, да если б Вы и думали иначе, то вряд ли какой журнал или газета взяли у Вас эти стихи, хотя плохих стихов печатается много (не утешайтесь этим!).

Но самое главное—понять, что стихи далеки от совершенства, что это всего лишь стихи, но еще не поэзия, хотя я не хочу этим сказать, что у Вас вовсе нет задатков, первичных, если так можно выразиться, признаков поэзии. Иначе я не стал бы писать Вам это сравнительно большое письмо.

Все дело в Вас: сумеете ли Вы понять, что пишете, покамест, плохо, ощутите ли Вы после этого в себе силы для дальнейшей работы. Не спешите доказать, что Вы все прекрасно поняли и ощущаете избыток сил для дальнейшей работы, не спешите присылать в редакции новые пачки стихов,—уверьтесь прежде всего в том, что Вы действительно стали писать по-другому, с полной сознательностью. Но в чем Вам необходимо спешить—это в овладении основами правильной речи: с грамматикой и, особенно, в части синтаксиса (пунктуация, некоторые обороты) у Вас явно плохие дела. Учитесь правильно писать, строить фразу, читая хорошие книги—будьте внимательны.

Не обижайтесь, если можете, на резкость и прямоту отзыва.

Желаю всего доброго

А. Твардовский

2. ГОНЦОВУ Николаю и МЯСНИКОВУ Анатолию

Москва, 27 февраля 1948 г.

Дорогие товарищи!

Вопрос, с которым вы обращаетесь ко мне, очень трудный. Вы говорите о своем желании писать стихи и просите совета: как писать и о чем писать? Помочь здесь, попросту говоря, невозможно. Поэт начинает с того, что он хочет о чем-то рассказать людям, чем-то поделиться с ними. Для этого он избирает

форму изложения своих чувств и мыслей, которую он находит в себе самом, в своем существе, как певец находит свой голос. Певец ни у кого не спрашивает: каким мне голосом петь—басом или тенором? Потому что петь он может только своим голосом, какой у него есть от природы и разработан, развит обучением и практикой.

Это одна сторона дела. А другая в том, что спрашивать у писателя: как стать писателем?—это то же самое, что спрашивать у инженера: как стать инженером? Конечно, инженер ответит, что для этого надо учиться, учиться многие годы, преодолеть многие трудности овладения необходимыми знаниями и потом на практике продолжать учиться. Но в отношении поэзии дело даже трудней, чем в отношении техники, потому что нет и не может быть такого учебного заведения, окончив которое можно было бы получить диплом поэта.

Чтобы стать поэтом, нужно иметь, во-первых, природные данные, талант, а во-вторых, нужно учиться, нормальным образом учиться всему, чему обучают в начальной и средней школе, в частности хорошо изучить родной язык и литературу в ее классических образцах. Иного, чем успехов в вашей учебе, я вам не могу пожелать. В дальнейшем видно будет, насколько глубоко и серьезно ваше влечение к поэтической деятельности, а покамест нужно учиться и не спешить писать стихи, когда вы, как говорится в вашем письме, не знаете «о чем писать?».

Я думаю, что учитель или учительница, к которым вы бы обратились за разъяснением этих, интересующих вас вопросов, подтвердили бы то, что я говорю здесь.

Итак, желаю хорошо учиться—это главное.

Привет вам, дорогие товарищи.

А. Твардовский

3. Тов. ДРУСКИНУ

Москва]. 27 июля 1952 г.

Дорогой товарищ Друскин!

Я внимательно прочел Вашу поэму «На даче». Написана она человеком, свободно владеющим современным стихом, сознательно отбирающим средства лирического выражения своей темы. Но от напечатания ее в журнале мы воздерживаемся по следующим соображениям,—пусть они Вас не обидят, но дадут Вам новые силы для работы.

Тема: я болен, прикован к постели, но живу сознательной жизнью гражданина и борца за коммунизм—стала уже традиционной в нашей литературе, и еще одно произведение, декларирующее желание человека, лишённого болезнью иных форм гражданской активности, быть полезным Родине своим творческим трудом,—не составило бы сколько-нибудь значительного явления, а было бы уже некоторым повторением знакомого мотива.

Неизмеримо ценнее было бы представить образцы этого декларируемого служения родине своим пером, основанные на объективном материале жиз-

ни, а не обязательно связанном только с личной судьбой автора. Мне совершенно понятно, что это очень нелегко, что отвлечься в данном случае от личной судьбы страшно трудно, но, по-моему, только это может вывести Вас на большую дорогу литературы. Вы можете возразить, что, мол, Н. Островский не обходил в своей книге мотив личной судьбы, но Островский был первым в этой теме, а кроме того, он предваряет этот мотив обширным повествованием о жизни и борьбе представителя своего поколения, то есть объективирует свою биографию, делает ее исторической, типической.

Болезни и страдания, к сожалению, повторяются, но средства духовного их преодоления в данном случае в искусстве не могут повторяться. Иначе произведение может иметь лишь ограниченно личное значение, способно будет лишь вызвать лично к Вам участливое чувство, а Вам этого мало: настоящую опору в жизни и облегчение личных страданий Вы, естественно, видите лишь в объективной ценности своего труда, своих усилий, и участие к личной судьбе автора у читателя тогда во много раз живее и активнее.

Подумайте над этими замечаниями, не торопясь поищите в себе того, что составило бы предмет работы, всеобщий интерес которой перевесил бы частный, личный. Это, конечно, не значит, что нужно отказываться от индивидуальности, от самого себя, но и самим собой нужно уметь заниматься таким образом, чтобы это приобрело большой общий интерес.

Вот, примерно, все, что я покамест могу сказать относительно Вашей литературной работы.

Желаю всего лучшего, что возможно, главное — мужества и бодрого духа.

А. Твардовский

4. ОВСЯННИКОВУ И. А.

27 апреля 1953 г.

Уважаемый Иван Андреевич!

Вы пишете о том, что Ваши стихи слабы, что на этот счет Вы получали много рецензий от литконсультантов.

К сожалению, судя по стихам из Вашей тетради «Стихотворения колхозника», я не могу возразить тем людям, которые сообщали Вам о невозможности напечатать Ваши стихи.

Но Вы просите «сделать скидку» на то, что эти стихи пишет колхозник, человек недостаточно грамотный и т. д.

Такого права нам, редакторам, не дано, мы должны оценивать литературные произведения относительно к тому, какое образование получил автор, где он работает и т. д. — ведь читателю до этого дела нет, он не станет читать слабые вещи только потому, что автор, мол, живет в деревне, малообразован, мало читал книг. В этом смысле литература — дело суровое. Вам кажется, что достойно удивления и интереса уже одно то, что Вы, колхозник, пишете стихи. Но редакции газет и

журналов получают сотни тысяч, если не миллионы писем со стихами, которых напечатать нельзя. Одно дело написать стихотворение для «внутренних» надобностей, в силу влечения к стихосложению, другое дело — написать то, что составило бы общий интерес.

Не сетуйте на меня, но я не могу «подправить» Ваши стихи для печати, это означало бы написать их вновь, а этого делать нельзя, да и Вы сами не согласились бы на такое «редактирование».

Вот все, что вкратце могу Вам сказать по поводу Вашей просьбы. Не огорчайтесь: правда бывает горька, но зато она — правда.

А. Твардовский

5. КРИВЕНКО Евгению

22 августа 1953 г.

Дорогой тов. Кривенко!

Относительно напечатания Вашей поэмы «Чайка» в «Новом мире» вопрос до сих пор не стоял. Она мне, действительно, показалась симпатичной, но не во всем. Помнится, например, что введение в текст строк об авторе, едущем писать очерк для газеты, мне просто не понравилось.

Вы пишете, что «готовы сделать любые исправления» ради опубликования вещи в «Новом мире». Никогда не говорите и не делайте так. Нужно делать только те исправления, какие Вам — автору — представляются необходимыми, а не кому-либо иному.

Так Вы и поступайте: обработайте поэму, насколько это Вам кажется нужным, и присылайте, а там само дело покажет.

Привет.

А. Твардовский

6. ГАЛИНОЙ Г. Н.

2 ноября 1953 г.

Уважаемая Галина Никифоровна!

Мне было бы очень приятно не огорчать Вас, найти в Ваших стихах то, что уже сейчас делало бы их явлением поэзии, но я не имею такой возможности, — стихи, присланные Вами, не дают мне оснований говорить о них как о произведениях литературы. Это стихи грамотного, интеллигентного, должно быть, очень хорошего, душевного человека, но стихи, так сказать, домашнего употребления — по различным случаям жизни: новогоднее поздравление, выпускной вечер 10 класса и т. п. Это все очень хорошо, но к поэзии в большом и серьезном смысле слова стихи эти не имеют отношения.

Я не говорю Вам: бросьте писать, нет, пишете, если Вы испытываете к этому влечение и если эти занятия доставляют Вам и окружающим Вас людям радость. Но уменьше складывать строчки, созвучные в окончаниях и подчиненные единой ритмической



Александр Твардовский. Фото Н. Лаврентьева

норме, само по себе еще не может свидетельствовать о наличии у человека определенных способностей к собственно поэтической работе. Тут уже другая мера, другой спрос и об этом очень трудно говорить, этому нельзя научить не только при помощи писем, консультаций и т. п., но и при помощи специальных вузов, вроде нашего Литературного института. До этого доходят сами.

Простите мне, если можете, жестокость этих моих слов, но я не имею права сказать иные слова. Вы прислали мне письмо консультанта, обидевшего Вас, письмо плохое, казенное, но суть дела от этого не меняется—стихи «домашние», общего интереса не представляют, напечатаны быть не могут.

Настоятельность Вашего обращения ко мне с эпиграфом из «Ответа читателям «Теркина» заставила меня без обиняков сказать все вышеизложенное.

Если Вы, будучи в Москве, захотели бы встретиться со мной, показать другие свои стихи, услышать изустно мои суждения о них, позвоните в редакцию,—если я там, просто заходите.

Желаю всего доброго.

А. Твардовский

7. ТКАЛИНУ А. М.

29 июля 1958 г.

Уважаемый Александр Маркович!

Задержка с ответом на Ваше письмо и стихи объясняется крайней моей занятостью. Все мое время уходит на чтение и редактирование материала, предназначенного в очередные книжки журнала.

Просмотрел я Ваш «Сказ про богатырей стороны пяти морей». Должен огорчить Вас: я решительный противник всяческих «сказов», «сказок» и т. п. в применении к современной теме. Я считаю все такие стилизации под ершовского «Конька-Горбунка» на материале сегодняшней советской действительности фальшивыми и никому не нужными. Отсюда Вам должна быть понятна моя оценка и Вашего «Сказа». Поверьте мне, что это—не поэзия, это вольное упражнение в хореическом размере, которое выглядит как пародия (а ведь Вы это всерьез):

По решенью Исполкома
Возвели четыре дома.
В городке народ не глуп:
Есть решенье строить клуб...

и т. д.

Один из «богатырей» Ваших «в работе скор»:

То неделю он в колхозе,
Иль по делу в Совнархозе,
То Совет о стройке ГЭС
И реформе Эм-Тэ-Эс...

Право же, такие стихи писать легко, а читать тяжело.

Вот, примерно, все, что могу сказать Вам.

Не огорчайтесь, если можете, прямою моего отзыва, но говорить иное—значило бы обманывать Вас, а, следовательно, не уважать.

Желаю Вам всего доброго. Рукопись возвращаю.

А. Твардовский

8. ГУДОШНИКОВУ Я. И.

28 ноября 1958 г.

Уважаемый Яков Иванович!

Вашу «Повесть о земляке» мы напечатать не сможем: при очень посредственном стихе такой объем—дело безнадежное. Главная беда вещи—просчет в отношении ритмическом. Различные стихотворные размеры не «освоены» Вами, не стали Вашими,—все время слышишь, угадываешь этот размер отдельно от Вашего содержания:

— Что расселся, Семен, как чахоточный дед?—
Все играют и ты поиграй на...—

невольно читается «на мотив» образца:

— Не пора ль, Пантелей, постыдиться людей
И опять за работу приняться...

Несоответствие ритмического письма содержанию вообще разительное:

И как бешеный мечется в воздухе мяч,
Так Наташе и прыгает в руки...

Согласитесь, что динамику игры этот размер передает подобно тому, как бывает в кино при замедленном движении ленты («лупа времени»), когда, скажем, скачущие во весь опор кони еле перебирают ногами.

Точно так же (беру еще пример наудачу) противоречит ритмический строй содержанию в строчках:

Ночь. И зеленые трассы
Режут с кустарника ветки,
Стонут от злости осколки,
«Тигр» за снегами ворчит...

Я не говорю о том, что в приведенных строчках, как и во всей вещи, неблагоприятно не только с ритмической стороны («чахоточный дед», осколки, стонущие «от злости»). Недостаточное развитие—так сказать слуха на стих—главная Ваша слабость. Это сообщает всей поэме впечатление прозаичности, вялости, растянутости и способно уморить самого терпеливого читателя.

Быть более подробным не имею физической возможности, но если Вы захотите меня понять, то Вы из этого моего письма можете понять очень важный «секрет». Я бы даже так сказал, что верно угадать, каким размером о чем можно писать,—это все равно, что написать вещь наполовину.

Не огорчайтесь, пожалуйста, прямою моего замечания,—иначе должен был бы кривить душой.

Всего доброго.

А. Твардовский

9. ТИЩЕНКО С. И.

26 января 1959 г.

Семен Иванович!

Присланные Вами стихи попросту никуда не годятся, и о напечатании их не может быть речи. Мне кажется, что, вообще, Вы напрасно занялись

этим делом в столь преклонном возрасте и связываете с этими занятиями надежды определенного порядка. Литература — дело трудное, суровое, она требует всей жизни человека и, в первую очередь, лучшей ее части — молодости для образования и труда, да и то далеко не всегда опыты и усилия в этой области увенчиваются успехом. Конечно, никто Вам не может запретить заниматься писанием стихов, раз это доставляет Вам известную радость на досуге, но я советовал бы Вам побереечь свою старость и не вступать в пространную и безнадежную «полемику» с редакциями и литконсультантами, справедливо оценивающими Ваши стихи как непригодные для печати.

Вот все, что, к сожалению, могу сказать Вам по поводу Ваших стихотворных упражнений. Рукопись возвращаю.

А. Твардовский

10. ЩЕРБИНИНУ Михаилу

7 февраля 1959 г.

Дорогой тов. Щербинин!

Стихам Вашим нельзя отказать в известной литературной грамотности и даже отдельных строчечных удачах. Но в них неприметно, покамест, главного: действительной, настоятельной необходимости их появления на свет. Они от любви к стихам, к процессу их сочинения, а не от любви или нелюбви к чему-нибудь в жизни. Нужно себя проверять: действительно мне так неотложно хочется написать задуманное стихотворение или можно и не писать?

Много еще и просто неловкостей, неточности выражения, случайных или особо «красивых» слов и оборотов. Обратите внимание на мои пометки на рукописи.

А. Твардовский

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Чистякову. Отзыв о стихах начинающего поэта относится ко времени работы А. Твардовского в «Литературной газете», членом редколлегии которой и заведующим отделом поэзии он был утвержден 27 августа 1947 года. На этой работе он находился вплоть до назначения в 1950 году главным редактором журнала «Новый мир».

2. Гонцову Николаю и Мясникову Анатолию. Написано в тот же период.

3. Друскину. Это и все последующие письма были направлены адресатам в пору работы А. Твардовского в «Новом мире».

5. Кривенко Е. Поэма Евгения Кривенко не печаталась в «Новом мире».

8. Гудошникову Я. И. Десятью годами раньше в альманахе «Литературный Воронеж» под рубрикой «Стихи молодых поэтов» были опубликованы два фрагмента из произведения Я. Гудошникова («Десант» и «Взрыв поезда»), объединенные общим заглавием «Повесть о земляке» (1948, № 1), и затем его поэма «Михаил Ферапонтов» (1948, № 3), включающая стихи, цитируемые в письме («Ночь. И зеленые трассы...»).

«— Не пора ль, Пантелей...» — из стихотворения И. С. Никитина «Ссора».

М. Твардовская

Анатолий Преловский

ЧЕЛОВЕК СВОЕГО НАРОДА

Что век пройдет
и молодость пройдет,
тоскует человек,
а не народ.

В народе жажды жизни —
через край:
ему не век,
а вечность подавай.

Он выбрал не тропинку,
а стезю.
Объял не часть Вселенной он,
а — всю.

Размах мечты
крепя размахом дел,
он признает судьбу,
а не удел.

Ты, человек
народа своего,
будь искоркой
от пламени его.

И чем отважней сам
в трудах горись,
народ тем дальше
в будущее длишь.

ЛУЧ ЗВЕЗДЫ

От Абакана до Тайшета
поют и плачут поезда.
Из незапамятного лета
сквозь кедров черные просветы
глядит на них моя звезда.

Та самая, та путевая,
что в ночи страдные и дни,
на подвиг юных созывая,
сама, как время, трудовая,
казалось, корчевала пни.

Казалось, на кострах горела,
казалось, у машин во лбу
сверкала — света не жалела
ни на общественное дело
и ни на личную судьбу.

И вот теперь, гремя на стыках
таежной юности и дней
полузабытых, но великих,
летят составы в долгих криках
гудков. И боль моя ясней.

И память горделивей: это
мой путь стальной, мои труды —
от Абакана до Тайшета
из года в год, из лета в лето
проходит жизнь, как луч звезды.

КОМАРЫ

Скалы рвем и руды роем...
Комары над нами — роем,
в них идешь как бы в дымке.
Злятся, реют, ноют, вьются,
а прихлопнешь — остаются
смазью крови на щеке.

Плачешь, материшься, злишься...
А с тайгой распростишься,
и в постели городской,
в тишине, в тепле и холе,
вдруг приснится — сон в раздолье
лиственничном... И с тоской

ты проснешься от нехватки
лошади, ружья, палатки.
И потянет в зной и стынь:
мир покажется неполным,
без работы потной — полым,
без комарика — пустым.

ОТСВЕТЫ

Как трудно тайга заживляет
ожоги и раны свои,
как медленно все же ровняет
строительные колен.

Расцветенный синей волною,
и серым асфальтом дорог,
и свежих домов белизною,
весь край обновился, как смог.

Но красные глины отвалы
сияют с ангарских бугров
как отсветы тех небывалых
палаточных дней и костров.

Владимир Костров

ДОЧЕРИ ЕКАТЕРИНЕ

Сквозь каникулы дорогу проторила
Нам зима —
Лети на запад и восток.
Государыня моя, Екатерина,
Подари мне среднерусский городок.
Купола его слепящи с непривычки,

Ладны домики, затейно непросты.
Словно с царского возка,
Из электрички
Мы сойдем с тобой
На снежные холсты.
А на городе
Какой-то древний праздник.
Кажда девица румяна и бела.
Городок лежит в снегу,
Как тульский пряник,
С перезвонами гудят колокола.
Белый кремль поет оконно и проемно.
О, Ростов Великий — милуй и казни.
Сердцу Катеньки так радостно-приемно
Сочетанье старины и новизны.
Ряд гостиный и серебряные скани,
Самодельны ткани,
Тканые по льну.
Мы с тобою отыскали,
Что искали,
Под собою ощутили глубину.
Отошли в века келейность и обрядность.
То, что рушилось,
Отстроили года.
Эти праздничные
Звонкость и нарядность
Утверди, Екатерина, навсегда,
Чтоб земля сия по-русски
Говорила,
И распевен был округлый говорок,
О, вторая дочь моя, Екатерина,
Подари мне этот древний городок.

* * *

Словно муху поджидающий паук
Невзначай в земные ходики залез...
Если б был я
Академией наук,
Я людей бы заповедал,
словно лес.
Без лицензий
На порубку и отстрел,
Без трелевки и поштучно
И вразнос.
Если б был я Академией наук,
Я людей бы
В Книгу Красную занес.
Слишком гири
На часах упали вниз,
Слишком хрупкой
Стала вдруг земная твердь.
Понемногу дорожает наша жизнь,
Слишком быстро дешевет
Наша смерть.

* * *

Не бойся, дорогая, я с тобою.
Холодный ветер бьется над трубою
И тучи застилают белый свет,
Как годы, пролетающие мимо,
Пред будущим мы все незащитимы,
И потому бояться смысла нет.
Когда ты рада,

И когда не рада,
И вдалеке с тобою буду рядом.
И, право, не устану повторять:
Что из того —
Мы старше, старше, старше,
Но нет предела нашему бесстрашью.
Есть страх один:
Друг друга потерять.
Покудова кипрей и повилика
Цветут,
Мы любим.
Смерть почти безлика.
И сердце бьет целительная дрожь.
Покудова любимое любимо,
Есть смысл понять,
Что жить необходимо,
Что друг от друга больше не уйдешь.
Есть смысл понять,
Принять
И стать собою.
Не бойся, дорогая,
Я с тобою.
Да совершится вечный ход планет.
Мы вместе, понимаешь ли ты,
Вместе.
Мы лишь опара
В восходящем тесте.
И потому бояться смысла нет.

* * *

Нету мира в этом мире,
Нету мира и в душе.
Что там —
На Гвадалквивире?
Как-то там —
На Иртыше?
Словно сердце расколосось,
Тут, где время входит в нас
Через внешний телеголос,
Через вещий телеглаз.
С ним вошли под нашу кровлю
Через хрупкое окно
День
С запекшеюся кровью,
Космос,
Где черным-темно.
Он — гипноз
И внешний вызов,
Он — ползущая змея.
Люди прыгают с карнизов,
Разверзается земля.
Я лечу во тьму пустую,
Забываюсь и учусь,
И пою,
И протестую,
И калечусь,
И лечусь.
Я уже ненастоящий,
Я уже не я, а он.
Я уже почти как ящик,
К сети общей подключен.
И в какое время оно
Несть эпохе надоест
Тяжкий, телевизионный,
Продавивший спину крест?

У СЕМИДЕСЯТОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Бывшему командиру
артиллерийского полка
гвардии подполковнику
в отставке Носаю А. Г.

Днем и ночью шла в тайге работа,
стрекотал над нами вертолет,
а под нами топкое болото
заковал в броню сибирский лед.
Ледяной дороге были рады
экскаватор, трактор, трубовоз.
Зимник по бригадному подряду
подрядился строить Дед Мороз.
Он же сблизил левый берег с правым,
лед усилил на реке Надым.
Знал я цену этим переправам
на войне,
когда был молодым.
Даже не тогда, когда бомбежка
или попадешь под артолет,
просто съедешь в сторону немножко
и нырнешь с машиною под лед.
Ой, шофер!
Но может ли без снежки
нынешняя наша молодежь?
Между труб, поставленных как вешки,
мчит он, а меня бросает в дрожь
оттого, что холодно, что заметь,
что дорогу застилает снег,
что цепка остаточная память
о коварстве с виду тихих рек.
Но утешил разговор с шофером.
Подо льдом, где плещется вода,
трубы с охлаждающим раствором
обросли колоннами из льда.
Помогая путевой бригаде,
Дед Мороз как местный старожил
на своей ледовой колоннаде
над рекою трассу проложил.

Подрываясь, как на минном поле,
на воспоминаниях своих,
фронтовых собратьев поневоле
вновь я вспомнил---
мертвых и живых.
Помню, Дню Победы было тридцать.
Собрались мы все на юбилей,
кто служил пехоте,
той царице,

что была царицею полей.
Вспомнили друзей в молчанье строгом,
будто с ощущением вины
и пред той царицей,
и пред богом,
что был придан ей как бог войны.
Командира вспомнили в тревоге,
тут же дозвонились до него.
«Отчего-то заболели ноги,—
он сказал,—
не знаю отчего».

У семидесятой параллели
я услышал вновь издали:
«Отчего-то ноги заболели»,—
голос командира артполка.
На губах воды болотной горечь
ощутил я, видимо, не зря
и ответил:
Александр Григорьич,
вспомните восьмое сентября.
Разве эти боли отчего-то?
Кто в тот день в болотной хляби стыл,
когда враг накрыл огнем пехоту,
что пыталась ночью по болоту
незаметно выйти к немцам в тыл?
Иногда, когда бывало тяжело,
выручал и случай на войне.
На глоток переходила фляжка
через час
к радисту, к вам, ко мне.
Не забуду, буду жив куда.
Вы спасли живой водою нас,
как детей микстурой от простуды—
по столовой ложке через час.

Ну, а эти, эти наши дети—
сварщик, монтировщик, тракторист,
им бы жить и жить на белом свете,
только б горизонт всегда был чист.
Знают, любят трудную работу.
Даже поручиться я могу:
если надо, ночью по болоту
незаметно выйдут в тыл к врагу.
Это если надо.
Но не надо
доводить планету до беды,
чтобы ледяная колоннада
проводила танки через льды.
Я провоевал четыре года,
и теперь яснее стало мне:
рыть траншею для газопровода
лучше.
чем траншею на войне.



Дорогой Виктор Федорович!

Редколлегия «Дня поэзии 1984» поздравляет Вас с семидесятилетием— звездным возрастом Вашего сердечного, по-русски распевного таланта. Ваши стихи и песни любимы народом; все мы знаем, с какой заботой относитесь Вы к поэтической молодежи, сколько ярких, талантливых имен открыли Вы за многие годы работы в литературе.

Желаем Вам здоровья, добра и новых взлетов вдохновения!

ОГОНЬ СТИХА

Божественный огонь стиха—
Не в колбочке и не в реторте,
Он в раннем крике петуха,
В рывке спортсмена дать рекорды.

Он в чистой чашечке цветка,
В открытом выкрике досады,
Он в полыхании платка,
Что соткан в Павловском Посаде.

Божественный огонь стиха
Под стать огню плавильной печи,
Он сын лесного родника,
Прямой ребенок русской речи.

А ты, бесцветный словоблуд,
Стихи замучил рифмой серой,
Они безводны, как верблюд,
Степная пыль на них осела.

Они шуршат сухой листвой,
Безжизненные, как гербарий,
И путаются под ногой,
Как рыжий, брошенный пергамент!

ПО ЦЕЛИНЕ

Зима такая добрая и нежная,
Морозы в меру, оттепелей нет.
Как белая страница, поле снежное
Зовет меня шагнуть через кювет.

Иду по целине, сороки в сторону,
От зимней тишины звенит висок.
И поезду заснеженному скорому
Машу рукой, а он дает свисток.

Так на Руси в сердцах живет братание,
Так друг за друга держится народ.
И куст калины говорит: — Глотай меня!..—
И горечь ягод силы придает!

РИФМА

Я невод закину
В глубины морские.
На рифму рыбацкие
Сети раскину.

Заря как олифа,
Как нива равнинная.
Ловись, моя рифма,
Ловись, моя милая.

Ты мне не безделица,
Не лак и не пудра,
Ты красная девица,
Доброе утро.

А море смеется,
А солнце как глыба.
В сетях моих бьется
И рифма и рыба!

МИРУ МИР!

Миру мир!— звучит по всей земле.
Каждый, кто живет,— за мир в ответе.
Не ищите жизнь в золе,—
Жизнь в живой, цветущей ветви.

Жизнь в игрании луча,
Что насквозь пробил туман клубимый,
В прикосании плеча,
В нежном женском шепоте: — Любимый!

В пульсе на твоей руке,
Что коснулась тихо изголовья,
И в есенинской строке,
Переполненной любовью.

Жизнь и Мир, они как близнецы,
Как единое начало.
Это знают мудрецы
С философскими очами.

Не позволим нашу жизнь убить,
Нам она дана в наследство.
Будем беспредельно жизнь любить,
День и ночь беречь ее от бедствий!

Эрий Кузнецов

* * *

Мне снился сон, когда в меня стреляли...
Я выстрелы услышал там и тут —
Во сне и наяву они совпали.
Куда бежать! И там и тут убьют!

Как сон во сне, тень женщины явилась,
От встречных пуль собою заслоня.
И так сказала: —Я тебе приснилась
В последний раз. Не забывай меня.

Смертельный страх моих волос коснулся,
Свистели пули, ветер гнул траву.
Когда она упала, я проснулся
И услышал: стреляют наяву.

Крутись, крутись, планида голубая!
Светились пули густо в пустоте,
Летели, мое тело огибая,
И гасли, исчезая в темноте.

О близкой смерти я гадал по звуку.
Как страшно в этом мраке погибать!
— Взойди, светило!— протянул я руку.
И пули стали руку огибать.

Взошло светило. На меня открыто
Летели пули, ветер гнул траву.
Тень женщины во сне была убита,
Свет женщины остался наяву.

Любовь ушла. Мне страшно возвращенье.
— Тебя убьют!— кричу ей, как судьбе.—
Мне твоего не пережить прощенья.
Живи вдали! Я помню о тебе.

ВИДЕНИЕ

И в распухнувшее тело
Раки черные впились.

А. Пушкин

Воет мартен, или воет сирена.
Красные раки ползут.
Красные раки ползут из мартена...
Как оказался я тут?

Древняя нечисть бугрится, как пена.
Что-то случилось с огнем,
Что-то случилось с огнем—и сирена
Воет и ночью и днем.

Красные раки ползут из мартена,
Я их бросаю назад,
В пламя, обратно, где воет сирена,
Где саламандры вопят.

В руки впиваясь, ползут на свободу.
Вот уже руки горят,
Руки горят, и бросаюсь я в воду—
И под водою горят...

Что еще даст вместо руд и сокровищ
Старая нищая мать?
Если огонь порождает чудовищ,
Что еще нам ожидать?

Елена Николаевская

* * *

А, в сущности, нам мало надо,
И все, что надо,— пополам.
Как дар, как праздник, как награда,
День завтрашний дается нам.

Покрытые снегами горы
И темно-синяя вода...
О, не грусти, еще не скоро
Нам расставаться навсегда.

Еще заря, еще начало.
И мы от берега плывем...
Забывать ли ветер перевала,
Ворвавшийся в дверной проем!

Еще нас ждут недели, годы,
Метели, стужа и жара...
И вот опять прогноз погоды
Не подтверждается с утра.

Метет метель, грохочут грозы,
Срывая полог голубой...
Какие могут быть прогнозы,—
Мы не расстанемся с тобой!

Речная быстрая излука,
Бегущая за оком...
Какая может быть разлука,
Пока живем, пока живем...

* * *

Терпенье надежды—
Безмерно,
Безбрежно оно
И отважно,
Порою оно легковерно,
Но не легковерно— что важно...
Бывает, что вдруг обреченно,
Бессильно, в отчаянье странном,
Готово упасть бездыханным,—
Но к утру вздохнет облегченно,
От смутных восстав сновидений,
Живое дитя пробуждений...
И вновь, с очевидностью споря,
Оно утверждает:
«А все же...»
Оно ни на что не похоже—
Терпенье надежды...
Быть может,
Сродни лишь
Предчувствию горя.

ЦВЕТЕНИЙ ОЧЕРЕДНОСТЬ

Я помню, как с небес день тридцать первый марта,
весь розовый, сошел. Но, чтобы не соврать,
добавлю: в нем была глубокая помарка —
то мраком исходил Ладыжинский овраг.

Вдруг синий-синий цвет, как если бы поэта
счастливые слова оврагу удались,
явился и сказал, что медуница эта
пришла в обгон не столь проворных медуниц.

Я долго на нее смотрела с обожаньем.
Кто милому цветку хвалы не воздавал
за то, что синий цвет им трижды обнажаем:
он совершенно синь, но он лилов и ал.

Что медунице люб соблазн зари ненастной
над Паршином, когда в нем завтра ждут дождя,
заметил и словарь, назвав ее «неясной»:
окрест, а не на нас глядит ее душа.

Конечно, прежде всех мать-мачеха явилась.
И вот уже пострел, забрав себе права
глагола своего, не промахнулся — вырос
для цели забытья, ведь это — сон-трава.

А далее пошло: пролесники, пролески,
и ветреницы хлад и поцелуйный яд —
всех ветрениц земных за то, что так прелестны,
отравленные ей, уста благословят.

Так провожала я цветений очередность,
но знала: главный хмель покуда не почат.
Два года я ждала Ладыжинских черемух.
Ужель опять вдохну их сумасходный чад?

На этот раз весна испытывать терпенья
не стала — все долги с разбегу раздала,
и раньше, чем всегда: тридцатого апреля —
черемуха по всей округе расцвела.

То с нею в дом бегу, то к ней бегу из дома —
и разум поврежден движеньем круговым.
Уже неделя ей. Но — дрема, но — истома,
и я не объяснюсь с растеньем роковым.

Зачем мне так грустны черемухи найтъя?
Дыхание ее под утро я приму
за вкрадчивый привет от важного события,
с чьим именем играть возбранено перу.

СКОНЧАНЬЕ ЧЕРЕМУХИ

Еще и обещанья не давала,
что расцветет, была дотла черна,
еще стояла у ее оврага
разлившейся Оки величина.

А я уже о будущем скучала
как о былом и говорила так:
на этот раз черемухи скончанья
я не снесу, Ладыжинский овраг.

Я не снесу, я боле не умею
сносить разлуку и глядеть вослед,
ссылая в бесконечную аллею
всего, что есть, любимый силуэт.

Она пришла — и сразу затворилось
объятье обоюдной западни.
Перемешалась выдыхов взаимность,
их общий чад перенасытил дни.

Пятнадцать дней черемухову игу.
Мешает лбу расширенный зрачок.
И, если вдруг из комнаты я выйду,
потупится, кто этот взор прочтет.

Дремотою круженья и качанья
не усыпить докучливой строки:
я не снесу черемухи скончанья, —
и довода: тогда свое стерпи.

Я и терплю. Черемухи настоем
питаем пульс отверстого виска.
Она — мой бред. Но мы друг друга стоим:
и я — бредовый вымысел цветка.

Само решит творительное зелье,
какую волю навязать уму.
Но, если он — безвольное изделие
насильных чар, — так больно почему?

Я не снесу черемухи скончанья, —
еще твержу, но и его снесла.
Сколь многих я пережила случайно.
Нет, знаю я: так говорить нельзя.

НОЧЬ НА 30 АПРЕЛЯ

Брат-комната, где я была — не спрашивай.
Ведь лунный свет — уже не этот свет.
Не в Паршино хожу дорогой Паршинской,
а в те места, каким названья нет.

Там у земли все небесами отнято.
Допущенного в их разъятый свод
охватывает дрожь чужого опыта:
он — робкий гость своих посмертных снов.

Вблизи звезда сияет неотступная,
и нет значений мельче, чем звезда.
Смущенный зритель своего отсутствия
боится быть не нынче, а всегда.

Не хочет плоть живучая, лукавая
про вечность знать и просится домой.
Беда моя, любовь моя, луна моя,
дай дотянуть до бренности дневной.

Мне хочется простейшего какого-то
нравоученья вещи и числа:
вот это, дескать, лампа, это — комната.
Тридцатый день апреля: два часа.

Но ничему не верит ум испуганный
и малых величин не узнает.
Луна моя, зачем втесняешь в угол мой
свои пожитки: ночь и небосвод?

ПАЧЁВСКИЙ МОЙ

— Скучаете в своей глуши? — Возможно ль
занятем скупиным называть апрель?
Все сущее, свой вид и род возмножив,
с утра в трудах, как дружная артель.

Изменник-ум твердит: «Весной я болен», —
а сам здоров, и все ему смешно,
когда иду подглядывать за полем:
что за ночь в нем произошло-взошло.

Во всякий день — новехонький, почетный
гость маленький выходит из земли.
И, как всегда, мой верный, мой Пачёвский,
лишь рассветет — появится из мглы.

— Он, что же, граф? Должно быть, из поляков?
— Нет, здешний он и мной за то любим,
что до ничтожных титулов не лаком,
хотя уж он-то — не простолодин.

— Из столбовых дворян? — Вот это ближе. —
Так весел мой и непомерен смех:
не наглажусь сквозь брызнувшие блики
на белый мой, на семицветный свет.

— Он, видите ли... не могу! — Да полно
смеяться Вам. Пачёвский — кто такой?
— Изгой и вместе вседержитель поля,
он вхож и в небо. Он Пачёвский мой.

— Но кто же он? Ваши слова окольны.
Не так уж здрав Ваш бедный ум весной.
— Да Вы-то кто? Зачем так бестолковы?
А вот и сам он — столб Пачёвский мой.

Так много раз, что сбились мы со счега,
мой промельк в поле он имел в виду.
Коль повелит — я поверну в Пачёво.
Пропустит если — в Паршино иду.

Особенно зимою, при метели,
люблю его заполучить привет,
иль в час, когда две наших сирых тени
в союз печальный сводит лунный свет.

Чтоб вдруг не смыл меня приборой вселенной
(здесь круг обрыв, с которого легко
упасть в созвездья), мой Пачёвский верный
ниспослан мне, и время продлено.

Строки моей потатчик и попутчик,
к нему прикиших пауз властелин,
он ждет меня, и бездна не получит
меня, покуда мы вдвоем стоим.

ЗВУК УКАЗУЮЩИЙ

Звук указующий, десятый день
я жду тебя на Паршинской дороге.
И снова жду под полною луной.
Звук указующий, ты где-то здесь.
Пади в отверстой раны плодородье.
Зачем таишься и следишь за мной?

Звук указующий, пусть велика
моя вина, но велика и мука.
И чей, как мой, тобою слух любим?
Меня прощает полная луна.
Но нет мне указующего звука.
Нет звука мне. Зачем он прежде был?

Ни с кем моей луной не поделюсь,
да и она другого не полюбит.
Жизнь замечает вдруг, что — пред-мертва.
Звук указующий, я предаюсь
Игре с твоим отсутствием подлунным.
Звук указующий, прости меня.

Евгений Винокуров

ФУРГОН ВОЕНТОРГА

Как лица солдат от восторга
сияли в тот сказочный час!
Зеленый фургон военторга однажды побаловал нас...

Купить мне так радостно было
на грязном и злом рубеже
кусочек земляничного мыла
с загадочной маркой ТЭЖЭ!..
И писарь рябой батальона
вдыхал, отложив автомат,
«Тройного» одеколona
почти неземной аромат.
И кисточкой мыльной раз по сту
обозный один старичок
водил, выбривая коросту
с крестьянских задубленных щек...

Связистке досталась помада.
И застонала душа!..
Как мало ведь, в сущности, надо,
чтоб вспомнить, что жизнь
хороша...

ЧАЙ

Не сравнится
с воинственным маем
кроткий август,
но все же постой:
только в старости
мы понимаем
этот жизненный крепкий
настой!..
Только в старости
мы ощущаем,
в предзакагной такой тишине,
это блюдце
с дымящимся чаем,
остывающее в пятерне...
Прожил жизнь я,
но краски рассвета
было мне оценить недосуг!..

А сейчас мне нужна лишь беседа
да надежно усевшийся друг...
Прожил жизнь я,
а словно бы не жил.

Ничего-то как будто и нет!..
Я недавно увидел, как брезжил
не замеченный мною рассвет...

Мы, приятель,
чего-то да стоим!
И меня утешает вполне
это блюдо с отменным настоем
в растопыренной пятерне...
А что было,
то как не бывало:
ревность, гордость, безумие, страх!
Затихает, как эхо обвала,
что случился в далеких горах!..
Было: женщины,
дальние страны,
командиры и чудаки!..
Поднимают досадливо раны,
что, как в песне поют, глубоки...
срок таким оказался вдруг куцом!..
Как простужена все же душа!..
Только пять этих пальцев
под блюдцем
остывают сейчас
не спеша...
И реально сейчас
только это...
Где-то взорван вдали динамит!..

И напиток багрового цвета
в растопыренных пальцах
дымит.

* * *

Что ж, их жалеете,
коль сроднились с ними,
коль сжились, коль срослись уже в одно.
Наверно, нелегко стать вдруг родными,
такое, видно, не всегда дано.
Не думайте, что, дескать, век не прожит,
а ими полон круглый шар земной.
Никто, возможно, заменить не сможет
той, горько полюбившейся, одной...
Но все-таки скажите:
— Я покину,
коль будет надо, эту вот — одну!..—

Привязанность страшна и к кокаину,
и к женщине, и к славе, и к вину...

ПРИРОДА

Это странное чувство свободы
я любил, городское дитя,
с понедельника и до субботы
над учебником скучным корпя...
Но когда, заплывая в туманы,
древний парк свежей зеленью пах,
я входил в него,
руки в карманы
в школьной куртке своей
нараспах...
Я смотрел, как медлительно с лозы
капля падала в мир повилик...

И свободы туманные слезы
на глазах появлялись моих.
Крон могучих пустые турбины
все вращали листву в вышине...
И природы бесцельной глубины
открывали объятия мне...
Лежа, видел я птиц перелеты
и бессмысленный ход мураша...

И к душе бесполезной
природы
вдруг моя прикасалась
душа.

НАЧИНАЮЩИЙ

О, знал бы я...

Б. П.

Среди всех невозможных профессий
я одну до конца не пойму:
подниматься в простор поднебесий
и срываться в бездонную тьму.
Легкость чувствуя в праздничном теле,
то вдруг в пропасть, а то в облака!..
Сколько шаткие эти качели
замотали вконец
за века...
Сколько в небо взлетевших не стало,
сколько нет, угодивших в провал,
не дождавшихся ни пьедестала,
ни оваций и ни похвал!..
Не пойму:
почему же украдкой,
не предвидя ужасный конец,
с крепко стиснутой в пальцах
тетрадкой
вновь стучит
в мои двери
юнец.

СКОМОРОХИ

Ешь с веселием хлеб твой...

И рек патриарх, что, мол, скоро в пороке
погрязнем мы все...
А виной — скоморохи!
Срамные все эти погудки да байки.
Ломайте бандуры, рожки, балалайки!
В Кижии, где метели, в края валунов
гоните гудошников и плясунов!..

Свершается быстро неправедный суд:
и вот скоморохи на Север бредут.
В трико полосатом заморский гимнаст.
И карлик шагает, угрюм и зобаст.
И скука настала в притихшей Руси,
хоть волком завой, хоть в полях голоси!..
И только по рынкам гутарили часто
и дерзко ссылались на Екклезиаста:

— Кому он мешал, православные, смех?
Но скука вот где-то,
вот истинный грех!

Лев Ошанин

ПРАДЕД

Маша — детского смеха давно ли полна —
Маша, внучка моя, родила пацана.
Десять фунтов пацан, басовитый, хороший...
Поздравляю я радостно Машу с Алешей.
Говорю им:

— Теперь вам спасения нет.

Это ваш воспитатель явился на свет. —
Поздравляю я бабушек — Таню и Симу,
Как они благодарны и дочке и сыну,
Всех дедов — и Сережу, и Славу, и Федю,
Что за юношу держат пока что соседи.
А Сережа и Федя глядят на меня, —
Он, родившийся наш, мне ведь тоже родня.
Он ножонками бьет, словно вымолвить ладит:
«Пра-адед» — глянет хитро:

— Понимаешь, ты прадед... —

Прадед — слово великого смысла полно.
Как округло и как полновесно оно.
Не герой, не фельдмаршал, не «пред» в горсовете —
Прадед! Самое высшее званье на свете.
... Я-то — прадед? Наверно, напутана дата.
Я ведь даже и дедом не побыл, ребята.
«Папа Лева» зовут меня внуки мои.
О любви мне в дорогах поют соловьи.
И душа моя угомониться не может.
И, как прежде, любовь мою душу тревожит.
Чтобы список родни до конца был раскрашен,
Есть прекрасная наша прабабушка Маша.
Ну, а раз уж я тоже причастен, так вот —
«Папой Лево́й» пускай меня правнук зовет.

Марк Лисянский

ЛЮБУЮСЬ

Хочу, друзья мои, признаться,
Что я люблю на склоне дня
Своим трудом полюбоваться,
Когда он радует меня.

Любуюсь, скинув с плеч рубаху,
Чуть охладив рабочий пыл,
Простым гвоздем, который с маху
Одним ударом вколотил.

Любуюсь струганой доскою,
Рубанок мой держа в руке,
Любуюсь точною строкою,
Впритирку пригнанной к строке.

Я говорю себе при этом,
Я говорю другим всегда:
В любой работе будь поэтом
Во славу общего труда.

Но чтоб собой не упиваться,
Умей, признанья не тая,
Чужой работой любоваться,
Как будто бы она твоя.

* * *

Кто долго жил, тот мудр и молод.
Я долго жил, но не пойму,
Как обратить в тепло твой холод,
Знакомый мне лишь одному.

Я часто думаю ночами,
Как в слове искру раздобыть,
Какими вешними лучами
Твой лед январский растопить.

Когда рванет мороз под тридцать,
То, не жалея ни о чем,
Снег всеми звездами искрится
Под нестареющим лучом.

Инна Кашежева

* * *

Не было б, может, в помине
строчек в полуночный час...
Горы припали к равнине —
новая жизнь началась.
Первой слезой на вершине
дрогнул весны ручеек...
Горы припали к равнине —
бурный родился поток.
Солнце в заоблачной сини
встало, маня как судьба...
Горы припали к равнине —
ввысь побежала тропа.
В мире слились две святости, —
самый бессмертный сюжет...
Горы припали к равнине:
я появляюсь на свет.
Все мы смирим гордыни
в миг меж детьми и людьми.
Горы припали к равнине
каменным гимном любви.
В самой пустынной пустыне
вспомни, гоня забыть: —
горы припали к равнине...
Горы припали к равнине!
Это бессмертье твое.

* * *

Снег — горная порода,
а ведь летит с небес...
Впусти меня, природа,
под свой живой навес!
Под этот белый, млечный,
под этот вечный свод,
чтоб жизни быстротечной
измерить точный ход.
Мне просто очень надо,
слегка прикрыв глаза,
в антракте снегопада
помедлить полчаса.
Так медлят у порога,
дом покидая свой...

Снег — горная порода,
а смертен, как живой.
Я даже не гадаю,
в каком там далеке
снежинкою растаю
у вечности в руке.
Растаю, но оставляю
свой — пусть незримый! — след:
хотя б его прославлю,
летающий с неба снег.
Снег — горная порода,
но хрупок снежный век.
Прости, мне жаль, природа,
что снег не человек!

Станислав Куняев

* * *

То ли ветер гуляет в трубе,
то ли лед на реке оседает,
то ли трещина вышла в судьбе,
то ли призрачный гул долетает
от пустых полуночных пространств,
где проходят железные зоны,
где, живя, как диктует устав,
днем и ночью не спят гарнизоны.
В том далеком краю, в темноте
днем и ночью пылают созвездья,
днем и ночью урчат в мерзлоте,
словно мамонты, средства возмездья.

* * *

Валентину Распутину

На родине, как в космосе, не счесть
огня и леса, камня и простора,
все не вместишь, не потому ли есть
у каждого из нас своя Матера,
своя Ока, где тянет холодок
в предзимний день от влаги загустевшей,
где под ногой еще хрустит песок
крупнозернистый и заиндеветший...
Прощай, Матера!
Быть или не быть
тебе в грядущей жизни человеческой —

нам не решить, но нам не разлюбить
твоей судьбы непостижимо вещей.
Я знаю, что необозрим народ,
что в нем, как в море, отмелей и глуби,
увы, не счесть... Да будет ледоход,
да будут после нас иные люди!
Прощай, Матера, боль моя, прощай,
прости, что слов заветных не хватает,
чтоб вымолвить все то, что через край,
переливаясь, в синей бездне тает...

* * *

Конечно, вечный грех
и страшная вина
клеймом лежит на тех,
в чьих замыслах война.

Зеленая земля,
ты превратишься в ад...
Вы — нелюди, но я —
я тоже виноват:

я к другу был жесток —
он злом ответил мне,
и мир на волосок
приблизился к войне.

* * *

Через Угорский мост
поезд курьерский мчит
мимо кофейных вод
и золотых раки,

мимо забытых мест,
мимо заросших троп...
Наземь свалился крест,
в землю ушел окоп.

Только блестящий грач
тащит траву в гнездо...
Вспомни и обозначь
то, что не знал никто.

Просто глаза закрой
и воскреси весь прах —
тот, что в земле сырой
или в забытых снах.

ПРЯМОЙ СВЕТ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

При всем многообразии сегодняшней нашей поэзии, при всех ее удачах, подчас истинно ярких,—справедливо и то чувство неудовлетворенности, что звучит в устных и печатных обсуждениях поэтических дел. Одно из существенных к тому оснований—распространившееся, активно утверждающее себя мелкотемье.

Отчего оно процветает? Можно, очевидно, назвать различные причины, посотовать в самой общей форме на редакционную, издательскую нетребовательность. Но хотелось бы обратить внимание на одно конкретное обстоятельство. Мелкотемье—оно ведь не любит сегодня являться на свет в открытом, простодушном виде. Оно предпочитает одежды, должествующие выразить нечто значительное, сложное. Оно, так сказать, желает соответствовать...

Движение поэзии по пути усложнения, углубления содержания—объективный процесс последних десятилетий. Подобное движение происходит во всех родах и жанрах литературы, обогащающей социальным, историческим, гуманистическим опытом



Ярослав Смеляков

действительности. Но, как известно, даже самые что ни на есть благотворные процессы и явления не обходятся без недостатков, издержек. Как это ни печально, ни парадоксально, имитации, подделке под поэтическую сложность сегодня живется весьма вольготно.

Владея версификаторскими навыками, вполне возможно незначительность мысли превращать в философскую недоговоренность, размытость нравственной позиции выдавать за драматическое смятение чувств и, действительно,—соответствовать, находиться как бы в ладу с общей тенденцией.

То, что ремесленничество такого рода имеет спрос, что немало случается охотников обманываться, не может не тревожить. Не хватает строгости оценок, не хватает зоркости, благодаря которой истинная сложность была бы развешена, размежевана со сложностью мнимой. Получается, принять искусственное, мнимое предпочтительнее, нежели отвергнуть. Не дай бог—прослывешь упрощителем, ежели не простаком...

И вот о чем думаешь в связи со всем этим. Не подзабываем ли несколько мы в суждениях о поэзии значение открытости и прямоты—четкого обозначения позиции, прямого авторского высказывания?

Замечу: речь о качествах, благоприятствующих утверждению гражданских мотивов, гражданского содержания поэзии. И одновременно—связь тут естественна, очевидна—весьма способствующих выявлению нищеты мелкотемья.

Да, в прямом свете гражданственности многое становится яснее—и прежде всего уровень содержательности поэтической работы, обеспеченности ее насыщенной мыслью, серьезным чувством.

О том, сколь богатым идейно и эстетически, сколь привлекательным способно быть открытое, публицистически нацеленное поэтическое слово, красноречиво свидетельствует опыт нашей советской классики. Взять Ярослава Смелякова—вот кто убеждает со всей неопровержимостью, что простота и сложность могут быть отнюдь не антагонистами. Поэзия Смелякова наполнена прямыми, отчетливо узнаваемыми приметами действительности. Но можно ли сказать, можно ли упрекнуть поэта, что они всего лишь зафиксированы, всего лишь перенесены в стихи? Смеляков обладает глубинным духовным зрением, позволяющим и через обыденные—точнее сказать, доверительно-обыденные—детали открыть, показать читателю самую суть крупных общественных явлений.

Примечательно, что прямота поэтической речи никогда не была у Смелякова неким застывшим приемом, она развивалась, усложнялась, чутко отвечая движению времени. Это хорошо видишь, сопоставляя между собой стихи, характерные для того или иного периода его творчества. Стихотворение конца сороковых годов «Наш герб» принадлежит к лучшему, известнейшему у Смелякова, входит в школьные хрестоматии. Однако можно ли представить его среди произведений, появившихся лет двадцать спустя, объединенных в цикле «День России»? Стихи, посвященные рождению первого советского герба, были, при всей своей сказовости, легендарности, прежде всего стихами о событии. Сердцевину «Дня России» составляют стихотворения иного рода: событие в них лишь повод для многозначного, напряженно-сосредоточенного осмысления историче-

ских закономерностей, нитей, связующих настоящее с минувшим.

«Один день» — так нейтрально, непритязательно называется стихотворение (или небольшая поэма), рассказывающее об увиденном в маленьком сибирском городке, которому вскоре суждено уйти на дно нового моря. На первый взгляд, автор здесь — репортер, протоколист: разные, разнохарактерные, вроде бы разъединенные картины перед нами. Уверенный ритм стройки («самонадеянно смела...» — так говорится о ней); отчаянная, надрывно-веселая суета последней городской барахолки; возникшая перед поэтом «из повседневности самой» рубленая деревянная башня, где триста лет назад жил в ссылке неукротимый протопоп Аввакум; чьи-то невзначай увиденные похороны, а за печальной этой процессией, так совпало, «длинным цугом, для узких улиц велики, шли без просветов друг за другом строительства грузовики»... Случайные впечатления? Вот и сам поэт вроде бы признается:

За малый труд не ожидая
ни осужденья, ни похвал,
я сам не очень понимаю,
зачем все это написал.

Однако же признание ли, вывод ли это? Скорее горестный вздох по древнему городку, печальной его судьбе... Совсем недаром поэт сообщает вдруг, что, наблюдая приметы «одного дня», «стоял с пустым блокнотом»: он не описывает — сопереживает, размышляет. Он хочет ощутить, выразить реальную, драматическую диалектику жизни. И добавляется этого: каждая деталь, каждая подробность стихотворения исполнена смысла. Скажем, образ Аввакума — он ведь возникает здесь вполне сознательной антитезой: «мятежный пастырь, книжник дикий» не сдался. Городок — сдается. Сдается, потому что не может не сдаться, потому что оказался на пути у прогресса, у будущего... А вслушайтесь в строки — прекрасные, величавые, — венчающие рассказ о тех самых идущих цугом грузовиках: разве не слышна в них поступь Истории?

Как будто их рукой усталой,
чтоб равнодушно не слыть,
сама Индустрия послала
тот гроб безвестный проводить.

Удивительное стихотворение! Правда времени и правда человеческих судеб, прошлое и сегодняшний день, высокое и бытовое, радость и печаль — все переплелось в нем. И через это переплетение явственно проходит решающая мысль — мысль о поступательности, неостановимости исторического движения, революционного преобразования жизни.

«Один день», ныне это особенно хорошо видно, находится у самых истоков обращения нашей литературы к важной, трудной теме взаимозависимости человека, истории, природы. И можно лишь восхититься цельностью, гражданской зрелостью поэта, который, существенно усложняя содержательный диапазон стихов, не утрачивает ясности, определенности позиции. А то, что он не скрывает сомнений, мучительных вопросов, что делает нас свидетелями, соучастниками своего искания истины, — придает поэтическому рассказу особую привлекательность. Из-

лишне, наверное, оговариваться, что прямому гражданскому чувству можно выразить не только делая вывод, но и задаваясь вопросом...

Классическое наследие советской поэзии — верный, надежный творческий ориентир. И тем не менее можем ли мы, положа руку на сердце, сказать, что неисчерпаемое это богатство используется сегодня в должной мере? Еще далеко не полностью оценен, осмыслен творческий опыт ряда замечательных мастеров — скажем, М. Исаковского. Речь обычно возникает о его лиризме, песенном даре, но ведь чрезвычайно богат и интересен нравственный мир этой поэзии — удивительная органичность этики, подкрепленная органичностью лексики. Иные стихи, даже строки Исаковского заключают в себе целую этическую программу — как, например, слова из знаменитой песни «В прифронтовом лесу»: «И что положено кому — пусть каждый совершит»; слова, спокойная простота которых оплачена высокой, трагедийной мудростью.

Свежую по наблюдениям статью о поэзии Исаковского опубликовал несколько лет назад Егор Исаев, справедливо отметивший, что стихи, подобные «В прифронтовом лесу», представляют собой пример «короткой, но достаточно мощной эпике», что в них «явлен миру главный сомноженный персонаж истории — наш воюющий народ»...



Михаил Исаковский

Советская классика создана творчеством поэтов очень разных, ярко индивидуальных, подчас исповедующих резко противоположные, исключают друг друга эстетические принципы. Это аксиома. Но смысл ее можно толковать по-разному: или исходя из уважения к совокупности свершений или, напротив, имея в виду, вольно или невольно, разъединение, размежевание. Только первый путь конструктивен, только он единственно пригоден для плодотворного постижения традиций гражданственности. Разумеется, классику не следует воспринимать канонизированно, к тому же естественна избирательность: каждый тяготеет в предшествующем опыте к тому, что близко его собственному складу. Но при всем том неизменным должно быть уважение к ценностям, ставшим частью духовного бытия народа.

Поучительна недавняя дискуссия в «Литературной газете» в связи с 90-летием В. Маяковского. Она подчеркнула непреходящее творческое значение тенденциозности, публицистичности — качеств, которые, в сплаве с высочайшим лиризмом, составляют главную силу великого поэта. Глубоко правы те, кто предвидит неизбежное открытие новых пластов, новых сфер влияния Маяковского на современную литературную практику.

Тенденциозное, активно гражданское начало в поэзии, бывает, пытаются представить как заведомо ограниченное в художественном отношении. Уже не раз случалось, что противопоставлялись друг другу Некрасов и Фет с явным предпочтением второго первому. Контекст высказываний мог быть разным, а логика — если обнажить ее, освободить от блистаний эрудиции — всегда примерно одна: Фет, не озабоченный гражданской злобой дня, благодаря этому создавал шедевры для вечного, так сказать, пользования, Некрасов же увяз в переходящем журнализме. Ну, а поскольку наше время есть время интенсивного постижения прекрасного, не ясно ли, что Фет нам куда ближе, нежели его незадачливый современник...

Если я и утрирую, то, право, самую малость. Хотя этого или не хотят авторы подобных высказываний, их методология объективно представляет гражданственность излишним, обременительным грузом, рекомендует поэзии иные пути, вызывающие свободные от общественных страстей... Как же умеем мы, однако, придавать негативный смысл добрым в своей основе явлениям и процессам — а более полное и глубокое постижение богатств лирики Фета процесс, безусловно, добрый; как умеем и обогащение — то само обернуть новой узостью...

Не счесть, сколько раз приводились в статьях о поэзии строки Владимира Соколова, где упомянуты имена Некрасова и Фета. Не просто приводились — почитались как заклинание, как заповедь, якобы зовущая современных стихотворцев в совершенно определенном направлении — к Фету. Но вот, однако, сам В. Соколов счел нужным заметить (в интервью, опубликованном в 1982 году «Литературной газетой»), что критика трактует эти стихи «несколько странным для автора способом». Поэт говорит: «Я давно, еще в конце 50-х годов, написал небольшое стихотворение, где есть такие строки: «Со мной опять Некрасов и Афанасий Фет». Много времени спустя эти строчки стали широко цитироваться. Я был несколько удивлен, что они вдруг привлекли к себе такое внимание, хотя я сам их особо не

выделял. И вот странность. Фет в этих строчках был замечен очень широко, а Некрасова, который был упомянут первым, словно бы и не было вовсе...»

Красноречивое высказывание, не правда ли? И далее поэт выражает несогласие с тем, что его «причислили по «ведомству Фета»... А еще говорит о своем нежелании слыть — в соответствии с определением критиков — неким «прародителем «тихой лирики». По мнению Соколова, термин этот вообще не слишком правомерен: он словно бы допускает, что есть «поэты тише воды, ниже травы».

Творчество самого Владимира Соколова — блистательное свидетельство того, сколь своеобразными могут быть формы и способы воплощения вдохновляющей поэзии гражданственности. Читая Соколова, все время находишься в поле силового притяжения: оно образуется совершающейся в стихах неустанной, истовой душевной работой. Публицистические средства совсем не близки поэту; признаки внешнего мира, входящие в стихи, интересуют его прежде всего как повод, как импульс, сообщающий движение миру внутреннему. Но при всем том лирика эта тесно, органично сращена с временем, сегодняшним днем. Вескими деталями, точно переданным настроением отражается в ней трудный опыт поколения, чье отрочество пришлось на пору войны, отражаются мысли и чувства, волнующие современников. Гражданственность у Соколова это прежде всего утверждение высоких нравственных принципов частной, повседневной жизни; тех принципов, осознанное, убежденное следование которым и делает индивидуальное человеческое бытие частицей бытия общественного, народного. Известные строки — «Все у меня о России, даже когда о себе» — глубоко обоснованы содержанием поэзии Соколова, внутренним ее пафосом.

За книгу «Сюжет» Владимир Соколов удостоен Государственной премии СССР 1983 года. Награда, подтверждающая и поощряющая многообразие гражданственных исканий. Такая же награда, как известно, присуждена в том же году другому представителю русской современной поэзии Анатолию Преловскому, чья работа, чьи интересы носят совсем иной характер. Свод поэм Преловского «Вековая дорога» — это осуществление большого эпического замысла, освоение крупномасштабного материала. Надо отдать должное творческой последовательности поэта, его преданности избранной теме — теме Сибири, историко-социальных преобразований великого края. Не убоившись скептических, эстетских разговоров о тематической регламентированности, «прикладничестве», Анатолий Преловский создал поэмы широкого дыхания, большой искренности; поэмы, в которых картины народной жизни восприняты, прочувствованы глубоко лично. Значение «Вековой дороги», помимо всего прочего, еще и в том, что объективно она противостоит дежурным, скороспелым сочинениям о сибирских и прочих стройках, рифмованным «откликам», в которых вялая риторика, фейерверки восторгов подменяют подлинные чувства.

Да, гражданственность не есть монополия какого-то одного стиля, угла зрения. В чем бы, как бы она ни воплощалась, свет ее всегда благотворен, способен отчетливо представлять направление и ценность поэтической работы. Тут, кстати, и очевидно становится: не существует поэзии ни «громкой», ни

«тихой», есть поэзия гражданственная и та, что довольствуется мелким содержанием, мелкими задачами — воистину тише воды ниже травы.

И еще. Гражданские темы не терпят суесловья, требуют вдумчивого, ответственного подхода к себе. Досадно бывает, когда эти непрменные требования не выдерживаются, когда значимые термины, понятия предлагаются читателю в обрамлении необязательном и невнятном.

Лариса Васильева пишет:

Я-то думала, горько и больно
на распутье о счастье пою.
Оказалось, свободно и вольно
выражаю тревогу свою.

Оказалось, что тихое слово —
не рассветное эхо полей,
а оправа, окова, основа
обновленного мира идей.

Как можно догадаться, побудительной причиной для этих строк послужили опять-таки размышления о «тихом слове» в поэзии. Но вот странность: что значит «оказалось»? Объяснено кем-то? Декретировано? А до того поэтесса и впрямь не ведала, что пела? И другие словесные странности есть в стихах. Почему мир идей «обновленный», а не «новый», что было бы единственно точно? И уместна ли здесь эффектная триада — «оправа, окова, основа» (особенно удивляет «окова» — это в применении к идеям-то!).

Прочитую стихотворение дальше, до конца.

Все мы — символы века, предтечи
и начала путей и конца.
Как должны быть обдуманно речи
и опасно открыты сердца!

Где для этого черпают силу,
проходя не напрасную жизнь? —
Я, волнуясь, у ветра спросила.
Он ответил:
— Вокруг оглянись.

Не волнение ли поэтессы послужило причиной тому, что мы вынуждены, дабы удержать рифму, произносить «жись» вместо «жизнь»?.. А если всерьез, — не чувствуется тут никакого волнения. Ну в самом деле, раз уж доподлинно известно (хоть и не вполне внятно изложено), что все мы символы, предтечи и прочая, и прочая, то зачем ветер вопросами беспокоить?

У Ларисы Васильевой немало хороших стихов, отмеченных как раз уважением к слову, смысловому его наполнению. Жаль, но в данном случае вышло по-иному. «Обдуманно речей» не получилось...

Как же важна для гражданской поэзии обособленность взгляда, позиции, точность в отборе и деталей и самого предмета поэтического высказывания!

Успешно воплотились эти качества в поэме Евгения Евтушенко «Мама и нейтронная бомба». Мне довелось подробно писать (на страницах «Знамени») об этом произведении, ярко представляющем в нашей поэзии антивоенную тему. Впечатляет мощная образность, с какой автор рисует лики античеловечности, страшные, фантазмагоричные картины бедны, куда вознамерились загнать мир людской империалистические варвары. Вызывает доверие, сочувствие горячая исповедальность, сопровождающая рассказ поэта о своей родословной, моментах био-

графии: радости, боли, трудности, необходимость нравственного выбора — все это видится частью той самой всеобщей человеческой жизни, что нуждается в спасении, защите. Поэма исполнена веры в разум и добрую волю, объединяющую всех честных людей планеты, она заострена на мысли о могучей, непреходящей духовной силе, заключенной в традициях нашей революции, нашего подвига в войне против фашизма.

Интересен и поучителен художественный, изобразительный опыт этой работы Е. Евтушенко. Структура произведения сложна, прихотлива. Свободный стих, которым на этот раз пользуется поэт, призван вместить в себя множество реальных и ирреальных картин, обилие событий, впечатлений, характеристик, разделенных годами и границами, разнящихся социальным смыслом. Поэма подчеркнута мозаична. И при всем том цельна, последовательна в своей идее. Все в мире имеет смысл и предназначение постольку, поскольку жив человек, — этот основной тезис утверждается во плоти обстоятельств, в конкретном размышлении о способности человека к противостоянию злу, к борьбе.

«Мама и нейтронная бомба» — произведение поэтической публицистики. И, как тому и положено быть, талантливое творчество опровергает априорные схемы — в данном случае опасения (они нынче нередки), что, дескать, публицистика склоняет к нивелированию индивидуальных поэтических красок, к односторонности. Публицистичность поэмы Евтушенко не представляет собой некое особое «надкачество», она неотделима от яркой изобразительности, нерегламентированности поэтической мысли, от глубоко личного ощущения материала.

Успех Е. Евтушенко в жанре политической поэмы в данном случае принципиален — и для самого его творчества, и для всей современной поэзии. Думаю, признание «Мамы и нейтронной бомбы» будет еще расти и шириться.

Но вот о чем хочется сейчас сказать. Той цельности, той ответственности, какой отмечена в данном случае работа поэта, не всегда хватает некоторым другим его произведениям, также посвященным общественно значимым и острым темам. Иной раз диву даешься: куда только девается зоркость наблюдения, точность мысли, способность видеть явления в их связи, сцеплении. Вместо этого — неконтролируемая поспешность, удовлетворение внешним поверхностным пафосом.

Посмотрим, к чему привело такое «расслабление» в стихах «Размышление у черного хода», опубликованных в одной из газет.

Поэт обличает ловкачей из «царства торговых чудес» и тех, кто составляет их питательную среду, кто пристрастился пользоваться незаконными услугами. Он верно говорит о живучести, распространенности этого явления, о вредоносной «психологии черного хода»: «самодержцы солений, копчений, продуктовый и шмоточный сброд проточить бы хотели, как черви, в красном знамени черный свой ход».

Обличительная направленность таких стихов заслуживала бы безусловной поддержки, если бы не некоторые их особенности. Сюжетное обрамление стихотворения — история «Зины Пряхиной из Кокчетова», приехавшей в Москву поступать в ГИТИС, не поступившей и устроившейся дворником на Арбате.

«Подметатель, долбитель» (долбитель льда, надо понимать), стоя на улице «с тягостным ломом», как раз видит, как с обратной стороны «важного гастронома» убогаются «чернопроходцы». Понятно удивление и возмущение девушки, привыкшей к простой и честной трудовой жизни («...за нею была — пилорама, да еще заводской драмкружок, да из тамошних стрелочниц мама, и заштопанный мамин флажок»). Поэт расширяет сферу обличения: ненавистные ему ловкачи «... прут в грядущее, как в магазин, с чернопроходным дипломом, как с ломом, прошибающим пряхиных зин». Иначе говоря, и в вуз, в данном случае в ГИТИС, пробираются недостойные — за счет такой вот Зины. Одаренной, надо полагать.

Одаренной?.. Зина на экзаменах «так Некрасова басом читала, что слетел Станиславский с гвоздя... Зину словом никто не обидел, но при атомном взрыве строки «Назови мне такую обитель...» ухватился декан за виски».

Удивительно, но об этих вполне красноречивых картинках, нарисованных в начале стихотворения, поэт в дальнейшем словно забывает. «Ты Некрасова не дочитала. Не стесняйся. Свой голос возвысь», — обращается он к героине.

Может, это иносказание, метафора? Может, автор имеет в виду, чтобы Зина Пряхина возвысила свой голос не перед приемной комиссией или на сцене, а в жизни? Но нет, рядом видим такую строфу:

На Медею твою, Клеопатру
не по черному ходу придет
тот народ, что живет на зарплату, —
то есть самый народный народ.

При всем моем уважении к Зине Пряхиной (да и, разумеется, к самому Евгению Евтушенко), возникает вопрос: а почему, собственно, «самый народный народ» должен пробавляться искусством, так сказать, заведомо некачественным?

Концовка стихотворения звучит следующим образом:

Ты прорвешься на сцену с Арбата
и не с черного хода, а так...

Разве с черного хода когда-то
всем народом вошли мы в рейхстаг?!

И хотя понимаешь, что поэт хочет выразить здесь главный свой пафос, призывает бороться со злом, что называется, всем миром, — ответного чувства не возникает. Напротив, думаешь о том, что эффектные строки о великой победе звучат неуместно, даже бестактно. И, кстати сказать, так же звучат проходящие через все стихотворение настоячивые «некрасовские» реминисценции... Все, решительно все портят необдуманные, легковесные сюжетные реалии.

Разумеется, поэт не мог хотеть этого, но объективно стихи его воспринимаются как этакое заигрывание, подлаживание под народ. Что в общем-то совсем не нужно Е. Евтушенко, ибо в лучших своих произведениях он покоряет как раз подлинной близостью к народной жизни, пониманием народных характеров. В той же поэме «Мама и нейтронная бомба» в этом убеждает немало страниц. Взять, к примеру, непритязательную вроде бы сцену в сибирской чайной, когда пожилая буфетчица по жесту случайного посетителя узнает вдруг в нем сына некогда дорогого ей человека: сколько волнующей житейской правды встает за немногими строками, написанными удивительно емко и удивительно тепло, с точнейшим ощущением психологии!.. Увы, такой подлинности (хотя она всячески и декларируется, «подается») совсем нет в «Размышлениях у черного хода».

«Талант есть чудо неслучайное» — озаглавил Е. Евтушенко книгу своих статей. Что ж, к таланту гражданственно направленному эти слова относятся в сугубой степени: «неслучайность» здесь особенно дорога и необходима. Обязанность всякого истинного поэта — точно распоряжаться своим талантом, своим гражданским даром, памятуя, что поэтическая работа — всегда работа общественная.

И еще одну афористичную формулу Евгения Евтушенко (из той же его книги) хочу здесь привести: «Гражданственность есть высшая степень самовыражения».

Справедливые, веские слова. Думаю, смысл их имеет непосредственное отношение к смыслу того, о чем я стремился сказать в своих заметках. И потому позволю себе словами поэта эти заметки закончить.

СТРОКИ О В. И. ЛЕНИНЕ

1

Может, родствен побегам весенним
Человеческой мысли размах?
Проросла грозным потрясеньем,
Корни бунта пустила в умах.

Это видится травам и листьям
Или песню звенят камыши?
Под лучами пронзительных истин
Оперяются крылья души.

Это скоропись майского грома,—
Черновые заметки небес,
Или первая ночь Совнаркома—
Дело вечное, сроки в обрез?

2

Строгий памятник. Мощная лепка.
Холод камня. А в общем не то.
Вдруг почудилось: выпадет кепка
На ходу из кармана пальто.

Ожил бешеный ветер исканья.
Высота получила объем.
И ударило светом из камня.
И забрезжило в сердце твоём.

Будто узел, запутанный крепко,
Развязала победно судьба.
Сохранила измятая кепка
Лучевую энергию лба.

* * *

Не однажды бывало:
Покачнется в глазах воспаленных
Крутизна перевала,
И на приступ
Не хватит силенок.

Но цепляюсь,
Карабкаюсь,
Лезу.
Не природу —
Себя покоряю.
По камням,
По корням,
По корявому лесу,
По любому отвесу,
По краю.

РЫБАКИ

Где-то штормы буйствуют жестокие...
Глядя сквозь туманную зарю,
Вижу снова небоскребы Токио,
Молчаливо с ними говорю.

Напрягаю сердце, чтобы поняли.
Перевод не нужен: колдовство.
Как живут, мол, рыбаки Японии?
Жаль, не встретил сам ни одного.

Правда, замечалось их присутствие,
А точнее, добрые следы,
Если, грозно требуя сочувствия,
Бунтовал желудок без еды.

Повара сновали, масло капало.
Нарастал обеденный прилив.
И за карпом следовала камбала,
Специями перья раскалив.

Я питался рыбой и кальмарами,
А на горизонте иногда
Возникали и тонули в мареве
Грузные ловецкие суда.

Да, без флота нация пропала бы.
Тесен мир от носа до кормы.
Ну-ка, выстой на качелях палубы,
Двести миллионов прокорми!

На земле шторма кипят жестокие.
Но, встречая смутную зарю,
Свой улов, что вытянул из Токио,
Рыбакам по совести дарю.

Екатерина Шевелева

ПОДВИГ

Серьезный мальчик в старом Ярославле
Под сенью исторических теней
Мечтал о строгой комсомольской славе —
Для волжской пристани своей.
Наверно, настоящий человек
В своей судьбе от Родины зависим:
Степной простор, очарованье рек,
Извечный магнетизм скалистой выси
Преображает он в крутой разбег,
В полет, в работу смелой мысли.

Он был поистине велик,
И на трагическом пороге
Ему казалось, что приник
Он к долгому течению Волги,
Как бы к течению веков,
В которых образов плеяда,—
От изможденных бурлаков
До знаменосцев Сталинграда;
Что он, с его большой судьбой,—
Лишь часть многострадальной плоти;
Что раздирающая боль
Превозмогается в работе.

Он знал, что творческий режим
По самой сути конструктивен,
Что взлет марксистской мысли жив,—
В неизмеримой перспективе;
Что каждый золотник пусть мал,
Да дорог в мудром коллективе.

(И он прогноз врачебный знал:
Последний. В близкой перспективе.)

Ужели каждого из нас
Пример великий не научит:
В обычный день, в обычный час
И мыслить, и работать лучше?!

...Вы помните студеные недели:
Сначала штормовых ветров обвал,
Потом гудки прощально загудели,
Как бы влились в космический хорал.

Когда-то на скрещеньях тьмы и света,
На раскаленных перепутьях стран,
Отчаянным прозрением поэта
Я предсказала этот ураган:
«Что мне осталось пожелать во мгле?
Что человеку надо на Земле?
Наверно, чтоб в его последний миг
Был крут прибой и ветер не утих,
И знать, что в бесконечности миров
Его земной ребенок жив-здоров!»

ЗНАКИ ЗОДИАКА

В столичный интернат из дальней дали
Гостинцы внуку я приволокла.
Гуляли дети, мы их ожидали.
Подсела я к старухе у окна.

И у нее корзинка на коленях.
Со всяческим твореньем добрых рук.
Мое, старуха это, поколение.
Возможно, у нее здесь тоже внук.

— Послушайте!— сказала я соседке.—
Тут засиделись только мы вдвоем;
Забыли нас, наверно, наши детки,
Оставим им гостинцы и уйдем!

И, будто занавеска отмахнулась,
На миг незащищенно проявив
Извечную тоскливую сутулость
Покорной всепрощающей любви,
Терпенья переполненную чашу,
Давно потерянный обидам счет.



Алексей Сурков. 30-е годы



Владимир Луговской. 30-е годы

— При вас,— сказала я,— свою поклажу
Оставлю. Может, явится еще?
...Что значит «поколенье»?

Не седины,
Не дряблость кожи, не потухший взгляд.
Ровесники, мы вовсе не едины.
Мы — поколенье.

Но не все подряд!
И главное, в чем люди непохожи,—
В оценке унижительных обид...

На интернат я оглянулась все же.
Отметила: у входа внук стоит.
За ним высоко громоздятся двери
В день будущий,— совсем не в тишь да гладь!
Он мал еще. Ему своей потери
Сегодняшней еще не осознать.

...Пускай ему созвездья Зодиака
Сияют сквозь любые облака.
Он — вроде вопросительного знака.
Смешно.

Когда глядишь издалека.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Выдался неожиданно день везучий,
С ветром в помощь — не наперерез!
Превратились тягостные тучи
Ни в буран, а в заповедный лес.
Он вобрал в себя мои утраты
И, непроницаемый на вид,
Он не только горестные даты,
Весны он грядущие таит,—
В это верю, этому порукой
Ясное спокойствие зимы,
Все, что было нашей болью, мукой,
Все, чего смогли добиться мы.

Снежной дали голубое царство —
Предо мной, подобно миру.
По строке, летящей сквозь пространство,
Я в туман вечерний ухожу.
Ухожу, душой запоминая
Чистоту кристальную полей.
И моя трагедия земная
Вечностью становится моей.

Анатолий Передрегов

К ИСТОРИИ ВОЙН

Душа давно блуждать устала
В тех временах, когда над ней
Земли История
вставала
В кровавой сущности своей.

Души не трогают нисколько
Все три Пунических войны,
Где под пятою Ганнибала
Смешались люди и слоны.

Мне душу б раздавило бремя
Всех жертв походов, боен, войн,
Но с ней — безжалостное время,
Закон диктующее свой.

Где орды Дария и Ксеркса?
Кто под копытами коней?
Их стон не достигает сердца
Из древней дикости своей...

Хоть в глубине родных преданий
Таится боль души моей,
Не слышу стона сечи давней,
Ни звона тяжкого мечей.

И гибель предков достославных,
Чей клич: «О Русская земля!» —
Быть может, плачем Ярославны
Еще лишь трогает меня.

И время тех, кто в бранной доле
Полегло среди отческих полей,
Давно сияет в ореоле
Легенд, сказаний, эпосей.

Не отыскать былые раны
В краях истерзанной земли,
Где на крови вставали храмы,
Березы на костях росли...

Душа давно блуждать устала
В тех временах, когда над ней
Земли История вставала
В кровавой сущности своей.

Не жаль мне римских легионов,
Душа уже не слышит стонов
Былых полков и батальонов,
Все дальше боль времен иных...

Но двадцать, двадцать миллионов
Недавних...

Памятных...
Родных...

* * *

Беспощадна суть познания,
Страшно логика ясна...
Нету бога в мирозданье,
Есть Пространства кривизна.

В бездне канула астральной
Голубой вселенной даль,
В этой пропасти спиральной
И себя, и землю жаль.

Что там жизни моей фактик,
Что земли юдольный мир?! —
Разбегание галактик...
Тяжкий холод черных дыр...

Ни душой, ни мыслью пленной
Не объять мне этих сил.
Где вы, где вы во вселенной,
Хоры стройные светил?

Никакого нету дела
До земного существа
Вспышкам огненного тела,
Возмущеньям вещества.

Бесконечностью пустою
Мчат миры, себя круша.
Нету неба над тобою,
Беззащитная душа.

Так зачем порой ночью
Ты глядишь в него, глядишь
И не с черною дырою,
Со звездою говоришь.

ФЕТ НА ПРОГУЛКЕ

Пробегает по листьям свет...
На прогулку выходит Фет.

Фет выходит на прогулку,
Как душа ему велит,
По цветущему проулку,
По аллее белых лип.

Мира свежее дыханье,
Лишь калитку отвори,—
Фет выходит в полаханье
Приусадебной зари.

Сколько музыки и света!
Ветры,

листья,

соловьи

Окружают душу Фета,
Обнимают, как свои.

Сердце бьется,
песня зреет...

Жаль, что он в разгаре сил
Деревеньки

поскорее

Стороною обходил.

НА ВОЛГЕ

И вот плыву ее раздольем,
Усталый взрослый человек,
Земных дорог хлебнувший вдоволь.
Узнавший нрав морей и рек.

И пароход, выдавший виды,
Взрывая хриплые гудки,
Везет меня туда, где слиты
И синь небес, и синь реки.

А на корме,
где песен праздник,
Волнуют душу мне до слез
Объятый думой Стенька Разин
И в диком мху седой утес.

Плывет раздолье песен долгих,
Где Волга — матушка-река...
И слышу я — шумят над Волгой,
Как песни долгие, века.

А за кормой — кипенье пены
И волн веселый переплеск...
Цветет, сливаясь постепенно,
И синь реки, и синь небес.

И, сил торжественных исполнен,
Времен я слышу перезвон
И вижу:

Волга катит волны
Из горизонта — в горизонт!

1959

* * *

Поэзия,
ты спутница
Тревог земных и бед,
Что на земле аукнется —
Откликнется в тебе.
Любая боль услышится
И песней изойдем...
И душам
снова дышится,
Как травам под дождем.

1959

ЖИЛ СТАРИК...

На заре горланили кочеты...
Он вставал на своем крыльце,
И усов шевелились кончики
На рассветном его лице!
Он всегда поднимался рано,
Двор оглядывал и сарай
И меня будил — квартиранта:
— На работу не опоздай! —
И степенно шел в огородик,
Где топорщилась луком земля,
Шел — работник его и угодник,
Не теряющий времени зря.
Там, среди стонущих жизнью грядок,
Средь звенящих капустных корон
Человек из соломы и тряпок
Отгонял воробьев и ворон...
Там в зеленом живом государстве,
Понимая растений крик,
Он величествен был и царствен,
Озаренный солнцем старик!
И когда —

без пятнадцати восемь —

Торопясь я бежал через двор,
Успевал он мне в руки бросить
Напоенный зарей помидор...

1959

Юрий Воронов

* * *

Позаросли травой окопы:
Стирает время их с земли.
По странам нынешней Европы
Стучат все реже
Костыли.

Не рвутся бомбы
На дорогах,
Не знают мин
Ее моря.
Но беспокойство и тревога
В нас разрастаются
Не зря.

Все так же крутится планета,
И звездный купол
Не погас.
Но остроносые ракеты
Уже нацелены
На нас.

И речи кой-кому сегодня
Диктует
Атом и напалм.
И в Кёльне
Школьники не помнят,
Кто на кого
Тогда напал.

Планете
Требуются курсы,
Чтобы напоминать иным,
Чем были б
Без Москвы и Курска
Сегодня Лондон или Рим.

Что стало бы
С Европой ныне,
И шар земной —
Каким б он был
Без Ленинграда и Хатыни,
Без нашей боли
И могил.

Мы на земле творим и пашем,
Но непокоем век объят.
И голоса
Живых и павших
Гремят о мире,
Как набат!

БЕРЕЗА

Береза
В упрек ничего не сказала,
Когда ее ствол
Буреломом задело.
Она лишь
Пригоршнями листья бросала,
Как будто за все
Расплатиться хотела.

За свежие ветры
И жаркое лето,
За синий ручей,
Утолявший ей жажду,
За птиц,
Что будили ее на рассвете,
За звезды,
Мерцавшие ей не однажды.

Она не спешила
На землю валиться,
Хоть сил оставалось
На самом пределе:
Береза хотела
За все расплатиться.
И, падая,
Листья о землю звенели...

В ПОЛЕТЕ

От непогоды злой,
От вьюг, куда ни суйся,
Высоко над землей
На юг летели гуси.

Они, держа полет,
Не думали о цели,
Болтали без забот,
По сторонам глазели.

А вот вожак молчал,
И почему — понятно,
Он путь запоминал:
Ведь по весне — обратно!

СОН

Что порою не приснится!
Вот и нынче — сон чудной:
Солнце с неба
Мертвой птицей
Рухнуло
Передо мной.

Чтоб ему вверху маячить,
Я обратно к облакам
Все бросал его,
Как мячик,
А оно —
Опять к ногам.
Остывало,
Словно птица,
Если руку — на крыло...

Что порою не приснится!
Мир — живой,
Кругом светло,
Всходы свежие на пашне,
С луга —
Запахи травы!..

Почему же
Сон вчерашний
Не идет
Из головы?

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВА

Когда составлялся сборник «День поэзии», пришла скорбная весть о кончине выдающегося русского советского поэта Василия Дмитриевича Федорова.

Ушел от нас поэт яркой гражданской темы.

Главная черта, на мой взгляд, и стихов, и поэм Василия Федорова — умение прямо и честно смотреть в лицо своему читателю, который не просто друг для него и собеседник, но обязательно и соратник, потому что «наше время такое: живем от борьбы до борьбы. Мы не знаем покоя,—то в поту, то в крови наши лбы. Ну а если нам до ста не придется дожить, значит, было не просто в мире первыми быть».

Отношением к своему читателю определяется истинность и направление поэзии. Именно тем, для кого написаны стихи. И, значит, во имя чего живет и трудится поэт.

Есть стихи-разговор, есть стихи-беседа. У Василия Федорова в его лирике — это всегда речь. Он помнил, что у поступков есть своя память, что песню нужно не только спеть (это все умеют), но и пережить вместе с другими внутреннюю ее действительность, т. е. исполнить ее по-русски задушевно и открыто. Особенно чувствуешь стремление к душевной открытости в стихах о природе, для которой поэт требовал свободы, неугнетения нашей человеческой властью:

Сосны
Загнаны во дворники,
Но спасибо высоте,
Потому что все заборники
По колено красоте.

Красотой человек расплачивается за свое небрежение, а поступаться красотой, в конечном счете, означает поступаться нравственными принципами, потому что красота всегда возвышенна и очищает наши души. Природа от общения с человеком тоже очеловечивается. Человек и природа как бы обмениваются друг с другом своими качествами и самой судьбой. Так понимал это Василий Федоров, когда писал: «Гляжу влюбленными глазами и думаю: «Она мила не тем, что мучилась годами, а тем, что все-таки жила», — о карельской березе, ставшей шкатулкой с извилами «преодоленных мук».

Земля — красота — история — природа — вот тематические и сюжетные координаты поэзии Василия Федорова. И не просто как таковые, а в гражданственном осмыслении.

Для Василия Федорова будущее всегда прикасалось к настоящему. Не из прошлого, а из будущего он ждал и требовал для себя и для людей красоту как знак жизни:

Зачем
Прекрасными чертами
Так полно
Каждый наделен?
Красивые,
Они за нами
Пришли
Из будущих времен.

Будущее само приходит к нам, потому что оно и есть красота. Вот почему лучшие стихи Василия

Федорова и, конечно, поэма «Проданная Венера» — это встреча с ним, теплокровным и таким понятным грядущим. И простой подвиг Наты Граевой, отдавшей свою молодую красоту на жертвенник нашей всеобщей победы, уравнен у поэта в веках с образом Венеры. Красота — не бесцельное качество. Красота всегда нравственна и потому непобедима, как горькая красота Глаши из «Золотой жилы», полюбившей навечно кузнеца Харитона:

Руки Глаши
Если обовьются,
Их уже ничем не разорвать.
Губы Глаши
Если улыбнутся,
До сухоты будешь тосковать.

Сильные, нетерпеливые характеры всегда привлекали Василия Федорова, такие, как Бетховен, Аввакум, — исторические личности, умеющие отстаивать красоту и веру. Вот почему для него жизнь — это всегда победа, даже через костер, как у Аввакума, даже через плаху, как у Стеньки Разина: «Но, ступив однажды на одну версту, разошлись навеки в дерзости и страхе. Аввакум катился к смертному костру. Шел веселый Стенька к своей смертной плахе».

В герою осуществляются всегда скрытые силы народа, реализуется нравственный запас его истори-



Василий Федоров

ческого опыта, запас его земной силы. Сам герой у Василия Федорова — тема, которая сама избирает поэта как своего провозгласителя.

В своих поэмах Василий Федоров не только создает подробности, но и повелевает ими. А для этого нужен особый слух — слух сердца. Обостренный слух к жизни, к ее душе — красоте и поэзии. У него нет мысли, отвлеченной от лирического характера — знак истинности и душевной открытости. Поэт жил и писал на самых главных направлениях нашей жизни, создавая лирические стихи как живые действенные характеры.

Хочется отметить и некоторые особенности федоровского стиха, его умение воссоздавать мир через крупные, не «растворимые» в интонационных пространствах подробности. При этом стих его не утратил и значимости этих интонационных пространств. Стих его озвучен смелым, идущим от народной песни, полногласием.

Признак выдающегося мастерства — умение привести стихотворные строки в действительное взаимодействие и создать накаленное состояние стиха, ту самую внутреннюю лирическую реальность, которая и является сущностью поэзии.

Василий Федоров сумел также противопоставить лирической обособленности так называемой «тихой» поэзии живой, действенный стих, сумел противостоять посредственности. Он создал суровое и умное слово поэта, бойца и гражданина.

В нынешнем «Дне поэзии» мы печатаем известные стихи Василия Федорова и стихи, написанные недавно — стихи-судьбы, стихи-проповеди любви к жизни и высшему ее выражению — красоте.

Василий Федоров

1918—1983

СЕРДЦЕ

Все испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая займет наш враг,
Займет, сводя все те же счеты,
Займет, засядет,
Нас разя...
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.

СОВЕСТЬ

Упадет голова —
Не на плаху,
На стол упадет,
И уже зашумят,
Загалдят,
Завздыхают.
Дескать, этот устал,
Он уже не дойдет...
Между тем
Голова отдыхает.

В темноте головы моей
Тихая всходит луна,
Всходит, светит она,
Как волшебное око.
Вот и ночь сметена,
Вот и жизнь мне видна,
А по ней
Голубая дорога.

И по той,
Голубой,
Как бывало,
Спешит налегке,
Пыль метя подолом,
Пригибая березки,
Моя мама...
О, мама!
В мужском пиджаке,
Что когда-то старшой
Посылал ей из Томска.

Через тысячи верст,
Через реки,
Откосы и рвы
Моя мама идет,
Из могилы восставши,
До Москвы,
До косматой моей головы,
Под веселый шумок
На ладони упавшей.

Моя мама идет
Приласкать,
Поругать,
Побранить,
Пошуметь надо мной
Вековыми лесами.
Только мама
Не может уже говорить,
Мама что-то кричит мне
Большими глазами.

Что ты, мама?
Зачем ты надела
Тот старый пиджак?
Ах, не то говорю!
Раз из тьмы непроглядной
Вышла ты,
Значит, делаю что-то не так,
Значит, что-то
Со мною неладно.

Счастья нет.
Да и что оно!
Мне бы хватило его,
Порасчетливей будь я
Да будь терпеливей.
Горько мне оттого,
Что еще никого
На земле я
Не сделал
Счастливей.

Никого!
Ни тебя
За большую твою доброту,
И ни тех, что любил я
Любовью земною,

И ни тех, что несли мне
Свою красоту,
И ни ту,
Что мне стала
Женою.

Никого!
А ведь сердце веселое
Миру я нес,
И душой не кривил,
И ходил только прямо.
Ну, а если я мир
Не избавил от слез,
Не избавил родных,
То зачем же я,
Мама?..

А стихи!
Что стихи?!
Нынче многие
Пишут стихи,
Пишут слишком легко,
Пишут слишком уж складно...
Слышишь, мама,
В Сибири поют петухи,
А тебе далеко
Возвращаться
Обратно...

Упадет голова —
Не на плаху,
На тихую грусть...
И пока отшумят,
Отгалдят,
Отвздыхают,—
Нагружусь,
Настыжусь,
Во весь рост поднимусь,
Отряхнусь
И опять зашагаю!

КРАСИВЫМ

Люблю красивых...
Жизнь их,
Быт их,
Глаза,
Улыбку,
Добрый смех
Воспринимаю
Как открытье,
Наиглавнейшее из всех.

В них все:
И ум,
И обаянье,
И гордый жест,
И поступь их —
Мне явится
Как оправданье
Всех мук моих,
Всех слез моих.

Зачем
Прекрасными чертами
Так полно
Каждый наделен?

Красивые,
Они за нами
Пришли
Из будущих времен.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ

ВСТРЕЧА

Все седые —
Семьи одной.
Было запросто, как родне,
Исповедаться ей, седой,
Моей пасмурной седине.

Под осеннюю листоверть
Закружились ее слова:
— Не успела любовь разглядеть,
А проснулась — уже вдова.

Мне повесница по пути
Душу жалостью обожгла:
— Не успела двор перейти,
Оглянулась — а жизнь прошла.

Не утишить и не избыть
Слов, дошедших мне до нутра:
— Остается тихо закрыть
За собой
Калитку двора.

* * *

Есть и на ярком солнце пятна,
А музам все равно небось...
Поэзия, не будь всеядна,
Поскольку пятна
Пятнам рознь.

Поэзия,
От боя к бою
Ты задушевней к жизни, но...
Все, что отвергнуто тобою,
В конце концов обречено.

* * *

Отшатнулся,
Будто спятил:
Что зачать мне и родить?
Лист бумаги как распятье,
Чтобы душу пригвоздить.

От листа,
Не веря в чудо,
Отвожу трусливый взгляд,
Жалкий, сам себе Иуда,
Косный, сам себе Пилат.

Неужели
В черной злости
Буду мучиться, как тать?
Боже, надо даже гвозди
Самому изобретать!

СЛЕД ШМЕЛЯ

Памяти Василия Дмитриевича Федорова

Я шел по травам молодым
И лодками подошв
Расталкивал дремучий дождь,
Что был непроходим,
Как незнакомый темный лес,
Откуда не видать
Ни троп, плывущих на Оять,
Ни купола небес.
Устал. И встал. И слуху вял:
Вокруг меня, гудя,
Из семицветного огня
Росли стволы дождя.
О, мне не вырваться из пут
Прохлады и жары,—
Тут не помогут топоры,
Когда дожди попрут.
Польют за шиворот степей
Из-под сплошных небес.
...Вот тут тебя я понял, бес,
И ход твоих затей.
Затеял ты семь коробов
Стеклою воркотни
И закружил среди стволов
Мои былые дни.
Но чертовщина не в ладу
Со мною — оттого,
Что родословную веду
От бога самого,—
Веду от самого труда,
Тяжелого творца,
Перед которым я всегда
Был честен до конца.
Труд тмином, рожью, жизнью пах,
Как первая вода.
И на полотнищах рубях
Осталась соль труда.
Попробуйте ее на вкус,
Она горька, тверда.
Я солью той, как бог горжусь,
Поскольку — соль труда!
Нет выше в мире божества,
Чем богатырский труд.
К его подножью не слова,
А жизнь свою кладут.
Кладу всего себя на кон
За общий интерес,
Хочу заполнить его
Из первых рук небес.
Вы скажете — банально? Пусть!
Но разве не на нем
И мир стоит, и в мире — Русь,
И на Руси — мой дом.
Коси, коса, пока роса,—
По дну травы ходи.
Траву выносят в небеса
Июньские дожди.
Я шел по травам ножевым,
Преобразуя дождь
В холмы арбузные и рожь,
И в солнечный галдеж,

В дух зерен, в первородство рос,
В дыханье, колдовство,
В мороз по коже, в естество
Начала самого.
Стою у краешка начал
И в новый день стучусь.
Там луч на грудь земную пал
Плашмя, почти без чувств.
Ушел на дно травы, как серп,
Чтоб в трех шагах от птиц
Верхами иван-чая степь
Касалась бы ресниц,
Конечно бы твоих, живых,
Из-под которых бьют
Ключи горячей синевы,
Переходящей в гуд.
Глаза гудят во глубине
Скуластого лица.
И я впрягаюсь в упряжь дней
До смертного конца,—
До духа зерен, грома рос,
До песни, до того,
Чтобы по коже шел мороз
Начала самого.
...Когда-то шмель сквозь зверобой
Вот здесь на промысла
Ходил цветочною рекой,
Раскинув два весла.

Как зримо в луговой исток
В один и тот же час
Он опускал свой хоботок,
За сонный луч держась.

Кто нюхал степь, вдыхал поля,
Подошвами пыли,
Тот без труда найдет шмеля
И даже след шмеля.

Какой ты к черту богатырь,
Ты скучный беллетрист,
Когда поднять не можешь ширь
Длиной в разбойный свист
И запрокинуть лемеха,
Чтобы наперекор
Всему — до плотности стиха
Сжимался бы простор.
Сжимался. Разжимался вновь,
Впадая в забвенье.
И вновь толкал по венам кровь —
Земное бытие.

Толкал на песню соловья,
Мешал с травой вздох.
Сроднилась кровушка твоя
С дыханием эпох.

Не оторвать и не разлить,
Не выкинуть из верст
Высоты дней, размах земли —
До самых крайних звезд.

Какие травы на меже!
Какие облака!
Но ключ к земле, к ее душе
Ты не нашел пока,

Хотя пошел шмелю вослед
И слышал как поэт,
О чем мечталось столько лет,
Чему названья нет.

Ты шел, как по полю трава,
Как дни за солнцем шли,
Чтобы услышать все слова
Из первых уст земли.

Ты с кровной близостью родни
За трудным словом шел
И чуял даль все эти дни,
Как под локтями стол.

Ты впереди ветров стоишь,
И плещутся ветра
В глаголы «быть», в лесную тишь
И в удаль топора.

Лебяжьей шеи топорниц
Красивы — хоть куда!
Душа звенит, рука горит
На острие труда.

И вот теперь ты — богатырь.
Теперь твой — поля,
Сквозная даль, земная ширь
И даже — след шмеля.

Как мед и хлеб, сильна земля
На родине труда.
Когда, подошвами пыля,
Идешь туда, туда!

Леонид Латынин

РУСТАМОВ ЛЕС

По сведениям местных жителей,
длина этого леса — восемь километров...

Прошлое покоится в тумане,
В памяти видны лишь маяки.
Рукотворный лес в Нахичевани
Смотрит на меня из-за реки.

Не забыть мне имени Рустама,
Это имя гению сродни.
Лес живет средь гомона и гама,
Среди птичьих свистов и возни.

Не герой Рустам и не предтеча,
Не добытчик слова и идей.
Жил старик, бранившим не переча,
Без особых мыслей и затей.

По ночам с ружьишком бедно-худо
Виноградник верно сторожил,
А потом и начиналось чудо,
А ему казалось — просто жил,

Просто брал железную лопату,
Ветку тополиную срезал,

Не по долгу, даже не за плату,
В грудь земли полуденной вонзал.

Где трава от зноя изнывала,
Где земля черства и тяжела,
Жил Рустам не много и не мало,
Прежде чем судьба изнемогла,

Он ушел из жизни незаметно,
Лет с десяток с небольшим назад,
Веривший в работу беззаветно,
Без отличий, званий и наград.

Но людская память справедлива,
Суд молвы не сух, не отвлечен,
Лес зеленый, выросший на диво,
Именем Рустама наречен.

Малый прутик за день — и не боле,
Жизнь спустя — бессмертия пора.
Лес Рустамов в яви и глаголе —
Имя безымянного добра.

Майя Луговская

ДОРОГА НА ОГАНЧУ

Строптивы повадки
Сопок Камчатки.
Тумана полотна
Сомкнулись плотно.

А в небе розовый просвет.
Пора вставать. Поблажек нет.

Рюкзак с вещами на плече,
Нас ждет работа.
На Оганчу на тягаче?
Какого черта!

Шофер, седеющий лихач,
Уже взобрался на тягач,—
Артиллерийский отставной,
Он забирает нас с собой
И повезет сейчас тайгой.

На Оганчу на тягаче
Мне неохота,
Но что поделать, раз ЧП—
Нет вертолета.

Как беспокойна здесь земля
И как упряма,
Виляет, крутит, как нельзя,
Не хочет прямо.

А шаламайник до небес —
Страна бурьяна.
И сверху лес и снизу лес
Смолятся пряно.

Глухарь срывается с вершины
На легкий выстрел из машины:
— Лови подранка! —

Кругом саранки
Пылают рьяно.
В цветах поляны.

Сломалась радуга в стекле
Потока
И расплескалась на скале,
Взлетев высоко.

И вдруг обрушилась на нас
Ледовым душем.
Как искры сыплются из глаз,
И стучит душу.

Тягач взбирается с трудом,
Все тише.
Шурфы взрывают,
Слышим гром.
И горы выше.

Луга азалий,
А рядом наледь.

Хребет Срединный, Оганча —
Наш медный рудник.

— А ну, вылазь из тягача! —
Начнутся будни.

Станислав Золотцев

ЗЕМЛЯ МОСКВА

А теперь я тебя
поведу по Москве заповедной,
даже тем незнакомой, кому этот город родной.
Ослепляя приезжих и высью и ширью победной,
он велик словно айсберг —
потайной своей глубиной.

Зазвенела в ночи золоченая упряжь столицы.
Вулканической лавой пульсируют вены ее.
Но квартал обогни — и такая земля отворится,
что угар толкотни опадет как сухое корье.

Красно-белым узорочьем русское вспыхнет барокко.
Обомшелые гривы встряхнут под колоннами львы.
Мы идем по извилам, по узким зеленым протокам,
по живым капиллярам гигантского тела Москвы.
Так тепло и свежо в переулках полуночной Пресни!
Так лютует полынь, зацветая в седом кирпиче...
И поверится впрямь, что заросшему храму ровесник
дворник в парке с крестьянской косой на плече.

...Эти своды вчера лишь пожег, уходя,
корсиканец.
И не пепел табачный, а Гришки Отрепьева прах
на асфальте сыром.
И, на сотни ладов рассекаясь,
стон пришедших с Непрядвы восходит
в колодцах-дворах.

И когда соизмеришь судьбы своей возраст и бремя
с темным слоем веков, сотворенным в крови и в
золе,

сам не зная того, заединщиком станешь со всеми,
кто московское время
заставил признать на земле.

Ведь не зря россиянина
Запад нарек московитом!
И когда в этот город судьбу свою прочно вожмешь
и неспешно сживешься с его естеством мозговитым —
сам не зная того, с ним натурой становишься схож.

...А проснувшийся лебедь
на глади прудов Патриарших
и шуршание метел и меркнувший свет фонарей
уверяют, что мы на короткую ночь стали старше.
А вода отражает, что попросту стали старей.

Но возможно ль поверить,
что мы растворимся бесследно
в этой толще бессмертной — во времени
словно впотьмах,
если в городе стольном, звеня чистотой
заповедной,
и века и сердца на семи совпадают холмах,

и в горящих соцветиях рядом с высотной башней
возникает бесстрашный натруженный голос шмеля,
и в посольские окна косью, росой и пашней
веет почва столетий — московская дышит земля.

Светлана Кузнецова

* * *

Дикие, пустынные холмы
Серебром полынным просияли.
Отвечай мне, мы или не мы
Под звездой роковой встали?

Хоть в преддверье будущей зимы,
Что навек застынет в наших взорах,
Отвечай мне, мы или не мы
Отразились в сумрачных озерах?

Нам метель споет свои псалмы,
О долгах напомнит и о сроках.
Отвечай мне, мы или не мы
Отразились в наших бедных строках?

* * *

Никнет над черной землей огорода
Птичья печальная трель...
Месяц рожденья и месяц ухода,
Мой среброглазый апрель!

Мой среброглазый! Певучие струны
Тянут сквозь годы утрат
Снова туда, где мучительно юны
Мы, то есть я и мой брат.

Мой среброглазый! Мы снова пригубим
Зрелости ранней вино.

Мой среброглазый! Мы снова погубим
То, чему жить не дано.

Мой среброглазый! Златой середины
Рок нам с тобой не судил.
...Сплыли рекою холодные льдины,
Ветер мой лоб остудил.

Недолговечная наша порода,
Птичья короткая трель...
Месяц рожденья и месяц ухода,
Мой среброглазый апрель!

* * *

Опять посреди непогоды
Тревожу вопросами рань:
— Зачем в лихоманные годы
Меня родила глухомань?

Зачем снеговая завеса
Не скрыла от всех навсегда
Меня, порождение леса,
Меня, порождение льда?

Зачем меня так оболщало,
Томило тоской бытие,
Веселую жизнь обещало,
А вышло почти «житие»?

Зачем, постигая безвестность,
С напрасной мечтой о тепле,
Несу я свою неуместность
По этой холодной земле?

...И слышу: — Не будет ответа.
Напрасно себя не трави.
Наложено вечное вето
На эти попытки твои.

В надежную сеть мирозданье
Сплело среди звездных систем
Бессильное взрослое знание
И детскую муку — «зачем?».

Дмитрий Ушаков

ЦЕЛИННЫЙ КРАЙ

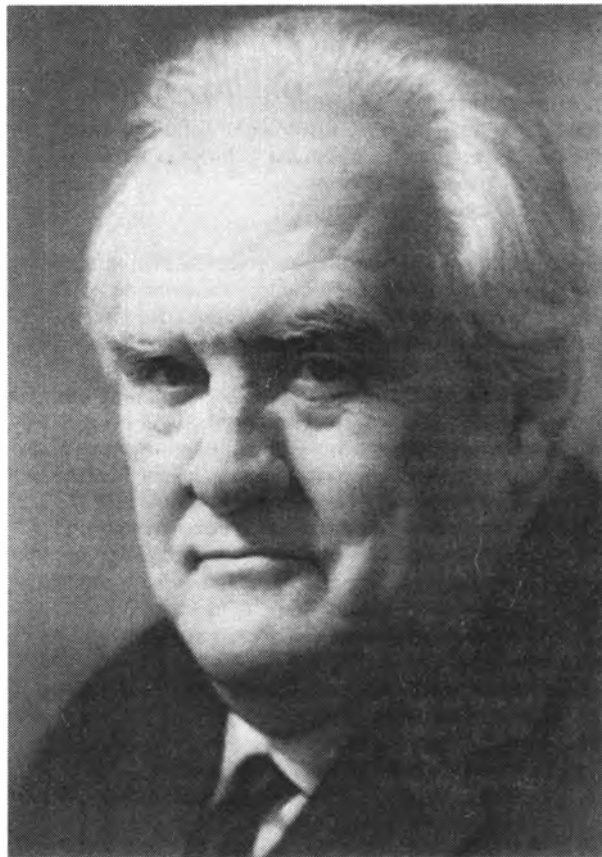
Край степной, где травы не примяты,
И гнездовья птиц не сочтены,
Где текут багряные закаты,
А рассветы яростно-красны!
Ты меня и пестовал и нежил,
И горячим солнцем напоил.
Потому-то дорог мне, как прежде,
Потому-то мне, как прежде, мил.
Помню я:
Над вздыбленным курганом
В синем небе тают облака.
Коршуны ленивыми кругами
Ходят над кустами ивняка.

Все знакомо, буднично, привычно,
Степь как степь...
Но близкою страдой
Подкатился спелый вал пшеничный
К домикам бригады полевой.

Лев Озеров

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ТИХОНОВА

Он другом был шоферу, хлеборобу,
Художнику, башмачнику, тому,
Кто к делу прикипал... В леса, в чащобу,
В ущелье, в море, в облака, во тьму,
В пустыню! — всюду побывать и слышать,
И видеть, и немедля записать
Под звездами, под листьями, под крышей
На коробке, на поясе, в тетрадь —
Все, что потом не вспомнить, так как хлынут
Другие впечатленья бытия.
Он время понимал, события, климат,
Под ним была дорога, колея,
И конский след, и горные обвалы,
И сизая небесная стезя.



Николай Тихонов

С ним подружились соловьи, маралы,
Бобры, и змеи, по песку скользя,
К нему ползли, не выпуская жала,
А он шагал, дивясь красе земли,
И вместе с ним поэзия шагала
За дымкой, исчезающей вдали.
Клухорский перевал, Хива, Гомборы,
Паланга, Алазань, Кура, Хорог...
Он врезывался в горные просторы,
Разматывал катушки всех дорог.
Бродяга, спорщик, хлопотун, оратор,
Он во главе накрытого стола
Сидел и от соседей глаз не прятал,
И вдруг он встал — дорога позвала.
Он шел и шел тяжелыми шагами,
Желая человечеству помочь,
И он ушел, наполненный годами,
В железную, как сам сказал он, ночь.

Андрей Вознесенский

АГРОГОРОД

Город кормит деревню
молоком и белком.
Мчит автобус вечерний,
как авоська, битком.

А деревня столицу
кормит пищей умов.
Интеллектуалистов
просвещает Белов.

Исчезает деленье —
кто писал, кто косил.
Город кормит деревню,
как родителей сын.

С трактористом с Арбата
я сажу у костра.
Инженеры обратно
пополняют крестьян.

Говорю неуверенно:
«Как, земляк?»
«Город — кормит деревню,—
отвечает.— Верняк!»

Как тоскуют другие
по полям и лесам,
у него ностальгия
по арбатским дворам.

Как тоскует колхозник
по березам в Москве,
две амбирных колонны
ему снятся во сне.

Чую переселенье
человечьих широт.
Может, новый Есенин
в этом слове взойдет?..

Прощай, города детство!
Мы уходим под сень
городов деревенских,
городских деревень.

* * *

Где они полюбили,
не береза бела —
скорлупой облупились
два амбирных ствола.

Той колонны известка,
чувство первое то
белоснежной березки
забелило пальто.

Ты спиной прислонялась.
В черном драпе была.
На лопатках остались —
как два белых крыла.

Где-то бродишь по свету?
Путь твой плох и хорош.
Только крылышки эти
все с себя не сотрешь.

ЩЕНОК ПО ИМЕНИ АВОСЬ

После показа оперы «Юнона
и Авось» в театре Эспас-Карден
парижане подарили нашим акте-
рам щенка и дали ему кличку
Авось.

Как ты живешь, Авоська,
без сосен без савойских?
Московская француженка,
мадмуазель Авось.
Потешно вдоль Манежа
бежит щенок надежды.
Как кожаная кнопка,
блестит потертый нос.

Нажмете вы на кнопку —
и вы у Сены знобкой,
а может, дальше — в небе,
где Гончий Пес?..
Когда ж вы не без фальши —
останетесь без пальца.
Авось, не потеряйся!
«Авось,— зову,— Авось!»

Авось, тебя лечили
от злостной пневмонии.
Горел в снегах простуженный
сухой горячий нос.

«Авось!» — зовут актеры,
«Авось!» — визжат вахтеры,
и тормозят шоферы
махинами колес.

В собачьих магазинах
есть вкусные резины —
пропитанная мясом
искусственная кость.

И всюду гумбы те же —
у Лувра и Манежа —
хоть ставь автограф вкось...

Люблю пожар Парижа
и в зелени, как рыжики,
ампиры обрусевшие
особняков в Москве!

И модница Парижа
мигнет, примерив пыжик,
Авось не зря построил
Манеж Бове.

Авось все образуется.
Исчезнут все абсурдности.
Хоть палец Апокалипсис
над кнопку занес...

Но все небезутешно,
покуда вдоль Манежа,
как кнопочка надежды,
бежит потертый нос.

СТАРЫЙ ОСОБНЯК № 10¹

Душа стремится к консерватизму —
вернемся к Мельникову Константину,
где два любовника Кривоарбатских
двойною башенкой слились в объятьях.

Плащом покрытые ромбовидным,
не реагируя на брань обидную,
застыньте, лунные, останьтесь, двое,
особняком от людского воя.

Как он любил вас, Анна Гавриловна!
И только летчики замечали,
что стены круглые говорили,
сливаясь кольцами обручальными.

Не архитекторы прием копируют,
а эта парочка современников —
пришли по Пушкинской тропе ампирной
и обнимаются а la Мельников.

РЕЗИНОВЫЕ

Я ненавижу вас, люди-резины,
вы растяжимы на все режимы.
Улыбкой растягивающейся зевнут,
тебя затягивают, как спрут.

Неуязвим человек-резина,
кулек засасывает трясина.

Редактор резиновый трусит текста,
в нем вязнет автор, как в толще теста.

Я знаю резиновый кабинет,
где «да» растягивается в «да не-ет...».

¹ Речь идет о доме, построенном в Москве Константином Мельниковым, одним из основоположников советской архитектуры.

Мне жаль тебя, человек-эластик.
Прожил — и пусто, как после ластика.
Ты столько вытер идей и страсти,
а был ведь живой, был азартом счастлив...

Взгляни, как рядом жмут желваки
инициативные мужики!

Ты ж трусишь, раздувшись поверх рейтуз —
пиковый, для всех несчастливый рай-туз.

Резинки бы делать из этих «тузов».
Крепче бы не было в мире трусов.

СТОЛЕТИЕ ХЛЕБНИКОВА

Лунатик цифири,
одетый в белье.
Бельмо Велемира —
всевидающее бельмо.

ТРИ СИНИХ

(Послесловие к трехтомнику)

Прощайте, три тома,
Вы синими родились.
Прощайте, три дома —
Жизнь — Смерть — Высь.

Бог, видно, прошляпил,
на вас ледерин не учел —
одел вас в оставшийся штапель,
ошибочной сини клочок!

Прощайте, три синих!
Кого я на вас подпишу?
Непереносимо,
что кто-то идет к стеллажу.

Спустя сто лет точно
возьмет гениальный сопляк,
сверкнув голубою пощечиной,
надписанный мной экземпляр...

Ты знаешь лишь черное небо,
космические корабли.
Возьми его в синих брикетах,
как я его видел с Земли.

Потомок, возьми три тома
земных надежд и потерь,
осьпавшемуся золотому
не верь. Только синему верь.

За это небо невнятное,
за высь
кормящиеся мной стервятники
за подписку дрались.

Пацан, в наших днях открытых
найди свою мерку крыл,
как в лермонтовских палитрах
Врубель себя открыл.

Я прожил в земных трясиных,
но небо я синим знал.
Прощайте, три синих!
Кто тройкой Россию назвал?

Зачем-то ведь бог прошляпил,
одну звезду не учел—
одел ее в зрячий штапель,
такой одинокий зрачок.

Вы нас обогнали, сирых.
На телеэлементах гальюн.
А что поют вам Сирин,
Алконост, Гамаюн?

Когда ты их вынешь с полки,
то щелка небытия
откроется ровно настолько,
сколько жизнь занимала моя.

Куда вы, томы, девались?
Не дрейфь. Ты ищешь не тут.
Три синие— в «адидасах»
Москвой-рекою бегут.

Мужик, пробежимся с ними?
И что означает синь?
Я думаю— это Жизнь.
Прощайте, три синих!

Николай Глазков
1919—1978

1

Зал рукоплескал
И схватывал стиха слова.
Владимир Яхонтов читал
Владимира Маяковского.

Никто не ждал победы бреда.
Нелепо радовать толпу
Стихами лучшего поэта
И разделить его судьбу.

Неумолимо и нелепо
Шагает смерть, одна и та ж.
Нет! Не хочу бросаться в небо,
Взобравшись на шестой этаж!

Хочу, чтоб людям повезло,
Чтоб гиря горя мало весила,
Чтоб стукнуть лодкой о весло—
И людям сразу стало б весело.

Когда мечта-пророчица
Исполнится на треть,
Мне, так сказать, захочется
Ее пересмотреть.

Тогда с мечтой хорошою
Навеки я порву,
Уйдет далеко в прошлое
Все то, чем я живу!

2

Живу стихов не издавая,
Зато поэзию творю.
Не важно, как я поступаю,
А важно, что я говорю.

Что говорю, тем обладаю,
А издаваться не спешу.
Не важно, что я там болтаю,
А важно то, что я пишу.

Пишу, что станет жизнь иная,
Поэтоградской наяву.
Не важно, что я сочиняю,
А важно то, как я живу.

Не важно, что поэт обманут
Несогласившимися с новым,
А важно, что его помянут
Великолепным добрым словом.

3

Глупцы вели со мной беседы,
Совсем не то вообразя...
Должны существовать все беды,
Чтоб познавались все друзья.

В искусстве ценят древность либо
Безоговорочное новое.
Все, что друзья сказать могли бы,
Я беспощадно зарифмовываю.



Николай Глазков. Фото Н. Лаврентьева

Друзья со мной проводят время,
Как будто им и делать нечего.
Для них слагаю я поэмы
Так гениально и доверчиво.

Но и мои друзья не верят,
Что я великий гуманист...
А хорошо, что ветер веет,
И хорошо, что зелен лист...

Что солнцем, а не только печкой,
Бывает человек согрет,
Что иногда поэт беспечный
Встречает радостный рассвет.

Настанет день, не станет ночи,
Настанет ночь, не станет дня.
Так жизнь становится короче
Для всех людей и для меня.

Но проживу чем больше дней я,
Тем лучше зазвонит строка.
Так жизнь становится длиннее
И глубже, так же, как река!

Пусть и поэтам будет весело
В дни испытаний и побед.
Поэты — это не профессия,
А нация грядущих лет!

Игорь Кобзев

ДЕТАЛИ

Меня пытаются учить:
«Оставь деталей мельтешенье.
Не надо живопись мельчить.
Бери большие обобщенья!»

А я смотрю, как сыплет снег,
Как, не страшась себя растратить,
Стремится он свой светлый след
На каждой веточке оставить...

ЗАВЕТ

Завет философа-скитальца
Григория Сковороды
Таков: не следует стараться
Искать награды за труды!

Любому человеку надо
Иметь любимый, «сродный», труд,
Который — сам себе награда,
Которого как счастья ждут.

И ТРАВЫ, И ВЕТВИ

И травы, и ветви
Подобны поэтам,
Да жаль: их напевный
Язык нам не ведом.

Как гости из дальней,
Из тайной державы,
Не поняты нами
Ни ветви, ни травы.

«СКАЗКА О МЕДВЕДИХЕ»

Как Пушкин точно подобрал
Для «Сказки о медведихе»
Язык разлужий и дубрав
В его лесной поэтике.

Ах, как там целовальник-еж
Все «ежится, щетинится»!
Как лад певуч! Как слог хорош!
Как Русь родная видится!..

Михаил Шлаин

* * *

Человек — не иголка, человек — не иголка! —
Вроде песни-считалки, что была — да умолкла,
Что была — да умолкла... а в память запало,
Сколько раз моя мама иголку теряла.
Потеряет, спохватится, в страхе жестоком,
Что пропажа к беде, что теперь ненароком
Из детей кто уколется — плохи дела!
Да всегда находилась у мамы игла.
И на прежнее место, в шкатулку на полку,
Возвращали ослушницу и взаперти
Оставляли ее. Человек — не иголка.
Потерял, спохватился — попробуй найди.

* * *

Здесь, на холодной земле,
дороже которой нет,
Жить надо, друже, поверь, —
до девяноста лет,
До девяноста лет! —
слышишь, что говорю? —
Как монах, положивший тут
начало монастырю.

Любо, что, чудом храним,
Дошел он до края земли,
Любо еще, что за ним
Люди сюда пришли,
Что их распалила огнем
Его заветная мысль,
Но втрое важней, что при нем
Стены здесь поднялись!
И купола... и потом —
Это важней всего! —
Начали люди при нем
Жить по вере его.
Здесь, на холодной земле,

ближе которой нет,
Жить я, друже, хочу —
до девяноста лет.
Думаешь, смерти боюсь? нетушки... речь не о том,
Долго строится храм. Медленно ставится дом.

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ

Хотела небо я перевернуть,
как маленький ковер ручной работы,
на лицевую сторону — где звезды,
чтобы густые тундровые травы
в созвездиях небесных незабудок
легли на небосвод, —
а было мне лет пять.
Я, как котенок крошечный, прозрела,
на жизнь окрестную
во все глаза глядела, —
вольно же невозможного желать.
На звездных пальцах вышивала Дева.
Моя прекрасная и молодая мать
отца ждала,
смеялась,
песни пела,
ходила в тундру
звезды собирать,
и были у нее еще заботы:
меня любить,
ковер ручной работы
вытряхивать,
но звезд не отряхать, —
и небо звездное лежало в нашем доме,
и было до него рукой подать...
Пока отец летел над океаном
в нетающих лазурно-черных льдах,
созвездия небесных незабудок
в полярный день
на небосвод всходили,
чтоб в пустоте зияющей сиять.
По звездам путь домой определять
отец умел.
А мать умела ждать.

Андрей Чернов

* * *

Отрясень в июле — с листвы,
а сентябрьский — вместе с листвою
так вот и обдаст с головы
припасенной влагой лесною.
А в лугах и то — благодать!
И, бредя по травам медовым,
весело себя представлять
хмурым адмиралом Шишковым.
Не стишки — слова сочинять,
сень и синь в реторте мешая,
тростью зелена сокрушать,
словно вражий флот сокрушая!
Право, что-то было и в них,
в сих старообрядцах бедовых.
Странный велемировский стих
не на тех ли вскормлен половах?
«Бортовые, пли!» И стучит
по стволам. Промок? Ну так что же.
Отрясень? Ого, как звучит.
На орясень даже похоже.

ИСКУШЕНИЕ

— Ты где пропадала?
— За речкой гуляла.
Я зелье хмельное
В логу собирала.
Точеные чаши
Цветов наклоняла,
Пыльцою толченой
Ладонь наполняла.
Потом на поляне
Огонь развела
И камень речной
Обожгла добела.
Над именем тайным
Всю ночь колдовала —
Трава молодая
Вокруг танцевала,
Любовным отваром
Кипела река...
Вращаясь, летели
Над ней облака.
Я числа чертила
И странные знаки —
В них сонная сила
И красные маки
Сливались как звезды
В ночном Зодиаке.
Я имя хотела
Твое приручить,
Чтоб утром и вечером,
Днем и в ночи
Любовной отравой
Ты был уязвлен,
Ревнивым уколом
Ко мне пригвожден.
Я в омут глубокий
Забросила камень
И так наказала
Ему на прощанье:
Зеленою ночью,
Студеною ранью
Ты вороном станешь,
Каленый мой камень,
Увидев, что души
Пусты и черны,
И тени измены
Стоят у стены!

РАННЕЙ ВЕСНОЙ

Как прижать мне к себе
Эту мокрую, черную землю?..
Это серое утро,
Сугробы, канавы и рвы?
Скоро будет апрель
Целовать лихорадкой в губы,
Скоро скроются
Раны земные
В объятиях вещей травы.

Нитью к сердцу привязаны
Каждая птица и камень —

Их движения, песни
Звучат, отзываются в нем...
Потому и не знаю,
Зачем этим утром туманным
Столько терпкости, столько тревоги
Влетает в оконный проем.

ВЕНЕРА

Венера
Просит
Воздуха и плоти,
Вскрывает небо
Свежей белизной,
Разглядывает рану мира,
Гладит
Руками воздух —
Текущий между рельсами озон.

Так марево под поездом июля
Кольшется, неся лучи к земле.
Привязанные к шпалам,
Дуновенья
Приливом насыпь окатить готовы,
За каждый камешек хватаются руками
И обрывают лепестки цветов.

Вот почему обнажены луга
При железнодорожном полотне.
Зато трава надежней и плотней
Вздывает острия к лицу Венеры,
Когда она — на выходе к весне.

И мне
Прикосновением ладони
Блистательно потерянной руки
Венера
Открывает пробку
В звоне
Вдоль времени
Стремящейся реки.

ЧЕРЕЗ ГОБИ

Кони! Мчатся через полдень кони!
Под копыта им упали степи!
Эхом стонут в знойном перезвоне
Голубые, огненные цепи —
Горы. Гоби. Жаркие ладони
Нам к лицу протягивает ветер.
Время колесо бессмертья гонит
Через Гоби, горы, годы, степи...

ЖИЗНЬ ЦВЕТОВ

Георгины из жести...
Холодных тюльпанов стена...
Роз холеных и ярких
Прекрасные имена...
Полный неги упругой,
Склоняется стебель к земле,
И колчан золотых лепестков
Рассыпается в солнечной мгле.
Над цветной и пылающей жизнью
Пчела восседает, как дож.

Полосатого воздуха дрожь.
Умножение трав...
Это мир, где соцветья
Венчаются ветром,
Горячую землю обняв.
Где в любовном жару
Вызревает густая пыльца,
И вонзается пестик
В цветную окружность лица...
Всё слилось в этом мире цветов
И сиянии трав!
Всё сплелось в этой жизни,
Где каждый прекрасен и прав!

ТЕЛЕГРАММА

Распадается время на тусклые плоские части,
дни любви косяком заплывают в дырявые снасти,
и уходят на волю на горькие эти просторы,
где спокойные люди простые ведут разговоры.

Николай Панченко

* * *

Мне надобно верить, и верю,
Пока не изверился весь.
Не хочешь быть скормлена зверю —
В мужицкую душу залезь,
Сокройся там

духом и речью,
Умом выпирать не спеши.
Нет в мире убежища крепче
Бессмертной мужицкой души.

* * *

Работаю теслом —
Суки витые рушу.
Выходит с потом соль,
Что разъедала душу,
Что западала меж
Губительных отметин.
И легок я, и свеж,
И ветренен, как ветер.
Младенчески чиста
Душа —
на грани боли.
И только грудь пуста
И речь пресна без соли.

* * *

Шопен непрерывно
играет свой марш на трубе.
Мы в странном порядке
Проходим свой путь по тебе,
Считаем победы —
покуда нестары,
А стары —
Шаги и ступеньки,

И годы,
И сердца удары.
А надо считать бесконечные раны твои,
Над каждой шептать, как великие бабки умели,
Чтоб дети твои
Не быстрее росли — чем умнели —
С твоей тишиной
И с твоей широтою в крови.
Тогда — ничего! —
Пусть играет товарищ Шопен,
И сколько бы палуба — эта земля — ни качалась
От топота времени,
Только бы ты не кончалась
И был бы полет твой
в грядущее

Благословен.

Дмитрий Цесельчук

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ЕСЕНИНА

Что поразило? — Весь без запятых
записан стих — ни запятых, ни точек,
как будто он совсем забыл о них,
не смог остановить ничем свой почерк,

возможно, понимая, что от них —
одна морока — да куда их ставить?
Что поразило? — Кто поправил стих,
смог знаки препинания расставить?

Владимир Семенов

ПОЧТОВОЕ ПОЛЕ

Тут, на поле Почтовом,
Признал мою маму
Наш почтарь, —
Придержал он свой велосипед.
— Вам письмо, Николавна!
Пляшите!

— Не стану! —
Не скрывая тревоги,
Сказала в ответ.

Обессиленно мама
Присела на кочке:
Сердце — ох, не к добру! —
Так и екнуло вдруг.

...Похоронную —
Черную весть о сыночке! —
Видно, сжалившись,
Вытянул ветер из рук.

Рано утром она
Протопила голландку
И — с корзиной —
Отправилась в лес по грибы.

Надо ж было! —
Узрел он ее спозаранку,
Наш почтарь...
Видно, в лес
Не уйдешь от судьбы!

Не заметила даже,
Где ветер посеял
Треугольник письма:
Крестных мук забыть.
По всему-то по полюшку
Ветер развеял
Материнские
Жаркие слезы ее.

...Годы тягостно шли.
Зарастали окопы.
Отыскалась
Сыновья могила
Вдали.
И однажды в июле
Знакомые тропы
На Почтовое поле
Ее привели.

Поглядела —
И ахнула!
Брызнули слезы:
Весь усыпан
Ромашками белыми
Дол.
Столь крупны их лучистые
Жаркие звезды,
Словно дождь животворный
Над полем
Прошел.

В пояском наклонилась
Над ними поклоне, —
Сквозь бегущие слезы
Причудилось вдруг:
Не цветок,
А письмо
У нее на ладони —
Треугольничек белый,
А вовсе не круг.

Словно все похоронки
Великой России
На Почтовое поле
Просыпались враз, —
Словно
Все материнские слезы
Взрастили
Тот ромашковый дол —
Неохватный для глаз.

...А потом — самолет.
Тропка к братской могиле —
К той плите,
Где имен перечисленных свет
Там, —
Как видно сквозь слезы! —
Уже возложили
Звездноликих ромашек
Такой же букет.

ВИДЕТЬ СОЛНЦЕ

Если угодно, я думаю, что современной поэзии не хватает риторики. Сейчас объяснюсь.

Возбужденная бурями 50-х годов, поэзия долго не могла успокоиться. Последовали десятки маленьких евтушенок и вознесенских. Все неистовствовали, все на что-то намекали, о чем-то негодовали, стояли в позе пророков. Естественно, что вызревала реакция на все это. Те, кого потом назвали тихими лириками, не были молодым, следующим поколением. Наоборот, некоторые из них (В. Соколов) были даже и старше Евтушенко и др. Но время их, как говорится, пришло потом. Как известно, заговорили о том, что пророки, разоблачители и «намекальщики» в ситуации, когда и так всем все ясно, надоели, что пора о душе подумать, пора вообще задуматься, вспомнить о природе, о фольклоре, о напеве и свете.

Тихая моя родина.
Ива, река, соловьи...

Сам Евтушенко, с его неизменным чутьем к ситуации, к тому, что носится в воздухе, понял, что следует провозгласить:

Под ропот листьев обветшалых,
Под паровозный хриплый крик,
Пойми: забегавшийся — жалок,
Остановившийся — велик.

Итак, раздумье. Итак, «глубина». Итак, тихая лирика.

Сначала громкая, потом тихая.

Тезис, антитезис... синтез?

Но каков же синтез-то?

Юрий Кузнецов?

Инфернальный, безнравственный и пр.—пошли в мозгу привычные слова.

Не такой уж он безнравственный, а просто немного тоже позирует, хотя и талантлив,—хочется сказать спокойную фразу.

Но Кузнецов уж тоже немолод,—а далее?

Вот и начинается разговор о молодых поэтах,—которые, впрочем, не так уж молоды.

Разговор этот в самое последнее время напоминает те, которые шли о прозе «сорокалетних» 5—6 лет назад. Нет чего-то общезначимого, того, на чем сошлись бы все.

Но прозу обвиняли, кроме всего, в негражданственности, тогда как она была по сути гражданской, но не так, как привыкли; молодая же поэзия...

Но по порядку.

Разговор о поэзии обострился недавно. Поводом был, пожалуй, юбилей Маяковского.

Не раз уж тень Маяковского возбуждала «разговор о поэзии» (название одной из книг на основе споров) в послевоенные годы. Причины ясны: гражданственность, темперамент, напор, стилистические заветы—как с этим обстоят дела?

Но никогда еще разговор о поэзии в связи с традицией Маяковского не был столь явственно отвлечен от чисто стилистических вопросов и связан с духовным состоянием, как сегодня.

Простор, масштаб, напор, резкость. Дума о мире. Вот о чем напомнило имя Маяковского. А «молодая поэзия»?

Одним словом говоря, она несколько вялая. Ей не хватает темперамента и напора. Ей не хватает глупости в хорошем смысле этого слова. Ей не хватает риторики.

Ведь что есть риторика?

Риторика есть разговор о главном, но разговор прямолинейный.

Однако же если у поэта есть заветная мысль и есть исходное, внутреннее чувство формы, то силой своей творческой воли, своего творческого порыва, он преодолевает «фактор прямолинейности»—а «главное»—оно остается.

Да, прямолинейность преодолена, а главное остается:

Встань, пророк! и виждь и внеми...

Поэты же умные—и не идут в гору, а обходят ее. Не рискуют. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.

— Как нет темперамента?—спросите вы.—А Реброва, Чернов, Ермолаева и иные? Оно ли не темперамент?

Во-первых, есть темперамент и темперамент...

Во-вторых, о конкретных именах можно спорить бесконечно, а я говорю о тенденции.

— Мы идем не от социологии, «духовности» и иного, а от культуры,—объясняют некоторые молодые поэты и их критики.— Культура—наше ключевое слово.

Что ж, можно и так. Сейчас же пойдут толки о том, в чем разница между понятиями традиции, вторичности и подражательности? Да нет. Спорить тут и верно можно без конца. Разница эта теоретически неуловима. Большой поэт может позволить себе не только «подражание», но и прямые реминисценции. «Белеет парус одинокий»—строка не Лермонтова, а Бестужева-Марлинского. И все же, все же...

Все прочли Цветаеву, Пастернака и Мандельштама, а теперь вот бросились снова перечитывать Хлебникова. Кажется, нам в ближайшее время грозит вторжение новой когорты «велемиров». Прошу не понимать это как каламбуры против сегодняшнего талантливого поэта по фамилии Хлебников.

Все прочли...

Да всё прочли.

Всё прочли—и боятся риторики.

Это то, что осталось от «тихой лирики»—это ее вклад в копилку «синтеза». В. Еременко талантлив; но очень уж «снятый» в стиле. То есть стиль не сам по себе, а внутренне пародийный, ироничен, простота и повествовательность тут повышено условны и так далее; все это мы понимаем—не дураки,—но просто хотели бы от поэзии чего-то более детского, свежего, ясного, детски умного и одновременно громкого, мудрого...

Ведь мудрость—это и есть—ум и чувство в одном порыве.

«Поэзия глуповата, прости господи»... Это не противоречит мудрости...

И того же автора:

Ты, солнце святое, гори.

Поэты, мне кажется, стали бояться глядеть на Солнце...

А должны бы уметь...

Яков Хелемский

* * *

Художнику в зрелой поре
Не надо ни шума, ни лести.
Осенний денек на дворе,
С пустыми делами не лезьте.

Уже голова в серебре,
Уже суетиться негоже.
Хороший денек на дворе,
Прозрачный, бодрящий, погожий.

Колюч холодок в октябре,
Зато не приходит усталость.
Рабочий денек на дворе.
А сколько их в жизни осталось?

* * *

Бликий круг мужчин и женщин
Сузился до единиц.
Лиц знакомых стало меньше,
Больше незнакомых лиц.

Стала тоньше и бесценней
Дней связующая нить.

Меньше новых увлечений,
Старые бы сохранить.

Время бытия седого,
Блекнет смоляная прядь.
И друзей все меньше новых,
Прежних бы не потерять.

* * *

Сиротливо молчащая дача,
Перед ней переделкинский луг,
Стекла окон мерцают незряче,
Только палые листья вокруг.

Но на полупустынном участке
Нашей памятью дом заселен.
И прохожие в двери стучатся,
Как ведется с далеких времен.

В обжитых и в посмертных изданиях
Мы опять у поэта в гостях.
Мы к нему приезжаем на ранних,
Облюбанных им поездах.

А за лугом на взгорке, где сосны,
Где над склоном парит барельеф,
Сочетания строк светоносны
И знакомо звучат нараспев.



Николай Асеев, Борис Пастернак и Илья Сельвинский.
1942 год



Дорогой Николай Константинович!

Вашим первым жизненным опытом стала война. Этот опыт и задал тот высокий и чистый тон, который постоянно звучит в Ваших стихотворениях и определяет параметры как поэтического, так и человеческого поведения. Активная гражданская позиция, принципиальность, глубокое беспокойство о завтрашнем дне нашей поэзии, — все это создало Вам авторитет мастера, объединяющего и воспитывающего молодые таланты.

Поздравляя Вас с шестидесятилетием, мы желаем Вам здоровья, вдохновенного творчества, неустанных хлопот на благо нашей поэзии.

Р е д к о л л е г и я

* * *

Я знаю, оно все годы
Работало на износ.
Ведь я сквозь огни и воды,
Сквозь грохот его пронес.

Мы вместе в болотах вязли,
И снайперы били в нас,
И мины рвались... Но разве
Оно подвело хоть раз?

И мерзли, и голодали,
Да нас не смогли сломать...
За сердце, что вы мне дали,
Спасибо, отец и мать!

В работе своей бесценной
Другой его жгло бедой:
Пытали его изменой,
И подлостью, и враждой.

Оно не черствело в злобе,
Не сбила его вражда,
И, кто бы его ни гробил,
Работало хоть куда.

И вместе мы побеждали,
А нас не смогли сломать...
За сердце, что вы мне дали,
Спасибо, отец и мать!

Казалось, все беды — мимо,
Живи себе да живи...
И все же оно ранимо,
А больше всего — в любви.

Но, как друзья по несчастью,
Держались мы заодно.
И все же в ту пору часто
Пошаливало оно.

Мы всякое повидали —
Терпенья не занимать...
За сердце, что вы мне дали,
Спасибо, отец и мать!..

МОЙ ОКОП

С той немислимой поры
Годы рысью пробежали...
Отпылала те костры,
У которых мы лежали.

И окоп, спасавший нас,
Но израненный врагами,
Засыпало сорок раз
То листвою, то снегами.

От берез ему светло,
Благодарен он березам.
Ведь его и солнцем жгло
И тирило морозом.

Размывало силой вод,
Прорывавшихся с болотца...
Только он еще живет —
Не сдастся, не сдастся!

Он еще живет войной,
Той великой и проклятой,
Как на память, вырыт мной
Малой шанцевой лопатой.

* * *

Мир, подошедший к беде,
Полон слепого доверья.
Лебеди спят на воде,
Клювы запряганы в перья.

А лебедят на пруду!..
Вот они стайкой у края

Носятся—и на ходу
Щиплют друг друга, играя...

Мир накануне беды
Полон прекрасных идиллий.
Нежно глядят из воды
Звездные венчики лилий.

Мир, что пока еще цел,
Стал ненадежнее вдвое:
Взято уже на прицел
Все на планете живое...

Угомонив лебедят,
Лебеди рядышком дремлют...
Но ведь моря бороздят,
Но «Посейдоны» глядят
Через прицелы на землю.

Ну-ка, сорвутся с цепи,
Ну-ка, обрушатся разом...
О, заклинаю, не спи,
Всечеловеческий разум!

* * *

Дружбу не свяжешь клятвой—
Встречи сроднили нас...
Вновь я сегодня Латвию
Вижу в который раз.

Вновь над рассветной Ригею—
Сизый туман и мгла,
Словно я в бездну прыгаю,
Выйдя из-за угла.

Вновь из тумана вышагиваю,
Лишь каблук стучат...
Где-то над сонной Даугавою
Чайки кричат.

Словно опять предместьями,
Ночь не сомкнувши глаз,
Входим с тобою вместе мы
В этот рассветный час.

Если былое— по сердцу,
Память о нем жива...
Вот потому и просятся
Сами собой слова.

Вот и прошу я: кланяйся
Славным своим краям—
Родине Яна Райниса,
Милым моим друзьям...

* * *

В окна вагонные
Ветер врывается резкий,
Чайки над катером вьются,
Удачи желая в пути...
Жизнь меня в плаванья гонит,
В полеты, в поездки,
Время торопит—
Трясись на колесах, плыви и лети!

Только б от всех не отстать—
Я бросаюсь за всеми,
Только б не впасть в домоседство,
В его суету и тщету...
— Остановись!— я кричу.—
Дорогое и грозное время,
Остановись!
А не то я умру
На бегу, на плаву, на лету.

* * *

Иду под открытою синевой
Тропинкою полевой.
И жаворонок где-то над головой
Голос пробует свой.

Уже немало стукнуло мне.
И уверяю вас,
Что песни жаворонка по весне
Я слышал тысячи раз.

Но каждая так светла и чиста,
Но столько трепета в ней,
Что выше кажется высота,
А синева— синей.

Она разливается, как бубенцы,
Над полем и над селом...
О, бедные книжники-мудрецы,
Сидящие за столом!

Мы слову можем честно служить,
Над рукописями корпеть,
Но песню такую нам не сложить
И так ее не пропеть.

А этот поет, не щадя головы,
Трепещет все существо.
И рухнет на землю из синевы,
И трактор запашет его...

Нина Кошелева

МАТЕРИ

Ну в чем твоя тяжелая вина?
За что так жестко жизнь тебя карала?
Суровая, нещадная война
Украла твою молодость, украла!

А после— разве было до красот?
Стирай, вари и дом держи в порядке,
Дрова руби, выпалывай осот,
Окучивай картофельные грядки.

Молись, чтоб детям бог удачи дал,
Чтобы мечтали, радовались, пели.
А слезы... Их никто и не видал—
Они в твоих глазах перекипели.

Года бегут, как волны по реке,
А сердце как платок по ветру бьется.

Любой непосвященный по руке
Судьбу твою прочесть не ошибется.

Зима сожгла осенний цвет дотла,
Лишь в печке угли меркнущие тлеют.
Я знаю, как душа твоя светла.
Но волосы — зачем они светлеют?!

* * *

Нет, мы не пострадали от войны.
Мы родились спустя десятилетье.
И, без отцов воспитанные дети,
Не ищем в том родительской вины.

Но вот солдат, упавший вниз лицом,
Он бы в живых, наверное, остался,
И матери моей в мужья достался,
И был бы замечательным отцом.

Душевному ранам долго не зажить,
Болезнь неутихающею болью.
Неразделенной, горькою любовью
Вскормленные, мы долго будем жить.

Мы, может быть, и были рождены
Из ненависти к тем, кто убивает.
Война — такое зло, что не бывает
Совсем не пострадавших от войны.

Давид Самойлов

* * *

Когда-нибудь я к вам приеду,
Когда-нибудь, когда-нибудь,
Когда почувствую победу,
Когда открою новый путь.

Когда-нибудь я вас увижу,
Когда-нибудь, когда-нибудь,
И жизнь свою возненавижу,
И к вам в слезах паду на грудь.

Когда-нибудь я вас застану,
Растерянную, как всегда.
Когда-нибудь я с вами кану
В мои минувшие года.

* * *

Светлые печали,
Легкая тоска
По небу промчали,
Словно облака.

А под ним осталось
Все, что я сберег:
Легкость, свет и старость,
Море и песок.

* * *

Тогда я был наивен,
Не ведал, в чем есть толк.
Купите за пять гривен,
А если надо — в долг.

Тогда я был возвышен,
Как всадник на коне.
Не знал, что десять пишем
И держим два в уме.

Тогда я был не этим —
Я был совсем другим.
Не знал, зачем мы светим
И почему горим.

Тогда я был прекрасен,
Бездельник молодой.
Тогда не падал наземь
Перед любой бедой.

* * *

Жизнь сплетает свой сюжет.
Но, когда назад посмотришь,
Возникает свежий свет
Далеко — на десять поприщ.

По которым пятерых
Понесло июнем ранним.
И нетленный пятерик
Засветился их стараньем.

Сколько крови пролилось,
Сколько дел осуществилось,
Сколько выпало волос
И друзей пошло на вынос!

Но сияет вдалеке
Свежий свет того июня,
Как в предутренней реке
Острый отсвет новолунья.

* * *

Перед тобой стоит туман,
А позади — вода,
А под тобой сыра земля,
А над тобой звезда.

Но в мире ты не одинок,
Покуда чувствуешь ты
Движенье моря и земли,
Тумана и звезды;

Покуда знаешь о себе,
Что ты проводишь дни
Как неживое существо,
Такое, как они.

А большего не надо знать,
Ведь прочее — обман.
Поет звезда, летит прибор,
Земля ушла в туман.

* * *

И к чему ни прислушайся — все перепев...
Да, мой перепел, ты и себя перепел.
Но однажды, от радости оторопев,
Ты особую ноту поставил в пробел.

Ту, наверное, что остальным вопреки...
Но, мой перепел, я тебя не попрекну
Переломом мотива, крушеньем строки,
Несуразицу всю не поставлю в вину.

Пусть та нота — какая-то вовсе не та,
Да, мой перепел, дуй в нее, как стеклодув,
А когда не по горлу тебе высота,
Раздери клекотаньем разинутый клюв.

* * *

Всю ночь сегодня буря выла
И море зимнее бесилось.
И оттого так смутно было,
И думал я про нашу сирость.

Неужто есть конец, начало,
Но в мире — нам подобных нету?
И оттого так страшно стало
За одинокую планету.

А утром волны отрычали,
Снега от солнца заблестали.
И оттого так беспечальны
Мне дни грядущие предстали.

Леонид Мартынов

1905—1980

ПРИЗНАНИЕ

Эфиоп ему подал письмо.

Адрес был:

Эфиопия.

Ставка негуса.

Господину Артюру Рембо.

Разрывая конверт, он подумал:

— Давно уже не был в Европе я.

Это почерк Верлена.—

Прочел он:

— Все ждут твоего
возвращения назад. Жду и я
и надеюсь, что жду не напрасно я. Ты ушел как изгнанник, вернешься тропою побед. Твой сонет — ты, надеюсь, еще не забыл

его: «Гласные» — в символ веры
своей молодежь превратила.—

Он вспомнил сонет:

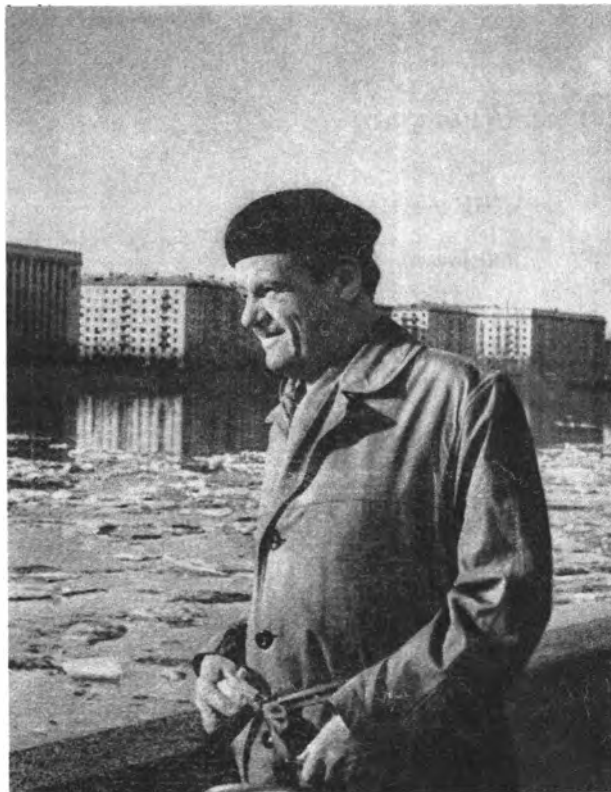
«А — черно, Е — бело. У — зеленое,

И — ярко-

красное,

О — небесного цвета. Вот, что ни день,
что ни час,
Ваши скрытые свойства беру я на
вкус и на глаз,
Вас на цвет и на запах я пробую,
гласные!»

А! Признание пришло наконец. Или,
может быть, просто я
Издевался над вами, парнасцы, нахальный
юнец,
Раздражая вас детским своим букварем, где
картинки бессмысленно пестрые,
Но, быть может, и верно я звуки ковал
как кузнец,
Раскаляя их добела, докрасна. Все может
быть, но давно притупилось перо мое острое.
Вы добились того, что теперь я купец и
скупец,
И нетрудно понять вам теперь, до чего
на душе у Рембо черно,
И чернилами черными четко теперь я строчу
озабоченно.
Все черно: а черно, е черно, у черно, и черно,
о черно.
Раскаленные добела, докрасна, чувства
остыли мои,
Будто нет мне и дела, что
в Вечность надежно вколочены
Эти белые е
И лазурные о
И зеленые у
И пронзительно красные и!



Леонид Мартынов

* * *

Скоро девушки
Снимут свои грандиозные шапочки
И сапожки на каучуковых каблучках.
И наденут на бледные ножки какие-то пляжные тапочки,
Эти девушки в солнечных темных очках.

Но не только лишь новые платица
шьются, утюжатся
В дни, когда вензеля конькобежные меркнут
на тающем льду,
Но и что-то и большее может найтись,
обнаружиться —
То, что было не найдено многими в
прошлом году.
И появятся юными будто бы те, прошло-
годние,
Но не те уже — за зиму каждый так
много познал,
Что покажется все прошлогоднее им
старомоднее,
Чем любой прошлогодний прославленный
модный журнал.

У одних стариков только, может
быть, все не изменится,
А быть может, изменится даже и у
стариков —
Дальнзоркие старцы глядят с берегов:
море пенится,
Нет, не так, как вчера, и не так, как
во веки веков!

Публикация Г. Суховой

Олег Дмитриев

ДВЕ АННЫ

(Маленькая поэма)

I

А в Измайлове пахло весенним дождем,
И листвой, и землей, и смолой...

«Ты не бойся, Анюта,
Все будет путем!» —
Убеждал человек пожилой.
Бросив тонкие руки вдоль тела, без сил,
Все качала она головой.
А всего у нее-то он рубль просил —
Трудовой, заработанный, свой.
Упирались в бездонное небо зрочки —
Сгустки гнева и тихой мольбы.
А поодаль,
Как сфинксы, сидели дружки
И своей ожидали судьбы.
«Ань, не бойсь, говорю...» —
Продолжалось нытье.
Встал вопрос — или рай, или ад.
Я бы дал ему трешку,

Когда б не ее
Иступленный, невидящий взгляд.

По орбите летела, вращаясь, Земля,
Не сбиваясь с пути своего.
Одному не хватает для счастья рубля...
Ну, а мне не хватает чего?
Мне не надобно денег просить у жены,
Из карманов выскребывать медь.
Мне не надо вина,
Мне хватает весны,
Чтоб, простите, слегка забалдеть.
Прут по стеблям и веточкам соки земли
Прямо к солнцу из серых корней!

Почему же у Анны глаза отцвели,
У ровесницы стройной моей?
Ей весна — не весна.
«Аня, может быть, дашь?
Мы пивка по одной, и капут!» —
Вдохновенно бубнит
Здоровенный алкаш,
Потому что друзья его ждут.
Потому что вчера угощали они,
И его наступает черед!
Вот и майся, из женщины жилы тяни,
Скоро вечер, а карта не прет...
Перешел на басовые, долю кляня:
«Анька, дура, из дому уйду!»

А ровесница выглядит старше меня,
Ниже время беду на беду.
Старость рядом —
Ступила уже за черту
Не осанка, не стать, а душа.
Я гляжу на чету.
Я гляжу на тщету
Предвечерних надежд алкаша.
Ну, а может быть, Анна возьмет кошелек,
Вынет рубль, а может быть, два,
И, ликуя, к дружкам побежит муженек
И вернет себе счастья права?!

II

А в Измайлове пахло весенним дождем,
И листвой, и землей, и смолой...
Шел навстречу —
Хотя и узнал я с трудом —
Мой дружок, донжуан удалой.
Десять лет мы не виделись.
Как ты, пострел?
Взгляд лукавый. Слегка во хмелю.
Потолстел? Потолстел.
Постарел? Постарел.
Все шалишь?
— Да не то чтоб шалю...
Я влюблен, понимаешь?
В девчонку почти.
Бред. Расслабился, как идиот.
Прелесть. Крошка. Малютка.
Ей нет двадцати...
Да мой сын ее старше на год!
Это, видно, за что-то в отместку судьба...
С огорода турнули козла!
Впрочем, вот она. Ждет у второго столба.
Чем не школьница, понял?
Дела...

Подошли мы к девчонке.
Светилась она,
Как вода,— наклонись и пригубь!—
То ли горный ручей, что прозрачен до дна,
То ль байкальская белая глубь...
Как стрела, устремленная в будущий век,
Тельце тонкое напряжено.
Ну, старик, удивил!
Ну, чудака-человек,
Я такого не видел давно!
Я на девочек этих глядел, как глядит
На дитя свое
Строгий отец.
Но ведь женщина здесь!
Независимый вид
И всезнающий взгляд, наконец...

— Аня.
— Здравствуйте, Аня!—
И я засиял
Отраженным огнем молодым.
Рядом с нею — над нею!—
Приятель стоял,
И седины клубились над ним.
Был несчастный счастливец
И горд и смешон,
Поправлял то и дело очки.
Подмигнуть ему тайно:
«Попался, пижон!» —
Было как-то сейчас не с руки.

Я завидовал? Нет.
Но тоска обожгла:
Донжуан, ты потерт и мордаст.
Их-то молодость — в силе,
А наша прошла.
Как палач, беспощаден контраст!
Наши годы не снять никакой ворожке,
Не сменить, как негодный наряд.
«Будь здоров, остальное мы купим тебе!» —
На Востоке шутя говорят...

«Ты бы девушку юную мог полюбить,—
У себя я безмолвно спросил,—
Вроде Анны вот этой его?»
Может быть...
Но казаться смешным — выше сил.

Не стеснялась, смеялась, куда-то звала
Анна-девочка, сгусток огней!

Но страдальца Анна сторонкой прошла,
Взглядом каменным встретила с ней.
Во мгновение ока
Схлестнулись в бою
Свет и мрак, глубина и костер,—
Так копьё вылетает навстречу копыю,
Но остался бесплодным их спор.
Тьма не стала светлее и свет не померк,
Ничего не прибавилось в них,—
Только я и заметил удар-пересверк
Двух сердец, двух юдолей земных!

Уходящим — прощай!
Приходящим — почета!
Этим — тление,
Этим — полет!

Если вправду безмерное время течет,
То течет оно вспять и вперед.
И летящую Анну уносит оно,
Поднимая на гребень волны.
А печальную Анну толкает на дно,
О тяжелые бьет валуны.
Этой Анне — вперед,
Этой Анне — назад,
Потому встреча их коротка.
Потому и в глазах у девчонки азарт,
А у женщины бедной — тоска.

Ах, весенний, московский, измайловский миг!
Я тебя заучу наизусть:
Муж печальницы Анны удачу настиг,
А дружок милой Аннушки — грусть.
Первый белую пену стирает с губы,
Стало проще друзей понимать.
А второй свой порыв усмиряет, дабы
Жизнь былую вконец не сломать.

У меня же сегодня
Ни минус, ни плюс,
Я еще погляжу в синеву,
Я еще по аллеям недолго пройду,
Выйду в город, такси подзову.
И потом,
Может быть, расскажу я потом,—
Это право оставьте за мной,—
Как в Измайлове пахло весенним дождем,
И листвою, и землей, и смолой...

Людмила Щипахина

* * *

Придай мне не больше значенья,
Чем сорной траве полевой.
Зачем тебе знать, что свеченье
Стоит над моей головой?

Зачем тебе знать, что за синью
Наивно распахнутых глаз —
Бездонная мудрость России,
И опыт ее, и наказ.

Пускай дымовые колечки.
Не бойся прибавить обид.
Смирней и покорней овечки
Кажусь я, быть может, на вид.

И, в ус заливчатский не дую,
Не думай о скорой беде.
Зачем тебе знать, что колдую
На хлебе твоём и воде?

Дари мимолетные вздохи.
Небрежность дари, наконец.
А я драгоценные крохи
Сложу в золоченый ларец.

Не чувствуй себя виновато,
Срывай голубые цветы.
Зачем тебе знать, что богато
За это расплатишься ты?

Пребуду я нищенской тенью,
Случайной приметой дня,
Ведь сущность моя — из терпенья,
А дух — из земли и огня.

Зачем тебе плакать заране,
Коль вместе однажды прольем
Из моря любви и страданий
Две капли — в один водоем.

Александр Бобров

ЗИМНИЙ ЦВЕТОК ТАТАРНИКА

Мой друг, с натурой странника,
Под снегом молодым
Принес цветок татарника,
Лохматого, как дым.

Лишившись цвета летнего,
Давно уж не лилов,
Он был тусклее лемеха,
Старинных куполов,

Серей гнезда осиною.
Не всякий мог понять,
Чего же друг красивого
Сумел в нем отыскать.

Но женщина влюбленная,
Печальная с утра,
Припомнила, что плел он ей
Про степи и ветра.

Нисколько не лукавила,
Застлала светлым стол,
Цветок в стакан поставила —
И снова он расцвел...

ЖИЗНЬ ОТЦА

Я подумал опять на седых берегах Селигера,
Где отец все зовет меня издалика:
Как же мало узнал я о жизни отца-офицера,
Подпоручика Кобринского полка.

Я стеснялся спросить и запутаться в датах,
Безвозвратно казались они далеки:
Галицийские веси, прорыв легендарный в Карпатах
И раненье шрапнелью у горной реки.

В доме список хранился с печатью двуглавой,
Где бои внесены за высоты Карпат,
Но они затмевались недавнею славой,
Той, которой овеван был
старший мой брат —

Героический сын его, павший недавно.
До того и скорбел, и гордился отец,
Что не помнил про орден с отличием — Анна —
Про награду за бой у реки Коропец,
За лихой контрудар от Поповой могилы.

Много шрамов в обычной отцовской судьбе,
Он в российских просторах отыскивал силы,
Чтобы молча сносить все осколки в себе.
Я ведь помню седым его и постаревшим,
Сколько шли по лесам и озерам вдвоем...
Вот он тихо сидит над костром прогоревшим
И как будто не слышит о прошлом своем.
Но, быть может,

без давнего боя в Карпатах,
Как я вижу
из ими спасенного дня,
Нет ни чести фамильной,
ни старшего брата,
Ни меня...

СНЕГОВЫЕ ОБЛАКА

Идут облака снеговые по краю земли,
Стальные лучи, пробиваясь, сверкнут над державой.
Идут облака,
и никак не увидишь вдали:
То ль холодом дышат они, то ли вечною славой...

А все ж ветровые просторы останутся с нами,
Родная земля не предстанет вовек холодна.
Взвывается метель — это вовсе не белое знамя,
И снега падут — это нашей земли седина.
Знавала она и победы, и страшные раны,
Но доля и песня ее сыновей высока,
Они пронесли ее сквозь ветра и туманы,
Свой взгляд в небеса устремляя —
и шли облака.

Ни слова, ни вежи под сенью их не позабудь,
Свинцовы поддоны, а сверху они кучевые.
Идут облака,
и за ними в неведомый путь
Я вновь собираюсь в ознобе, как будто впервые.

Идут облака снеговые по краю земли...

Лидия Белова

* * *

Все в жизни начинается с отсчета
Обыкновенных, повседневных дел.
Пускай же не кончается работа —
Ей, как судьбе, не определен предел.

И чтоб в листве затрепетала песня,
Работают без усталости дожди.
Вот так же деловито, неспешно
Воспоминая трудятся в груди.

Упорно небо пашут самолеты,
Гудком завода будится рассвет.
И век озвучен музыкой работы.
Работы дни — главней их в жизни нет!

И слышу я, как в утренних туманах
Зари, листву чуть слышно шевеля,
В деревьях на разбуженных полянах,
Сжимая корни, трудится земля.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

С песнями, под горький дым махорки
Шла через равнины и пригорки
Демобилизованная рать.
Белье от пота гимнастерки,—
Как нам их хотелось постирать!

С поля вечной славы, с поля брани
Шла пехота русская домой.
А в селе уже топились бани,
Пахло снова в горнице махрой.

И с какой-то горестной отвычкой
В честь моих неведомых заслуг
К белой моей пуганой косичке
Ленту приложил отцовский друг.

А веселье проходило мимо,
И стояла мама на крыльце...
И пылала лента нестерпимо
Красная, как память об отце.

* * *

Сердцем грядущее тихо маня,
Выйду я в поле, давно городская,
Скажет мне поле, овсы полоская:
— Встань под глаза мои, дочка моя!

Встану пред полем, как лист пред травой,
Гляну в глаза ему взглядом я чистым—
В зелени, в золоте, в ливнеискристом
Мир оживет над моей головой.

Светлую, нежную память тая,
Выйду я в рощу, давно городская,
Скажет мне роща, листвою обвитая:
— Встань же под голос мой, дочка моя!

Встану пред рощей, как ель пред сосной,
Слухом прильну я к разбуженной кроне:
В шелесте, в шорохе, в гуле и звоне
Мир молодой зашумит надо мной.



Константин Симонов. Годы войны



Алексей Недогонов в освобожденном Будапеште. 1945 год.
Фото С. Каргашина

Ветром обвитый и синевой,
Мир предо мной без конца и без края —
Пусть же я буду всегда вот такая,
Пусть же он будет всегда вот такой!

* * *

Я шла леском наискосок
Неторопливо и устало,
Рябины слабенький росток
В руке доверчиво держала.

Я радовалась — наконец
Замолодела в небе алость...
В моих ладонях, как птенец,
Весна неспешно просыпалась.

* * *

Растекались, разбегались сами дали,
Растворялись безвозвратно в белом дне.
Молоточками кузнечики стучали
По зеленой, безответной тишине.
И стрекозы все
Без отдыха, без смеха
Вышивали по траве густое эхо.

Яков Белинский

ВЕСЕННИЕ ПИРЫ

Огромный ливень мартовского света.
В овраги уползают холода...
Корм рябчиков —
сережки бересклета,
оранжевая нежная еда.

Пирь весны.
В лучах почти горячих —
гурман, обжора, сладостей знаток, —
остервенело завтракает рябчик,
восторженно ероша хохолок.

Красуясь нарядом пестро-пегим,
он встретил солнце и возликовал...
Еще вчера он ночевал под снегом,
где лишь одну брусничинку склевал.

Одну, что приготовилась на вылаз
на белый свет из синей полутьмы
и что каким-то чудом сохранилась
под толстым снегом в погребке зимы.

Румяный шарик ягодки зрелой,
былого лета поздний уголек,
несдавшийся, тугой, оледенелый,
и листика упругий завиток...

Звенит птичьё и набирает силы,
царит вокруг, вблизи и вдалеке...
О, сладостные почки на осине!..
О, терпкий сок, кипящий в ивняке!..

Как будто бы обоюму пистолета
вгоняет дятел в грубый хруст коры...
Огромен ливень мартовского света.
Идут пиры,
весенние пиры...

ВЕСЕННИЕ ДОЖДИ

Да здравствуют дожди!
Проветривать сады!
Последний снежный клочок —
косит косматым усом...
Да здравствуют дожди!
Смыть зимние следы!
И, пенясь, унести позавчерашний мусор!..
Шуруют по земле
и, душу веселя,
с утра и до утра работают, как швабра.
Да здравствуют дожди,
сверкающие храбро!..
И свежесть ранних трав
дарят дождям поля...

Андрей Дементьев

ГЛАРУСЫ

Коварнее, чем гларус, птицы
Я не встречал пока.
Типичные убийцы
Исподтишка.

Они живут морским разбоем...
На берег выброшенный краб,
Считай, навек простился с морем,
Поскольку он на суше слаб.

Он на песке клешней напишет,
Что не был слабым в этот миг...
И дно морское не услышит
Его предсмертный крабий крик.

А волны будут так же биться.
И, ожидая жертв со дна,
Стоят пернатые убийцы.
И чья-то участь решена.

* * *

Мы с тобою влюблены,
Словно первый день знакомы.
Словно нету позади
Ни обид и ни вины,
Ни душевного излома,
Ни печального «прости...».

Мы с тобою влюблены.
Нам счастливый выпал жребий.
По законам старины
Я клянусь тебе на хлебе
В том,
Что знаем только мы.

* * *

Чтоб ты не захлебнулась морем,
Плывет он рядом каждый раз.
Когда ж захлебывалась горем,—
Он от беды тебя не спас.

К чему теперь об этом помнить!
А надо бы, чтоб дальше жить —
Лишь слово доброе промолвить,
На плечи руки положить.

Бывает, легче прыгнуть в пламя
И мужеством осилить смерть,
Чем за текущими делами
Родную душу разглядеть.

ПЕСНЯ

Ничего у нас не выйдет —
Мы из разных стай.
Небо твой торопит вылет.
Улетай.
Мы простимся на рассвете.
Вот и все дела.
И смахнет слезинку ветер
С твоего крыла.

Провожая взглядом стаю,
Отыщу тебя.
И печаль моя растает
В зорях сентября.

Но в холодном поднебесье,
Над землей паря,
Провожу тебя я песней,
Светлой, как заря.

И, быть может, песня эта
Облегчит твой путь.
И, вернувшись в чье-то лето,
Ты взгрустнешь чуть-чуть.

* * *

Я не знаю, как тебя вернуть...
Ты живешь в невидимой мне башне.
Только мне туда заказан путь,
Как нельзя вернуться в день вчерашний.

Я ту башню как-нибудь разрушу...
Да не поднимается рука:
Все боюсь твою поранить душу —
Больно эта башенка хрупка.

Ты мне не оставила ни шанса,
Все решив и рассудив сама.
Только, чем бы там ни утешаться,
Все же одиночество — тюрьма.

Вот мы в одиночках и томимся.
Ты в печальной башне из обид.
Я поодаль... С постоянством сфинкса,
Что в одну лишь сторону глядит.

Новелла Матвеева

С ГОР ВЕТЕРОК...

Памяти Федерико Гарсиа Лорки

Эту мелодию
Слышу при входе я
В прибежище гор, где в них коридор
волнами прорыт.

Эту мелодию
Слышу в народе я,—
Слышатся в ней Севилья, Гранада
и Мадрид...

С гор ветерок веет ночной,
Снизился зной,
Падает жар,
А под высокой стеной
Тихий такой
Голос гитар:

Как дуновенье,
Как дуновенье...
Малагуэнья,
Малагуэнья!

Эту мелодию
Слышу в народе я;
Сердцу так много эта мелодия говорит!..
В шелестах рощ иди
К праздничной площади;
Все еще где-то отблески света
Площадь хранит.

Алый кувшин — белый жасмин,
Пестрой толпы темный загар,
А над толпой голос один,—
Сплавлены с ним струны гитар.

После погонь, после расправ,
После клинка, после свинца —
Он до сих пор так величав!
Надо спасти голос певца.

...Эту мелодию
Слышу в народе я;
Сердцу так много эта мелодия
Говорит!..

ОКЕАН, ОКЕАН...

Океан, океан играет весело
Бригантиною в пять парусов.
А на палубе, на палубе пять пар
сапог
И пять пар, и пять пар, пять пар
усов. (Эгей!)
И пять пар усов, усов, усов, усов.

Кто ж такие, кто ж такие там на палубе?
Что добавить к усам да к сапогам?
Раздаются проклятья, стоны, жалобы:
— Отдавай мои деньги!
— Не отдам! (Эгей!)
Отдавай мои деньги — не отдам!

Океан, океан зашел за правый
Борт,
Почернели над ними небеса.
Все успели разделить, но видит правый
Бог:
Не успели убрать паруса! (Эгей!)
Не успели убрать паруса.

Океан, океан их принял вежливо
И задвинул за ними свой засов.
И пошли на дно, пошли на дно пять пар
сапог,
И пять пар усов, усов, усов, (Эгей!)
И пять пар, и пять пар, пять пар усов.
И надломятся мачты горделивые,
И пробьется на палубе трава...
Вот что значит — поступки некрасивые
И безбожные глупые слова!
(Эгей!)
И безбожные глупые слова!

Не помрут — так другим могилу выроют.
Пусть несутся их души к праотцам!
Но... романтику они символизируют,—
Хоть за это спасибо подлецам! (Эгей!)
Уж хоть за это
Спасибо подлецам!

Арон Вергелис

РУЧЕЕК

Ручей и не более —
Журчанье, сверканье красивое.
Но с армией воинов
Его Рокоссовский форсировал.

Водичка расстелена
Лучистыми струйками чистыми.
Местечко расстреляно
Над этой водичкой фашистами.

И горечь, и сладость
Журчат в ручейке незабытом —
Победная радость
И слезы по людям убитым.

ЭЛЕГИЯ

Притихший, осторожный, медлительный старик,
он чует непреложный и очень страшный миг,
поэтому неловок он в мыслях и словах,—
ведь мысль его и слово смертельный стиснул страх.

В его ветвях искрится последний солнца луч,
он скоро должен скрыться за толщей вечных туч.
И люди суеверно обходят старца взор,
боятся углубляться в такой дремучий бор.

Они искали прежде, в его иные дни,
прохлады и покоя в его густой тени,
а ныне, взгляд потупив, обходят стороной—
так вежливо, так странно, как мертвого живой.

Я тоже бы старался избежать старика,
но некое виденье и некая тоска
так близко подступают, как будто к горлу нож.
И о себе я думаю... испытывая дрожь.

А ПОТОМУ, ЧТО МИР СМЕЯЛСЯ!

Веселой шутке — ей хвала,
Ее уму и милосердию!
Она улыбку родила
Сражаться с горем, с болью, смертью.
Бывало, днем и по ночам
Сей мир тоской переполнялся.
Так почему он не зачах?
А потому, что мир смеялся!

Веселой шутке — ей хвала,
В начале всех начал сокрытой!
Улыбка древним очень шла,
Но их терзали муки быта.
Сжигал растенья суховей.
Зверь восвоился удалялся.
Как дожил мир до наших дней?
А так — смеялся мир, смеялся!

Веселой шутке — ей хвала!
Есть слухи, что ковчегом Ноя
Лишь бочка винная была.
Пусть бочка, а не что иное!
Но был потоп, он так рванул,
Что всяк с надеждой бы расстался!
И все же мир не утонул.
А потому, что мир смеялся!

Веселой шутке — ей хвала!
Как хороши ее дела!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ АДАМА

Адам, человечек мой первый, пригожий!
Сделать подругу тебе из чего же?
Ну, из какой твоей части телесной
Сделать жену тебе, мальчик прелестный?

Выберу голову — будет хвостуньей,
Сердце —
завистницей будет и лгуньей,
Ухо —
весь мир оглушат ее трели,
Око —
ведь будет подглядывать в щели,
Ногу —
ведь бегать к другим она станет,
Руку —
ведь брать никогда не устанет,
Если язык —
не видать нам покоя,
Будет длинней язычок ее втрое!

Адам, человечек мой, баюшки-бай...
Лучше-ка ты свое ребрышко дай,
На ребрышке — мясо под кожей атласной,
Ни уха, ни глаза — вот это прекрасно!
Спи, люленьки-люли... Я ребрышко выну
И сделаю Еву, твою половину.

И вот уж друг другу мы в силе
сказать со славянской слезой
о милых, что нам изменили
и канули в омут людской.

И вот уж, как братья-славяне,
душой над землей вознесясь,
печалимся горько, что ране
судьба не знакомила нас.

И, сидючи на табуретках,
беседа крупно «за жись»,
мы в чувствах внезапных и редких
друг другу почти поклялись.

А позже, быть может, и странным
покажется нам этот миг...
И вновь нам в труде неустанном
вершить сочинительство книг.

И если вдруг, творчески зрея,
про долг свой,
про Родину-мать
удастся нам как-то добрее
и в чем-то мудрее сказать,—

поверю, что в тех необманых
часах затаился исток
и новых раздумий гуманных,
и новых душевных тревог.

Татьяна Бек

* * *

Будет, будет чай вприкуску,
Штоф, печенье, трень да брень...
Синюю простую блузку
Я надену в этот день.

Будет, будет подоконник
Весь в ромашках полевых —
Говорит соседкин сонник,
Что ко мне грядет жених.

Ну, гряди! Я так устала,
Что все валится из рук.
Тонко-тонко режу сало,
Ровно-ровно режу лук.

А когда просею душу
Сквозь большое решето,
Обнаружу: очень трушу,—
Но не струшу ни за что.

Бабочкой летает венник,
Пляшет по клеенке пряник,
Выдумка звенит струной...
— Дверь открыта, современник,
Жизнь распахнута, избранник

(Я напрасно верю в сонник:
Не жених, а так — поклонник),—

О, бессребреник и странник,
Скрытный,
пристальный,
родной...

* * *

Путь не стал половинчатым
И продлится несладко...
— Вот и счастье
за вычетом
Суеты и достатка!—

Окунись неприкаянно
В омут угольно-карий.
На стене у хозяина—
Карта двух полушарий.

И сама эта комната,
Удалившись от пира,
Точно карта,
приколота
К необъятности мира.

Тут не место бездушию.
Так что— будьте спокойны:
Не уйду, а дослушаю
Про невзгоды и войны.

— Я желаю, ровесники,
Чтобы вас полюбили
Не за легкие песенки,
А за трудные были!

...Расступается рошица
И глядит желудево:
Режу, точно закройщица,
Непокорное слово.

* * *

Не по бумажке, но без запинки,
Переболевши — провозглашу:
Ныне сдуваю с любимых пылинки
И на руках, не бросая, ношу.

После мучительного промежутка
Грянет надежда, как свежий пароль —
И неуместна суфлерская будка,
Ибо предложена жизнь,
а не роль.

...Сладкая память и горькая память —
Пряник не менее жесткий, чем плеть.
— Не обещаю себя переплавить,
Но обязательно буду корпеть!

Может быть, в ходе невидимой плавки
Помыслы вырастут, как детвора...

Так или иначе: в уличной давке
Слышу заплаканный
голос добра!

Махаробели — это в апреле
черные дали заголубли,
окна открыли, стекла помыли,—
это ль не праздник, в самом-то деле?

Махаробели — день на закате.
Что вы, вороны, сбились некстати?
Вороны, вы ли не поделили
жертву живую? Будет вам — нате!

Рухнут завесы, вспыхнут светила.
Ты ли, Надежда, дверь отворила?
Вот же он, Маха... — и оробели
губы от страха. Тьма обступила.

Махаробели, Махаробели,
петь собирались, да не успели.
Кончено дело!.. Вдруг просветлело:
кто это в белом — там, у постели?..

Александр Кушнер

* * *

Человек свою жизнь вспоминает под старость,
как сон.

Постепенно со всеми дарами прощается он.
Жаль ему и любимых грехов, окаянных страстей.
Словно в руки чужие он отдал беспутных детей.

Непутевых, заблудших, несчастных детей дорогих.
Сколько выстрадал он, сколько он натерпелся
от них!

Нет, недаром расстался и благословенья лишил!
У дверей потоптался, у черных чугунных перил.

Отвращенье и боль, отвращенье и жалость, и стыд.
Что ж мечтой о бессмертье он так по ночам
дорожит?

Как прогулкою в Риме, все ближе клонясь
к забвению.

Уж не встречи ли с ними он ждет в незакатном
краю?

* * *

В лазурные глядятся озера
Швейцарские вершины, — ударенье
Смещенное нам дорого, игра
Споткнувшегося слуха, упоенье
Внушает нам и то, что мгла лежит
На холмах дикой Грузии, холмится
Строка так чудно, Грузия простит,
С ума спрыгнуть, так слово шевелится.

Пока еще язык не затвердел,
В нем режутся, уча пенью и вздохам,
Резеда и жасмин... Я б не хотел
Исправить все, что собрано по крохам.
И ластиться к душе, как облачку,
Из племени духов, — ее смутивший
Рассеется призрак, — и так легко
Внимательной, обмолвку полюбившей!

* * *

Что за радость — в обнимку с волной,
Что за счастье — уткнувшись в кипящую гриву
густую,

Этот дивный изгиб то одной обвивая рукой,
То над ним заноса позлащенную солнцем другую,

Что за радость — лежать,
Что за счастье — ничком, в развороченной влаге
покатой,

Эту вогнутость глядя, готовую выпуклой стать,
Без единой морщины, и скомканной тут же,
и смятой!

Он еще это вспомнит, зарывшийся в воду пловец,
Эта влажная прелесть пройдет у него перед взором
Нежной ночью, построившей свой мотыльковый
дворец

С поцелуями и разговором,
Он поймет, почему так шумит и томится волна,
И на берег ночной набегает,
И на что она ропщет и сетует так, не видна
В темноте, и камнями скрипит, и песок загребают.

Геннадий Русаков

* * *

Как — быть травой?
Что явлено птенцу
недоуменной выпуклостью взгляда?
Я всё забыл, я подхожу к концу
моей судьбы,
мне ничего не надо.

Мне б только жить и глаз не закрывать,
не привыкать к восторгу повторенья
и до конца
живущих ревновать
к подарку слуха, голоса и зренья.

Родные, я не различаю вас.
Я улетаю за попутной птицей.
Когда-нибудь, не нынче, не сейчас,
я ворочусь доплакать
и проститься.

Мне легок путь над солнечной страной
за девять рек немереного лета.
... Зачем ты это делаешь со мной?
Зачем глазам опять так много света?

* * *

Мы последние дети последней войны.
Нас уже не слышать, мы уже откричали.
Не жалейте, вы нам ничего не должны.
Да останутся с нами все наши печали!

Горько жить на земле и отцов хоронить.
Нужно жить на земле, и глядеть до упада,
и рукой осязать непрерывную нить.
Не жалейте, родные. Все так, как и надо.

* * *

Благословляю все твои работы:
столярный труд, финифть, обточку дня.
Возьми резец, разбей пустые соты
и погляди за лес, через меня —

поверх бугра, на лисий вымах сини,
в раскат стрижей, скольжение и разброс,
на сад, промытый в бешеном фуксине,
на отчий дом... Молчи, не надо слез.

Есть дух металла, ржавчина на пальцах
и тарной ткани сорное рядно.
Мой мир распялен на огромных пятаках —
три тыщи верст, и все запододно.

Мне славно жить, судьбы своей не видя,
и горечь лет держать на языке.
А там пускай в бессмысленной обиде
ночные птицы кличут на реке.

* * *

Я друг моих друзей, и так давно живу,
что больше не гляжу на жесткую траву,
на эти небеса затертых бумажей:
я так давно живу, и друг моих друзей.

Мне было сорок лет и будет пятьдесят.
Мои года мне вслед об этом голосят,
крича, что я — глухня, бездомник, ротозей...
А мне и дела нет: я друг моих друзей.

Что было — то мое, а позабыл — так что ж...
Беспамятность — беда, а умолчанье — ложь.
Но я не выбирал своих земных стезей,
и, видно, потому я друг моих друзей.

* * *

Но как в ту зиму мне писалось!
Как слово, норов свой смиря,
почти само ко мне бросалось
в морозном солнце января!

Какой немислимой опушки
стоял февраль! Во весь напор
садило снегом, как из пушки,
в окно наставленной в упор.

А эти дни!.. Я был их пленник.
Идут, теснясь, а глядь — всё те ж.
И, словно смена поколений,
неощущаем их рубеж.

Я жил смеясь. Мне было просто,
переиграв творенья срок,
в горячке мужества и роста
пробить создання потолок.

Я видел мир в сцепленье множеств,
определял в нем каждый паз,
ловя летучую похожесть
его и каждого из нас.

А там серел сквозь выпорх смушки
земли придвинутый предел.
И ветер в стынущие вьюшки,
как ангел времени, гудел.

И за колеблемой завесой,
неприхотлива и чиста,
игралась простенькая пьеса
на пол печатного листа.

Но не был в ней ничем отмечен
тот подмастерье бытия,
что чашу доли человеческой
едва приподнял за края.

ОСЕНЬ

Благословенье пасмурной погоды
вот-вот сойдет на праведность гумна.
Тогда раскроет пепельные воды
могучий месяц зрелого зерна.

Готовы склады, выстелены гати.
Дежурный ангел вымел вышину.
Но кто же там — раблезианской стати —
задрав подол, садится на копну?

У, как блестят бесстыжие колени!
Горячий пот над пламенной губой.
Я знаю цену этой львиной лени!
Не мне, помилуй, баловать с тобой:

года не те и кровь не прежней пробы...
Да мне и вишь тебя не обхватить.
Давай-ка просто поболтаем, чтобы
потом за грех сторицей не платить.

Тебе еще не близкая дорога...
Как нынче хлеб? Корма на высоте?
Не щекоти, уймись ты, ради бога!
Я ж говорю — года мои не те...

Арсений Тарковский

ДУМА

И горько стало мне, что жизнь моя прошла,
Что ради замысла я потрудился мало,
Но за меня добро вставало против зла,
И правда за меня под кривдой умирала.

Я не в младенчестве, а там, где жизни ждал,
В крови у пращуров, у древних трав под слудом,
И целью, и путем враждующих начал,
Предметом спора их я стал каким-то чудом.

И если в дерево впивается пила,
И око божие затравленного зверя,
Как мутная вода, подергивает мгла,
И мается дитя, своим врачам не веря,

И если изморозь ложится на хлеба,
И нефть в Освенциме пылает предо мною,

Я не могу сказать, что такова судьба,
И горько верить мне, что я тому виною.

Когда была война, поистине, как ночь
Была моя душа. Но — жертва всех сражений —
Как зверь ощерившись, пошла добру помочь
Душа, глотая смерть, — мой беззащитный гений.

Все на земле живет порукой круговой,
И если за меня спокон веков боролась
Листва древесная — я должен стать листвою,
И каждому зерну подать я должен голос.

Все на земле живет порукой круговой:
Созвездье, и земля, и человек, и птица.
А кто служил добру, летит вниз головой
В их омут царственный и смерти не боится.

Он выплывет еще и сразу, как пловец,
С такою влагою навеки породнится,
Что он и сам сказать не сможет наконец,
Звезда он, иль земля, иль человек, иль птица.

ПОЛЬКА

Все не спит палата госпитальная,
Радио не выключай, и только:
Тренькающая да беспечальная,
Раненым пришлось по вкусу полька.

Наплевать, что ночь стоит за шторами,
Что повязка на культе промокла, —
Дребезжащий репродуктор шпорами
Бьет без удержу в дверные стекла.

Наплевать на уговоры нянины,
Только б свет оставила в палате.
И ногой здоровой каждый раненый
Барабанит польку по кровати.

* * *

Невысокие, серые
Были комнаты в доме.
Называть ее Марией
Горько сердцу моему.

Три окошка, три ступени,
Темный дикий виноград.
Бедной жизни бедный гений
Из окошка смотрит в сад.

И десятый вальс Шопена
До конца не дозвучит,
Свежескошенного сена
Рядом струйка пробежит.

Не забудешь? Не изменишь?
Не расскажешь никому?

А потом был продан Рениш,
Только шелк шумел в дому.

Синий шелк простого платья,
И душа еще была
От последнего объятья
Легче птичьего крыла.

В листьях, за ночь облетевших,
Невысокое крыльцо,
И на пальцах похудевших
Бирюзовое кольцо,

И горячечный румянец,
Серо-синие глаза,
И снежинок ранний танец,
Почерневшая лоза.

Шубку на плечи, смеется,
Не наденет в рукава.
Ветер дунет, снег взвоется...
Вот и все, чем смерть жива.

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

Их так немного было у меня,
Все умерли, все умерли.
Не знаю,
Какому раю мог бы я доверить
Последнее дыханье их.
Не знаю,
Какой земле доверить мог бы я
Холодный этот прах. Одним огнем
Нам опалило щеки. Мы делили
Одну судьбу. Они достойней были
И умерли, а я еще живу.
Но я не стану их благодарить
За дивный дар, мне выпавший на долю,
Я не хотел столь дорогой ценою
Купить его. Мне — их благодарить?
Да разве я посмею им признаться,
Что я дышу, и вдовы их глядят
В глаза мои — пусть не в глаза, а мимо, —
Признаться им — без укоризны? Нет,
Я вдов не очерню пред мертвецами,
Вдова пройдет сторонкою и скажет...
Им все равно, что скажут вдовы их.
Благодарить за то, что я хотел бы
На их могилы принести цветы
В живых руках, дыша благоуханьем,
За шагом шаг ступая по траве,
По их траве, когда они лежат
В сырой земле и двинуться не могут.
Что — двинуться? Когда их больше нет.
Ни я, ни вы, никто не нужен им,
А я без них — с кем буду хлеб делить,
С кем буду пить вино в мой светлый час,
Кому скажу:
Какой сегодня ветер,
Как зелена трава и небо сине?

Варлам Шаламов

1907—1982

* * *

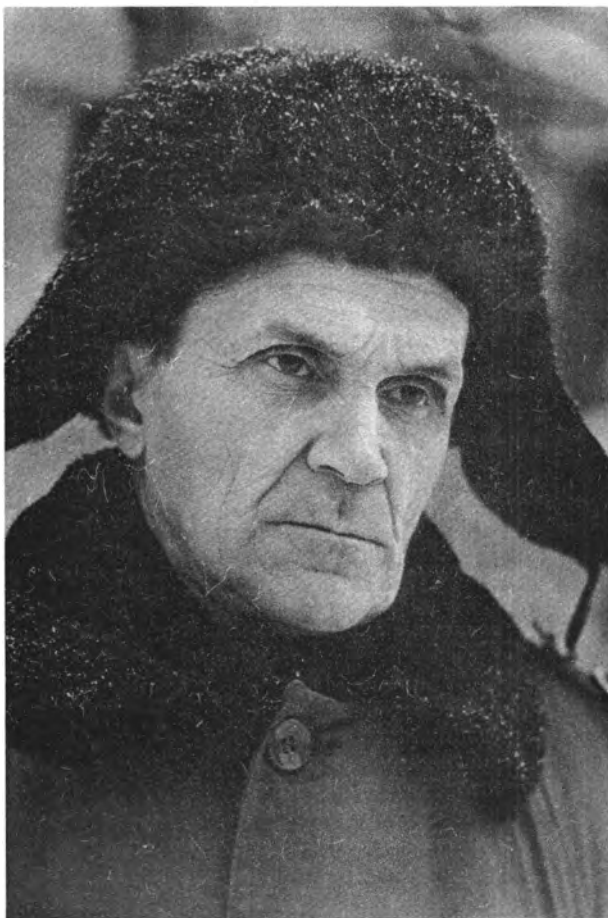
Как Архимед, ловящий на песке
Стремительную тень воображенья,
На смятом, на изорванном листке
Последнее черчу стихотворенье.

Я знаю сам, что это не игра,
Что это смерть... Но я и жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развернутой тетради.

* * *

Ведь в этом беспокойном лете
Естественности нет.
Хотел бы верить я примете,
Но—нет примет.

Союз с бессмертием непрочен,
Роль нелегка.
Рука дрожит и шаг неточен.
Дрожит рука.



Варлам Шаламов

* * *

Острием моей дощечки
Я писал пред светом печки,
Пред единственным светцом,

Я заглаживал ошибки
Той же досточкой негибкой,
Но зато тупым концом.

* * *

Кто мы? Служители созвучья,
Бродячей рифмы пастухи?
Для нас и жизнь лишь только случай
Покрепче выстроить стихи.

Чтоб облака—овечье стадо—
Паслось покорно на глазах,
Чтоб не могло сломать ограду
И скрыться где-нибудь в лесах.

И что мне ветер? Что погода?
И то, что буря так близка,
Когда спустились с небосвода
Почти ручные облака?

* * *

Сгибающая стебель тяжесть,
Сгибающая шею тяжесть,
Клонящая цветок к земле.

Свинцовые крупинки снега,
Разгоряченные от бега,
Мечтающие о тепле.

НА ПАМЯТЬ

Как лихорадки жар сухой,
Судьба еще жива.
Ночной горячечной строкой
Бегут мои слова.

И может быть, дойдет до вас
Ее глухой размер,
Как пульс, прерывистый рассказ,
Химера из химер.

Василий Казанцев

* * *

Что такое деревня?
Это проселок древний.
Это весна, зима.
Это земля сама.

Это слова поверья.
Это слова доверья.
Это трава. Деревья.
... И только потом—дома.

* * *

— И в ночи, и в сиянии дня
Ты лелеял дыханье огня.
— А взлелеянный мною огонь
Обращается против меня.

— И в ночи, и в сиянии дня
Ты трудился, истоки храня.
— А вода, сохраненная мной,
Обращается против меня.

— Ну, а сам-то, вздымая себя,
И водой ограждая себя,
И огнем утверждая себя,
Разве шел ты — не против себя?

* * *

Склонилась над водой
И светится осина.
И светится осина
Другая. Под водой.

— Я слышу голос твой,
Затерянное эхо...—
И отвечает эхо:
— Я слышу голос твой.

— Укрой, спаси меня,
Темнеющая чаша ...—
И тихо шепчет чаша:
— Укрой, спаси — меня!..

Римма Казакова

* * *

Я вернулась из разлук,
из затворничества строгого,
и ни на единый звук
сердце отзвуком не дрогнуло.

Замелькали имена...
Что сей день в удел подарится?
Ни единым не больна.
Все на буквы распадаются!

Отвладели, бередя...
Дух освобожденный балуя,
будто в кубики — дитя,
в них играю как попало я.

Неужели отошло,
оттомило, отпечалило?
Даже чуточку смешно
то, что горе отпечтало.

Отчего смеемся — вслед?
В бурю шли, кидались в сечи мы!
Очи гасли, меркнул свет...
Вспыхнул. Жизнь — как слайд засвеченный.

Стала вновь она проста,
И, бог знает что вбираючи,
смотрит ока пустота
в пустоту в стандартной рамочке.

И в спокойном, не больном,
что-то вспыхнет вдруг в сознании,
и за слайдовым бельмом —
будто ветра рябь на знамени...

О, знамена, знаменá!
Неужель и тут проедится:
«Ни единым не больна...»?
В пустоту зрачок прицелился.

И, как будто продышав
льдистое окошко зимнее,
окунет себя душа
в колыханье их призывное.

* * *

Лес. Вспорхнула птица. Ветка хрустнула.
Ветер пылью снежной прощуршал.
Про природу разве скажешь: грустная?
Мягко золотится солнце тусклое.
Ствол березы влажен и шершав.

Здесь — покой и радость, прикорнувшая
под попоной снежной до весны.
И неслышно тает грусть ненужная,
и уходит из души минувшее,
и легки и невесомы сны.

Нет печали. Но и полной радости
без живой, щемящей грусти нет.
Медленно, упрямо разгорается
и зажечь угасшее старается
радостно-печальный новый свет.

Путеводно в снег лыжня впечаталась —
зимней сказки новая глава...
Я не загрустила, не отчаялась,
просто я немного опечалилась,
просто я опять — жива-жива.

* * *

...В голосе — лед, надеялась — мед.
Радость сменяет досада.
Копится, копится, не устает —
опыт того, как не надо.

Четко на камне начертана жизнь.
Думай! Дорогой окружной
к цели верней. Но ты выбрал, кажись,
опыт того, как не нужно.

Если ответ тебе ясен уже,
спрашивать — дело пустое.
Может, достаточно множить душе
опыт того, как не стоит?

Но невозможно внушить, повелеть.
Ты человек, а не робот,

И не ответят ни пряник, ни плеть,
что это: стóящий опыт?

Я никуда от судьбы не уйду,
ни от любви, ни от ада,
пусть и найду в этом райском аду
опыт того, как не надо.

Рай ты мой адский, прощай и прости!
Хватит и меда, и яда.
Опыт, как надо, смогли обрести
только узнав, как не надо.

Передохнуть, оглянуться, вздохнуть —
дело как будто простое.
Но будет снова, как в омут, тянуть
опыт того, как не стоит.

Я обжигалась, летела в огонь,
падала в вихрь водопада.
Он нам дается ценой дорогой,
опыт того, как не надо.

Я не услышу ликующих труб.
Снова — борьбы канонада.
Эти неверные губы у губ...
Опыт того, как не надо!

* * *

Сегодня больно наконец,
сегодня наконец-то больно мне! —
но это не разбой, не бойня, — нет! —
а столкновение сердец.

Я не обижена тобой,
не сожжена и не отвержена,
и всю, что мне судьбой отвешена,
беру, благословляя, боль.

О, лишь бы — ни слезы из глаз!
Расстаться не хочу ни с капелькой.
Не проливаю боль, накапливаю, —
соединяющую нас.

И жизнь мне многое простит,
коль знаком чувства безобманного,
боля, вокруг пальца безымянного
ее кольцо во тьме блестит.

Как воскресение и бой,
ее, щемящую, безмерную,
невыносимую, бессмертную,
приемлю лечащую боль.

Она — спасенье и заслон,
и там, где был пробел зияющий,
восходит жгучий луч сияющий,
с землей связуя небосклон.

Боль родилась сегодня вдруг.
Иду, смеясь, в большое, хлопотное,
шаловного сердца не захлопываю
и не отдергиваю рук.

* * *

Кто за дверьми стоит?
Что в дверь стучится?
Молчу. Пропала молодая пруть.
Не знаю, не гадаю: что случится?
Так может быть,
и эдак может быть.

Душа не трепыхается натужно.
Беззвездна ночь.
Безмолвно и черно.
И, может быть, мне ничего не нужно,
не нужно совершенно ничего.

Валентин Устинов

ГРОМОБОЙ

Елена, в этом белом далеке,
где над тайгой нет ни дня, ни ночи,
какая-то девчонка на песке,
китом горбато мчавшим по реке,
кривляется, танцует и хохочет —
как будто рассказать мне чудо хочет.

Наверно, грусть немереной версты
или дурманом полные цветы
тому необъяснимая причина,
но только мне примстилось:
это — ты...
Ведь всякая возможна чертовщина,
когда гроза колдует с высоты.

Спеша, я подбежал к реке огня
и остро глянул между облаками.
Но нет, не ты: глаза — как зелена...
Но ведь ликует, глядя на меня!
И вяжет, промежая стебельками,
венки из молний голыми руками!

Вот выплеснулась вихрем на откос —
да как присвистнет в колокольной пляске!
Взорвало ветром пряди белых кос,
вплело в льняные космы синих гроз —
и гром явился витязем из сказки.

Он рокотал — как молодой Илья,
В косоворотке васильковой тучи,
кистями молний солнечно пыля
во все поля, полон, тополя,
во все концы любви своей летучей.

Клянусь, Елена, я почти сумел
душой проникнуть в суть его вокала.
Не то чтоб был непобедимо смел,
а будто бы догадка замигала,
но тускло, словно лампа в треть накала...

И вдруг погасла. И горячий шквал
внезапно вздыбил все земные воды —
все ливни, реки, влажный пот природы —
и снес косу волною наповал.

Как обухомхватило по корме.
Качалась туча меж валов кадилом.
И в чертоломной бурой кутерьме
девчонку так свистало и крутило,
что будто колосом она ходила.

И— молния! То гром, темно клубя
огромный дождь,
на миг разверзнул веки.
И снова будто высветил тебя.
Нет разума, наверно, в человеке:
с чего иначе лез бы в эти реки?!

Ты видела когда-нибудь в бинокль,
как на закате бешеное солнце
лучей и туч малиновые кольца
закручивает в пенистый венчик
и словно бы грохочет в колокольца?

Вот так и эта дикая река,
осатанев от рыжей круговерти,
меня клубила злобно на руках
и то швыряла с пеной в облака,
то вновь роняла в пасть песчаной смерти.

Я вынырнул— как бы налит свинцом.
Встал— над косою качаясь. И руками
раздвинул струи ливня над песками.
И вдруг— возникло юное лицо.

Елена, где ты? Память моя, где?
Я выпил жизнь из громобойной чаши.
Ведь то лицо в косых руках дождей
сияло— как твое в начальный день,
но все же было все еще не нашим.

В глазах переливались васильки.
Ветра соколий бег над ней ломали.
Вода и пламень— словно две руки—
ее над бурной твердью воздымали
и молниями в губы целовали.

Я что-то понял, но шагнул еще:
спасать ее— рубясь в упор с волною.
Упрямство обтянуло скосы щек.
Но небо раскололось над Двиною—
и столб огня упал передо мною.

Вскипел, расплавясь, в двух шагах песок.
Земля скользнула из-под ног. Стеною
рванулась вверх, ударила в висок.
И гром расхохотался надо мною.

Орал: «Она во мне! Войди в меня!
Ты— дар вселенной сунувший под вертел,
но так и не познавший суть огня,—
войди в меня, добудь душе бессмертье!

Не трусь! Есть слово— в безднах, в лопухах,
в твоих тобой неизвестных стихах—
единое во всех вселенских реках.
Не знаешь? Попроси у петуха,
чтоб он порылся меж миров в веках
и в звездный час тебе наукарекал.

Не можешь? Так оставь любви тайгу,
оставь надежду— верь в ракетный гул,
в металл и ржу,
в телесный рай и тленье...»

Но я привстал— и прах стяхнул с коленей,
и, сам себя страшась, сказал:
«Могу!»

И грянул хохот— опаляя дух.
Ударило— аж твердь вскипела пеной.
И столб огня— крутясь, как ось вселенной—
каленным гулом душу мне продул:
«Ну, так входи! Она во мне. Я жду».

Елена! Что ли я не парень-гвоздь?!
А и спасенья нету в опасенье.
Ведите же меня в огонь, насквозь
и трын-вода, и русское «авось»,
и мой талант— безумное везенье!

Песок в лицо ключом кипучим бил.
Но я пространств объемную суровость,
но я времен плодоносящий пыл
душой собрал в единственное слово,
сказал: «Люблю!»—
и в столб огня ступил.

И громовая пала тишина—
янтарная, как солнечная льдинка,
как молнией рожденная жена,
вся радужная,
словно ястребинка.

Взяла меня за белые персты.
И карий свет девичьей чистоты
омыл меня— бессмертен и отчаян.
И с той поры, мой друг, где я, где ты—
Елена!— больше я не различаю.

И с той поры—
до дна познав себя,
промежду дней и всех ночей промежду,
как громобой во всю судьбу трубя—
лечу сквозь годы, веру и надежду.

И ты—
по ветвям молний босиком,
в расхлюстанной, разветренной юбчонке,
то небом, то водою, то песком—
летишь со мною вечною девчонкой.

Не знаю— наяву или во сне,
под солнцем ли, при ясной ли луне,—
но празднуем земную нашу вечность.
И жизнь гудит столбом огня во мне
и ярым светом входит в бесконечность.

Елена! Видно, счастье в том и есть,
чтобы душою весело посметь
промчатся по громовым амплитудам—
сшивая молниями жизнь и смерть,—
и радоваться огненным причудам,
и верить бесконечно в это чудо!

Владимир Дагуров

* * *

Мне нужно встретиться с тобой —
давно мы не бывали вместе,
а одиночество с толпой —
нет, право, изощренней мести.

Я прилечу, я позвоню,
куплю со смыслом незабудки.
Своей привычке изменю —
не опоздаю ради шутки.

Увижу — сердце обомрет —
студенткой прежней обернешься!
И ты, наверно, в свой черед,
разволновавшись, улыбнешься...

Но это будет только миг —
возьмешь себя ты в руки тотчас.
Полетится чуждо, напрямик
беседа — разве что без отчеств.

Без тайн, без хмеля тех страстей,
что так обоих нас терзали.
«Я не могу... я жду гостей...»
Один очнусь я на вокзале.

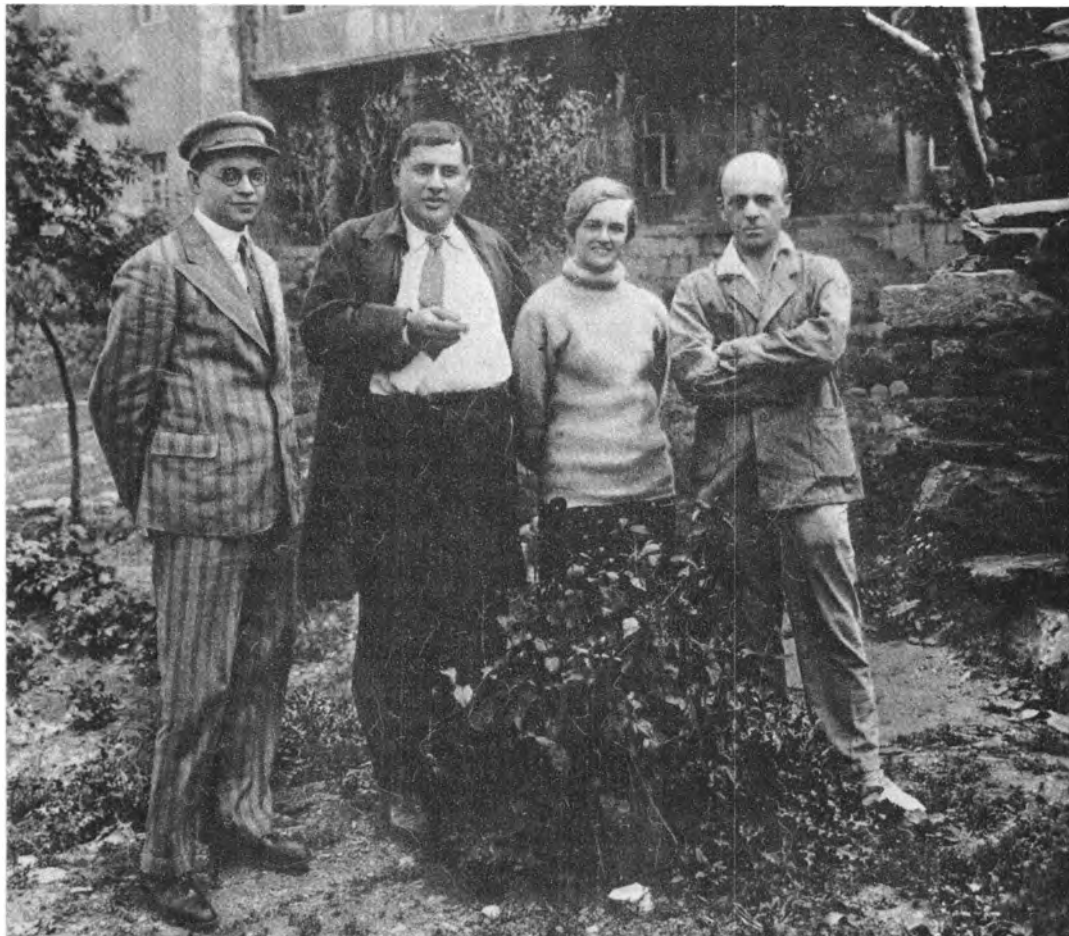
Пройдут бессонница, и боль,
и молодость, быть может статься...
Мне нужно встретиться с тобой,
чтоб навсегда уже расстаться!

Михаил Квливидзе

* * *

Подарок ли судьбы на этот раз,
Иль мне дано такое наказание —
И для того Любовь пришла сейчас,
Когда от жизни мало что осталось,
Чтобы еще больней при расставанье
С цветущим миром сердце разрывалось?

Перевел с грузинского А. Кушнер



Павел Антокольский (справа) и Тициан Табидзе (второй слева) в Грузии. 1933 год

Дина Терещенко

КТО ПРАВО ДАЛ

Неужто мир оглох,
рыданий орудийных не запомнил?
Надеемся на то, что чей-то бог
спасет наш мир от вещей молний?

Неужто грянет время — нам не быть!
Пустыня. Мрак. Оцепененье?..
Кто право дал Земле глаза закрыть,
остановить ее сердцебиенье?

Ребенок держит мяч, как будто шар земной.
Наивный и доверчивый ребенок,
твой или мой, заплакал.
Мяч исчез...
Не будет ни могил, ни похоронок!
Кто право дал Земле глаза закрыть,
остановить ее сердцебиенье?

БЛАГОСЛОВЛЯЮ НЕПОКОЙ

Благополучье — равнодушно!
Боюсь благополучной стать!
О, до чего же это скучно —
свое спокойствие листать.
Листать, считая прибыль-убыль...
Есть просто строчки, есть стихи.
Опять ворвался ветер грубый
в мою стихию.
И нет с ним сладу, нет с ним сладу.
Пусть захлестнет!
Благополучия не надо,
придавит крылья этот гнет.
Пускай в доме моем покоя
и не было, и вовсе нет,
неуспокоенной строкою
молюсь за беспокойный свет,
врывающийся гулом, гудом,
преображеньем, добротой.
Все это называю — чудом!
Благословляю непокой!



*Александр Прокофьев и Платон Воронко. Ленинград.
Август 1959 года*

* * *

Было тихое свеченье
глаз твоих, пытливых глаз.
Было, было наважденье,
был костерик, да погас.

Ни права, ни виновата я.
Чья недоля, чья тут власть?
Отчего такой крылатою
я в сочельник родилась?

...Мне еще летать, летать,
Мне еще желать, желать
снега белого,
лета спелого.

Евгений Юшин

* * *

А вот деревья друг друга любят.
Они по ветру ветвями лупят,
Подбитой птицей на месте бьются.
Настанет вечер—они сойдутся
И станут думать о горькой доле,
О доброй воле, о светлой боли,
Тянуться к счастью и верить в чудо,
Как не умеют поверить люди.
Перекликаясь листвою горячей,
За нас, разумных, деревья плачут.
Меня ветвями толкают, будят:
«В добро не веришь—добра не будет.
В любовь не веришь—любви не примешь.
Так с чем же, бедный, ты мир покинешь?»
Поют деревья, а люди дремлют.
Я все покину—уйду в деревья
Перекликаться листвою горячей,
Смеясь от счастья, от горя—плача.
Нельзя иначе, нельзя иначе.

* * *

Плавала белая лебедь средь уток,
А на челе ее—солнце сияло.

Но налетел черный ворон-рассудок.
Белая лебедь облаком стала.

Я побежал догонять облака.
Ворон кричит: «Не валяй дурака!»

Я земляникою солнце назвал.
«Все ты напутал,»—носатый сказал.

Даль колыхалась. Виделось мне:
Всадник летит на горячем коне.

То ли он мчится из прошлых времен,
То ли от казни спасается он?

Ворон вмешался: «Довольно хлопот.
Это сосна на пригорке растет,

Воздух медовый от жара дрожит.
Всадник же древний—в могиле лежит».

Тут я взгляделся в людские глаза,
Где и веселье живет и слеза,

Их торжество на холсте рисовал.
Ворон кружился и свет затмевал.

* * *

Здесь кровью и стрелами писаны стены.
Спокойно и грустно, как старый монах,
Седая трава-лебеда

постепенно

По серым ступеням ступает впотьмах;
По трещинам черным все выше и выше,
Под кров колокольни, где спят облака,
Где колокол дышит

и воздух колышет

Горячим дыханием—через века...

...Вздохнул реставратор, присел на ступени,
Задумался,

щиплет угрюмую бровь:

«Здесь кровью и стрелами писаны стены.
Сумею ли я
реставрировать кровь?»

Леонид Завальнюк

ПЕРВОЕ ЦВЕТЕНИЕ

Долгая оттепель в марте.
Лукавый будильник капли.
Старые яблони спят.
Молодая проснулась. Бела!..
Старые яблони почки распустят в апреле,
Кинутся к юной:
«Неужто уже отцвела?!..»
— Да!..—она скажет.—
Но цвет мой побили морозы.
— Да!..—она всхлипнет.—
Ах, если б я знала, что будут они!..
И старые яблони нежно утрут ее слезы,
Как им утирали в далекие девичьи дни.
Но юная будет все лето дрожать,—не согреться,—
Как загнанный жалкий звереныш
С тоской озираясь вокруг.
И листья до срока ронять,
И с ужасом в лужи глядеться.
И горько завидовать каждой из старших подруг.
И та, чьи плоды словно зори горят,
Вдруг промолвит с улыбкой:
— Возьми все, что есть у меня.
А свою нищету уступи.
Беру твою жизнь, о дитя,
вместе с этой весенней ошибкой.
Согласна меняться? Ах, нет?
Ну тогда уж не злись.
И не плачь.
Потерпи!

СЛЕДЫ. 1944 ГОД

Детство мое — сиротство,
В лужах осенней воды
Вижу твои уродские
Полубосые следы.
Вот у развалин помешкали,
Вот они в парк поплелись
И со следами поменьше
Встретились
И разошлись.
Детство мое — сиротство,
Вот тебе мой кошелек.
Догони ее возле рынка,
Купи ей конфет кулек,
Инжиру, цветов осенних...
— Ей это не нужно, прости!
— А чего же ей нужно?
— Спасения.
Любой ценой, но спасения.
А мне ее не спасти.

* * *

Сказала птица ночная
Ночью птице дневной:
— Ты ничего не видишь.
Как можешь равняться со мной?! —
И птица дневная кивнула:
— Я хуже, сомнений нет.
Но хуже, как все дневное,
Как все, чему нужен свет. —
Вот так!
И умолкли обе,
Сидя на ветке одной.
Но чего-то птица ночная
Все ждала от дневной.
Чего? Может быть, извиненья
За чуть грубоватый ответ.
А может, беседы,
Общенья,
Простого живого общенья,
В котором мелькнет объясненье:
А что ж он такое — свет?

Сергей Поделков

СОМНЕНИЕ

Ракета! Пламя!
Что там — впереди?
Реактор солнца, синь позолотела.
И сердцу тесно, музыка в груди,
страх радости нам сотрясает тело.

Надвинулось величие времен,
возвышен день любой, как изваянье,
очеловечен космос, —
испокон
глаза врывались в звездное сиянье.

Мы не увидим инопланетян,
их руки,
магнетическое око,

в желанье нашем зиждется изъян...
О, человечество, ты одиноко!

Блаженные иллюзии рассей...
Нет нам подобных средь миров,
мы дети
единственного во Вселенной всей
живого мира
на живой планете.

Безмерный взрыв мечты нам не избыть,
великий поиск — он навечно с нами...
Но о великом надо говорить
вполголоса,
тишайшими словами —
и вздрогнет разум...

* * *

И вновь Шопен, баллада соль минор, —
и ночь, и дождь, и два окна, и тени
нервических взлохмаченных растений,
и ты, любовь, ревнивый кредитор.

Озноб горячий неотвязных чувств,
и мягкий шаг вторженья наготове,
стучусь всесильным словом, боем крови,
стучусь тоскою, всей судьбой стучусь.

Заказник здесь? Иль праздник перемен?
Неузнаваем. Я ли это? Я ли?
Звучащею улыбкою рояля
откликнулась ты из-за тайны стен.

Дверь подалась. Свет шелестящ. И за
лукаво отведенною портьерой
ты, ненаглядная, с веселой верой, —
и на меня летящие глаза!

Глаза — два соловья! И грудь едва
колеблет розовый округлый жемчуг;
мы, обессиленные встречей, шепчем
потайные, несвязные слова.

Но — инструмент, как ворона крыло,
в зеркальных отсверках. И руки плавно
ты погружаешь в музыку, как в пламя,
рисунок памяти лег на чело.

Стан клонится рывками, гнется бровь,
рук перелеты, пальцев перебежка,
и клавиши — то бешено, то нежно —
вдруг тонут и всплывают вновь.

Все тонет в музыке, и я, и ты,
мерцают звуки, и в твоей прическе
они сияют... Тают отголоски
и в вазе распускаются цветы.

Единство мы, природы заговор,
баллада сердца, соучастья, лада,
и руки, что целую, — та ж баллада,
и губы, что ловлю, — баллада соль минор.

Распалась непогодь, иссякла дрожь,
звезд оттиски в саду средь туч разбитых;

но в прорези ресниц полураскрытых
зов неба и лучи, лучи сквозь дождь.

Ликующее забытье. Провал времен.
Мы исподволь, застенчиво, невольно
пронизаны друг другом... безглаголье.
Лишь кровь звучит в висках, как камертон!

Греховно меркнет свет. И твой покор.
И жар. И окунаем губы в губы,
и шепот платья, и луна на убилье...
Беспамятство. Баллада соль минор.

Владимир Бояринов

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

И пусть середина,
И пусть золотая,
А я не хочу!
И пусть нелюдима
Отлетная стая,
Я следом взлечу.

Пусть птицы над полем
Под клики прощанья
Раскинут крыла.
Да разве покоем
Минута печали
Когда-то была?

Кому? Неужели
Не видно, как больно
Дается полет?
...И птица метели
Светло и бездольно
Трубит — не поет.

Наверное, можно
Вздремнуть у камина.
Но тесно плечу.
И пусть бестревожна
Моя середина.
А я не хочу!

УКОР

Узнал крыльцо,
Увидел свет из окон
И дверь открыл.
И смех в лицо:
— Я думала — ты сокол,
А ты бескрыл.

Стучишься в дверь,
А я уже все жданки
Переждала.

— Но ты поверь,
Я был не на гулянке...
— А я была?

— Я прочь лечу!
Ищи меня отныне
Меж двух веков.—
И по лучу
Скользнул, как по стремнине,
И был таков!

«Нет, я не трус,—
Твердил в решенье скором,—
Нет, я не раб».
Но на искус
Ответивший укором
Уже не прав.

В седых летах
Вернулся не бескрыло
В свои края.
— Зачем же так?
— А как же надо было,
Любимая?

Игорь Селезнев

СОЛДАТ

Я литую осматривал
кладку
над фундаментом школьной стены —
всюду видел рабочую хватку,
где уменье и совесть —
равны.

Парень, к этой постройке готовясь,
долго шел вдоль Кремлевской стены,
а потом поработал на совесть,
твердо зная:
не будет войны.

Он в стройбате обычным солдатом
был!

Прямой разрешая вопрос,
он спокойно о веке двадцатом
в камне слово свое произнес.

* * *

Никогда не видел Смелякова.
А захочешь просто и толково
в двух словах определить предмет
разговора самого прямого —
чувствую,
что Смелякова нет.

НЕ «ТОКМО ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ
ЗАНЯТИЕ...»

ЗАМЕТКИ ВЕТЕРАНА ПОЭТИЧЕСКОГО ЦЕХА

Давно назревала во мне необходимость написать о потоке стихов, захлестывающем журналы, издательства, читателей...

Говорил об этом в беседах с товарищами по цеху, с читателями, делился своими наблюдениями, тревогами.

Вспоминалось... Огромный взлет человеческого интереса к поэзии. Взлет тиражей. Возникновение из «туманности» новых ярких звезд. Многолюдные вечера поэтические с конной милицией возле клубов и дворцов... Обновленное внимание к поэтам старших поколений (и их новый расцвет!).

Радовал горячий интерес читателей к празднику «День поэзии»... (Настолько серьезно отнеслись они к этому празднику, родившемуся на наших глазах и с нашим участием, что в первый День поэзии раздавались вопросы:

— А салюты будут?)

Праздник «разгорался» по стране (начался он как московский), перекинулся в республики, края, области. Втянул в свою орбиту тысячи людей.

Через годы — начала настораживать некоторая нескритичность иных авторов, читателей, издателей.

...Читаю сводную афишу, из которой явствует, что в этот день в одном только городе выступает около трехсот поэтов.

Может ли быть столько поэтов в одном городе, одновременно? Что понимаем мы под этим словом — «поэт»?

Не начинается ли инфляция стихов?

Не придет ли потом «похмелье»?

Более двадцати пяти лет тому назад об этом уже тревожились старшие мастера. На одном собрании А. Т. Твардовский советовал воздерживаться от такой щедрой раздачи звания «поэт».

— Мы — стихотворцы, — говорил он.

Тогда же, по поводу поэмы на очень ответственную тему, опубликованной на страницах популярного «тонкого» журнала одним из наших собратьев, он сказал:

— Нужно иметь большую отвагу, чтобы взяться за такую тему... Название есть, а поэмы нет...

Не происходит ли такое с иными нашими стихами и книгами — название есть, а стихотворения нет, книги — нет...

«Производство» налажено. «Продукция» есть, а поэта — нет.

Снова вспоминаю... Секция поэтов задумала «Вечер одного стихотворения». Он состоялся в Политехническом.

Я не попал в афишу (а тогда выступать — если не указан в афише — не полагалось).

Разгневан.

Звоню Вере Михайловне Инбер — председателю Бюро секции поэтов, заявляю телефонный «протест».

В. М.: — Мне не понравились ваши стихи, которые вы читали недавно в Клубе писателей...

— А я пишу не для вас, — отвечал я нахально.

Я был включен во второй «Вечер одного стихотворения» (в МГУ).

В то самое время я позвонил Твардовскому (были приняты в «Литературной газете» мои стихи, окончательное решение вопроса было за Твардовским — членом редколлегии).

Он меня пригласил домой (жил тогда на улице Горького).

И я был очень удивлен — и запомнил на всю жизнь — его отношение к «Вечеру одного стихотворения»:

— Это ж надо так не уважать писателя, чтобы отрывать его от работы на целый вечер только для того, чтобы он прочитал одно стихотворение!..

Многое из того, что он говорил в беседах, в выступлениях — показывало нам какую-то особую нравственную высоту — гораздо большую, чем та, которой мы обычно руководствовались в своем литературном быту — принципиально новую, высокую высоту (наверное, пора собрать коллективную книгу «Уроки Твардовского»?).

Однажды я провел день в доме Фатьянова — и с нами был Твардовский (живший по соседству).

Беседовали обо всем.

Вспомнив в разговоре свою дочь, он сказал:

— Она меня сделала писателем...

Я вопросительно посмотрел на него. Он понял это и ответил одним всеобъемлющим словом:

— Ответственность!

«Твардовское» понимание этого слова — в широком смысле — запомнилось мне навсегда, как высокая нравственная норма.

...Шли годы, и масштабы нашего «мероприятия» (Дня поэзии) росли, скоро мы стали возить огромные бригады пишущих наших братьев за тысячи километров, чтобы братья имели возможность — в таком отдалении от дома — прочесть на вечере по два-три своих стихотворения («Вечер одного стихотворения» превратив в «Вечер двух стихотворений»).

Не слишком ли бесхозяйственно это — со всех точек зрения?

А не лучше ли было, если бы поехали-полетели два-три — от силы пять-шесть серьезных писателей, которым есть что сказать читателям и которые сами смогут что-то взять от читателя, — было бы, наверное, результативнее?

Все это нарастало — в душе — как тревога, как сомнение... Но всё было недосуг сказать об этом печатно. Удерживало и опасение, что вдруг станешь виновником «обратного хода» событий, вдруг навредишь поэтам?.. Но — поэтам ли?

Все ли мы — выступающие, ездящие, публикующиеся — поэты?

...Вспоминаю и заседание Секретариата СП СССР году в 1955-м. Разбирали вопрос о приеме одного стихотворца в члены Союза писателей.

— Подошел ко мне молодой человек выше средней упитанности, — говорил А. А. Сурков, — и заявил протест против того, что приемная комиссия рекомендовала принять его только в кандидаты в члены Союза писателей (раньше существовал такой этап при вступлении в Союз. — М. Л.). «Где вы работаете?» — спрашиваю. «Я пишу стихи»...

Сурков был удивлен — на стихи нельзя прожить, особенно молодому поэту.

Тогда же Л. М. Леонов говорил о ранней «профессионализации»:

— Скоро мы станем принимать человека в Союз писателей только за то, что он купил чернильницу...

Все это мне тоже запомнилось, как уроки жизни и литературы.

Вспоминая строгость старших мастеров, думаю: в самом деле, разве Леонову жалко было выдать еще одну «корочку» с надписью «член СП»... Речь же шла не об этом—о большем,—о жизни, о судьбе человека, а потом уже—о его «членстве» в Союзе писателей.

Не слишком ли мы «щедры» с этим сегодня? Не вводим ли в заблуждение относительно их возможностей, способностей, талантов иных «полупоэтов», «полуталантов», «полутружеников»?

Разумеется, подобные проблемы почти всегда существовали в литературе, но существовала и борьба с такими явлениями.

Вспомним пушкинские слова: «... сейчас, когда поэзия не есть благоговейное служение, но токмо легкомысленное занятие...»

Так не будем же поощрять «легкомысленное занятие»—будем сразу предупреждать встающего на путь поэзии о серьезности, строгости, ответственности и этого рода человеческой деятельности.

В любой другой области человеческой деятельности дилетантство, непрофессионализм, неспособность—немедленно наказуемы—они сами собой разоблачаются.

Если летчик—дилетант, самолет не взлетит, а если и взлетит—неизвестно, как сядет...

Жестокая необходимость редактирует работу, поведение людей, их способности и возможности, производит строжайший отбор.

Профессиональные водители очень не любят так называемых «частников», которые постоянно создают аварийные ситуации на дорогах.

Дилетанты в искусстве, в литературе, в поэзии, прозе и критике создают тоже «аварийные ситуации».

...Всем известны слова Светлова о том, что поэт—не профессия, а состояние души, настроенность ее определенным образом...

Как же можно—со школьной скамьи—строить свои ближние и дальние жизненные планы в расчете только на «состояние души»?

Не отсюда ли происходит и то явление, когда говорят «исписался»? «Не исписался»—а изменилось то самое состояние души, рояль расстроился—и перестал хорошо звучать...

Настоящий поэт никогда не «испишется», он будет всю жизнь оставаться одержимым и неисчерпаемым.

«Он потерял тот огонь и восторженность, без которых нет художника» (из Драйзера).

Дело, значит, в первую очередь в жизненном тоне, мироощущении—так жить, чтоб не потерять огонь и восторженность.

Пришвин считал главным мастерством писателя его жизненное поведение.



Сергей Наровчатов. Перед войной



Михаил Луконин. После войны

У Драйзера же я вычитал еще в юности мысль, что художник не имеет права быть жалким.

А если ты рано профессионализировался, все, что видел в школе, в вузе, описал, воспел,—а больше ничего не знаешь и писать тебе не о чем—как быть?

Летаешь в поверхностные командировки—наскоро, дилетантски знакомишься с большим Делом, творимым на Востоке или на Севере, и сочиняешь поверхностные дилетантские книги об этом—разве это будет литература?

А если ты кроме стихов ничего не умеешь, никаким другим ремеслом не владеешь и вынужден бегать по редакциям,—разве не превратишься в «литературного поденщика», не станешь жалким и на вид, и по существу?

А художник (поэт) «не имеет права быть жалким». Как же тогда сможешь сказать гордые слова, которых ждет от тебя читатель? Они привыкли думать, что поэты—пророки...

Можно ли выбрать жизненной профессией любовь? А поэзия—это любовь, объяснение в любви в стихах (к жизни, к людям, к миру)...

В иных ситуациях и молчание бывает словом, позицией. А ты уже не сможешь молчать—за молчание не выписывают гонорара.

Вопросы литературы нельзя отрывать от проблем жизни, общества, нравственности—ни в большом, ни в малом.

Да и зачем разрешать (нам) выбирать облегченный вариант жизни: школьная скамья—литература—издания—популярность.

Без настоящих испытаний и станем-то «бутафорскими богатырями».

А в литературе надо обязательно быть «духовным богатырем» (определение Пушкина).

Хотел бы быть правильно понятым и молодыми.

...С 1952 года я—вместе с моими ровесниками—стал принимать участие в работе с начинающими. Руководил семинарами в Ереване, в Свердловске, в Алма-Ате, в Краснодаре, в Литературном институте...

...Юный Евтушенко говорил мне:—За что я тебя так люблю?

Я отвечал:—Тыходишь в жизнь—и полон любви и доверия к ней, и любишь всех, кто к тебе хорошо относится...

Он тогда знал наизусть мою первую московскую книгу—и сейчас, утверждает, может продолжать ее читать—с любой строки, какую ни назови. Конечно, это лестно. Да и запоминаешь благодарно такое на всю жизнь—значит, признают... и старшие, и молодые...

А ведь какие старшие поддержали нас, когда мы входили в поэзию—рекомендации в Союз писателей

мне, например, давали такие боги, как Николай Семенович Тихонов, Илья Львович Сельвинский, Илья Григорьевич Эренбург, Павел Петрович Бажов.

А писали отзывы, редактировали—Симонов, Прокофьев, Маршак (кстати, во время одной из бесед у него дома он говорил:—Надо быть смелым, но не нахальным, как...—и назвал известного тогда поэта С...).

Сельвинский считал, что сначала поэта должны признать мастера, а потом читатель,—если признают мастера, а читатель не замечает, значит, еще не очень точен «адрес» твоих стихов, еще не выражаешь мыслей и чувств современников...

Если признают читатели, а мастера—нет, значит, низки твои «художественные показатели»...

Нашему поколению повезло. Большие мастера учили нас. Признавали.

Признали и молодые, за нами идущие.

Пытались и мы продолжать эту эстафету дружбы поэтических поколений.

Как много (и строго, требовательно) работали с молодыми поэтами Михаил Луконин, Сергей Наровчатов, Сергей Орлов, скольким они помогли, скольких вывели «в люди»!

Появление нового—истинного—поэта—радость для всех—и для тружеников нашего цеха, и для читателей...

Но ведь надо уметь различать, кто—истинный, а для кого поэзия—«токмо легкомысленное занятие».

Повторяю: хотелось бы быть правильно понятым... Это—не «старческое брюзжание», а часть «итоговых размышлений» и—в чем-то—оглядка и на свой путь, на свои неудачи и трудности.

Маршак говорил мне в 1948 году:—Пишите и очерки, и рассказы... ведите многопольное хозяйство...

Я не внял мудрому совету.

Многого, сказанного мне старшими товарищами, я, к сожалению, не понял сразу, вовремя...

А в заключение вновь напомним знаменитые стихи Пастернака, которые—убежден—необходимо еще и еще раз перечитать каждому, кто вступает на трудную стезю литературы:

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью—убивают,
Нахлынут горлом и убьют!
От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.
Но старость—это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез...

Николай Флёров

ПОБЕДИМ В НАШЕЙ СВЕТЛОЙ БОРЬБЕ

Угрожая народам и странам,
Весь в горячке безумных идей,
Хочет атомщик за океаном
Уничтожить планету людей.

Но, свинцовые тучи пронзая,
Над запасами бомб и мортир,
Все летит голубиная стая,
Ободряя встающих за мир.

Притупите ракетные жала!
Победим в этой светлой борьбе!
...Посмотри, как мадонна прижала
Дорогого младенца к себе...

Светлана Гершанова

РАЗГОВОР НА БАМЕ

Он говорил о стройке века,
О капле своего труда:
— Есть мост в судьбе у человека.
Есть мост—и это навсегда!
Профессий множество, конечно,
Но знаете, ведь неспроста
Здесь штамп,
Чтобы хранили вечно
Документацию моста.
Вот он—бетоном и металлом,
Вот мера нашего труда!
А приходилось вам—с начала,
Со сваи—строить города?

И я тогда ему сказала:
— Нет у меня в судьбе моста.
Что до начал—
Всю жизнь сначала,
Как в пропасть—с чистого листа!
Совсем нелегкая работа,—
Еще ему сказала я...
А он:— Да вы пишите, что там,
Но уж хотя бы—без вранья...

И ночь моя была бессонна,
Был спор с самой собою крут—
Его—металлом и бетоном,
А чем останется мой труд?

Ведь даже в простоте сердечной
Не отыскать и пары строк,
Где штамп, чтобы хранили вечно,
Наш строгий век поставить мог...
Такие разглядеть бы дали,
Прийти к словам—таким простым,
Чтобы людей соединяли,
Соединяли, как мосты!
Не по плечу—а брать на плечи,
И снова—с чистого листа...

Есть штамп, чтобы хранили вечно
Документацию моста.

КОЛЕСО

Мы были чуть повыше колеса
На той войне.
И души наши помнят—
Разбитый дом,
И стены бывших комнат,
И матери безумные глаза...

Мы были чуть повыше колеса
Повозок
На дороге той разбитой,
Расстрелянной, сухой,
Непозабытой—
И помнить больно, и забыть нельзя.

А колесо огромное Судьбы
От наших судеб тяжести—скрипело,
И было невесомым наше тело,
Немыслимым, как «быть или не быть».

Мы дети не вернувшихся с войны.
Давно в земле лежат они, покоясь.
Но в нас они живут,
Живут, как совесть,
Со всею нашей жизнью сплетены.

Мы выросли.
Мы вынесли ее,
Свою судьбу, и в тяжести—прямую,
И жалость запоздала—
Не приму я,
Ни я, ни поколение мое.

А колесо огромное Судьбы
У наших лиц,
И мы теперь в ответе
За жизнь, за век,
За все про все на свете:
Быть небу черным или голубым!

...Они глядят доверчиво в глаза
И льнут ко мне,
Не представляя даже,
С чего так нежно
Волосы им глажу,—
Тем, кто сейчас чуть выше колеса.

Александр Потапов

ОТДЫХАЕТ ЗЕМЛЯ

Отдыхает земля.
На полях отшумели работы.
Кто б ты ни был,
А землю свою уважай.
Отдыхает земля,
Ненадолго забыв про заботы.
А в глубинах ее
Зреет будущий урожай.
Дышит даль глубоко.
И леса без листвы посветлели.
Праздник—день урожая—
Приходит в село.

А земля ощущает
Усталость приятную в теле.
Ей сегодня просторно,
Легко и светло.
Чутко дремлет земля,
Бескорыстно политая потом.
Белоснежный наряд
Ей старательно вяжет зима.
Отдыхает земля,
Вся твоим доверяясь заботам.
Не мешай ей заснуть!
Не тревожь!
Отдыхает земля...

* * *

Душистая черемухи поэмка
разносится весенним ветерком.
На луговину росную
с проселка
я повернул —
и к дому напрямиком.

Я сапоги,
что рыжи от суглинка,
неловко вытираю о траву.
Но слышу —
шепчет каждая былинка:
«Ты осторожней.
Видишь — я живу!..»

Вячеслав Байбаков

КРАСНЫЙ ПОЕЗД

Все никак не успокоюсь,
Не окликнуть, не успеть —
Красный поезд, Красный поезд
Мимо дома мчится в степь!
Эхо крику его вторит,
В небесах ветра горят!..
Красный поезд — это скорый
Из столицы в Волгоград.
Рад мартен ему как другу,
Только нет стоянки здесь.
Старый мастер вскинет руку
Над летящим светом рельс!..
А в полях летит в окошки
Свет цветенья, свет реки.
И идет девчонка стежкой,
Птиц вдогонку шлет с руки!..
Давний сон тревожит старца:
Бьет война по молодым,
В роте к вечеру остался
Белый свет и черный дым.
Поезд вскинул флаг атаки,
Встали вновь — за взводом взвод.
Слева танки... справа танки...
Жив ли тракторный завод?
Жив ли первенец, надежда?..
Жив. Но в самый грозный час
Мы — железнее. Он все же
Так надеется на нас!..

А в полях летит в окошки
Свет цветенья, свет реки,
И идет девчонка стежкой,
Птиц вдогонку шлет с руки!
Красный поезд, у Кургана
Ты минуту помолчи.
Ты спроси могилу — раны
Батю мучают в ночи?
Он — и воин, и рабочий —
Знал Бессмертия пути...
Поезд, к станции не ночью —
Рано утром подкати!
Вижу маму у вокзала,
Никого с ней рядом нет.
Слышу — матушка сказала:
«Где заветный твой билет? —
Сталинградский, с датой, часом,
В Волгоград, сквозь жизни степь?
Как ты, поезд, быстро мчался, —
Не окликнуть, не успеть.
Все никак не успокоюсь,
От тревоги — не до слез...
Отчего ты, Красный поезд,
Сына в праздник не привез?»

Анатолий Князев

* * *

Сельский клуб в отдаленной деревне.
Возле двери соломы стожок...
Там колхозница Дарья Андревна
Записаться решила в кружок.

Все смущалась она да робела,
Да смотрела куда-то в окно...
А когда потихоньку запела,
Стало в домике тесном светло.

Стала шире забытая тропка
Для парней и веселых подруг,
И девчата смущенно и робко
Потянулись в наш маленький клуб.

И застыла у серого сруба
Восхищенная бабка с козой.
И глаза у седого завклуба
Затянуло неожиданной слезой.

КЕПКА

Сидит осанисто и крепко,
Шальным не сдует ветерком —
Мне по душе простая кепка.
Простая кепка с козырьком.

Она приятна мне — не скрою,
Что суетливо не ярка...
Удобна простотой покроя
И прямою козырька.

Добротный драп — надежней фетра,
Ведь в этом убедились вы...

Ее лихим порывом ветра
У вас не сдует с головы.

Убор не броский не для франтов,
Рабочей чести естество...
Не зря в колоннах демонстрантов
Подобных кепок — большинство.

Ираида Потехина

НА РОДИНЕ

Только море и лес,
да рыбацкая эта избушка.
Заповедная глушь.
На сто верст ни жилья,
ни души...

Наша жизнь коротка,
сколько ни накукует кукушка.
Сладок воздух, но им
не надьшишься, как ни дыши.
Ненаглядна краса:
солнце алое в море садится;
вся из золота нерпа
меж зеленых играет камней...

Счастье выпало мне —
здесь,
на Севере русском, родиться,
быть живым продолжением,
веткой
могучих корней.

Михаил Фильштейн

* * *

Что родиной своей зову? —
Седой колодец у дороги,
Вобравший, словно синеву,
Вспоминанья и тревоги.

За домом — сливу, чьи глаза
Глядят незамутненно, чисто.
И ветер, гибкий, как лоза,
На желтом склоне каменистом.

Что родиной своей зову? —
Разъезд, где ветер сатанеет.
Сухую, колкую траву
И злое марево над нею.

За черной насыпью, в степи,
Которая в полыни тонет, —
Завод, что искрами слепит,
Качая солнце на ладонях.

Что родиной своей зову? —
Мой дом в конце дороги длинной.
Разноязыкую Москву
С Нескучным садом и Неглинной.

Метро, где поезда стучат
И где крестьянин и рабочий
Планету держат на плечах, —
В чем я уверился воочью.

Игорь Ляпин

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

Здесь глаза поднимает всякий,
И дивится, как с давних пор
Блещет золотом Исаакий,
Просвещенной Руси собор.

Был указ, чтоб не знал он равных,
Чтоб на солнце огнем горел,
Возвышаясь, как символ правых
И царевых и божьих дел.

Гениален заморский зодчий,
Но руками все ладил тут
Трудовой, до вина охочий,
Безымянный российский люд.

Светлоглазы, русоволосы,
В деле праведном горячи —
Землекопы, каменотесы,
Новгородцы да псковичи.

И когда увидали люди,
Что по сути-то храм готов,
Был указ, чтобы ртути, ртути
Не жалели для куполов.

Рассудить, так святое дело:
Ртуть поможет наверняка,
Чтобы золото прикипело
К меди купольной на века.

Ой ты, силушка винной бочки,
Воля в радости и в слезах.
Чуть заметны уже цепочки
Позолотчиков на лесах.

Так им дышится полной грудью,
Столько с храма видать земли!
Но дышали-то ртутью, ртутью...
И назад уже еле шли.

Их сменяли артелью новой.
И вставали окрест, просты —
Там березовый, там еловый,
Там осиновый — сплошь кресты.

В солнце плавилась позолота,
С бочки обруч слетал тугой.
Открывалась глазам работа
Ослепительно золотой.

И дивился народ, дивился
И как должно принимал
То, что батюшка прослезился,
Что юродивый причитал.

Храм крестом доставал до бога,
И гремела тому хвала.
До чего ж вас в России много,
Золоченые купола!..

ПЕТЕРБУРГ

России
слез и крови стоил
Петровский
зодческий талант,
Ведь царь
не просто город строил,
А всестатейно
ставил град.
Указы грозные крепчали,
Державной строгостью звеня.
Москву
с посада начинали,
А этот —
с крепости, с огня,
С гранита,
с каменной твердыни,
Еще не виданной вчера.
И дело было не в гордыне
Петра,
а в мудрости Петра.
Он придавал значенье граду,
Был жестким голос,
властным жест.
Он понимал:
сию громаду
Поднять немислимо
без жертв.
И что там ропот, что наветы...
У ледяных коварных вод
Царь шел осознанно
на жертвы,
Как под Полтавой
в бой пойдет.
То на коне мелькал,
то пешим
Взбегал, довольный, на мосты
И кулаком своим светлейшим
Умел заткнуть боярам рты.
Там слышал выкрики,
там — всхлипы,
Угрозам сдержанно внимал,
И скрип
работающей дыбы,
Хоть морщился —
не отвергал.
В боярах ли?
В народе — сила!
И тут темнел
державный взор:
Не просто смерть
людей косила,
А шел великий,
страшный мор.
Нет хлеба,
соли — ни щепотки,
В болотах
пропасть духов злых.
И до могилы
от чахотки

Нет расстояний никаких
Но грозен царь.
Он смотрит в оба,
И крайне прост
его расчет:
Та просвещенная Европа,
Дай промах,
мраком наползет.
И потому он верно знает,
На что идет
и что творит.
Его потомок
оправдает,
Коль он державу
укрепит.
Свирепый,
ярый враг бессилья.
Пусть скажут — крут,
пусть скажут — лют,
Но пропади при нем
Россия,
Будь трижды ангел —
проклянут.
И, в этих думах
возвеличась,
Века стоит он,
мудр и тверд.
И где история,
где личность —
Не всякий
сразу
разберет.

Лада Одинцова

ПОТОМКИ

Пока звезды далекой свет,
Несущийся без промедлений
Среди созвездий и планет,
Достиг Земли,
на ней уже
Сменилось много поколений.
И вдоль по рекам на меже
Окрепил и дубы, и грабы.
На половецком рубеже
Воссели каменные бабы.
Здесь на Донце и на Каяле
Шатры роскошные стояли,
И половецкие князья
Степным народом управляли.
Тысячелетие пройдет,
Здесь я пущу стрелу из лука.
А той стрелы свистящий лет
Непостижим, как скорость звука.
Здесь буду с братьями бежать
В степи — степной наш род и племя.
Дам брату дудочку играть,
Чтобы пошло на дудку Время.
Встань, смуглолицый средний брат!
Земля под солнцем кости сушит.
Расправься, молодой гепард,
Ступай решительней, упруже.

Когда-то конница неслась
 По этой степи прямо к Дону.
 Затмением Солнца околдован
 Был безрассудный русский князь.
 Но, разъяренный, словно вепрь,
 Князь Игорь, честолюбец храбрый,
 Пошел войной на эту степь
 В бой жертвенный и бой неравный.
 Каленых стрел был страшен свист,
 Булатных копий треск смертелен.
 Хоть веял от Азова бриз,
 Но пылью край весь был застелен.
 И реки мутные текли,
 Дрожащая земля гудела
 Под конским топотом.

Вдали

Зегзица над рекой летела.
 Поникла с жалости трава,
 Дружины русской пали стяги.
 И поседела голова
 Их брата, спутника отваги.
 Во сне на Киевских горах
 В канун сраженья пил отраву,
 И люди черпали сквозь страх
 Вино лихое Святославу.
 И пил он синее вино,
 И падал жемчуг из колчана.
 В Ущелье Слез всю эту ночь
 Вороны вещие кричали.
 И Солнце слышало, как мать
 Перекричала грой вороний...
 Брат может больше рассказать
 О той земле, где похоронен.
 Пока звезды далекой свет
 Стремится с несказанной силой,
 Пойму я, что дороже нет,
 Чем эти кровные могилы.
 И брат поднялся, молча встал
 И в дудку потихоньку дует.
 Какие скорбные уста!
 А мать следы его целует.
 Он мать под руки берет,
 Благие говорит посулы.
 Но половецкие ее
 В слезах — обветренные скулы.
 И в памяти непрочной, детской,
 Среди курганов в синей дали
 Степи ковыльной, половецкой
 Зарницы грозно замерцали.
 Беляночка средь украинцев
 (То кровь отца бьет исправно),
 По-северному белолица,
 По-южному дерзка и нравна,
 К своей степной родне пристрастна,
 Срываю стебелек пырея
 В межгалактическом пространстве,
 Куда пошло на дудку Время.
 Там астрофизики искать
 Начнут стрелу напропалую,
 Где с дудкой брат идет,

а мать —

А мать следы его целует.
 Садится Игорь на коня,
 Терзая золотое стремя,
 И скачет, скачет догонять
 Ушедшее за дудкой

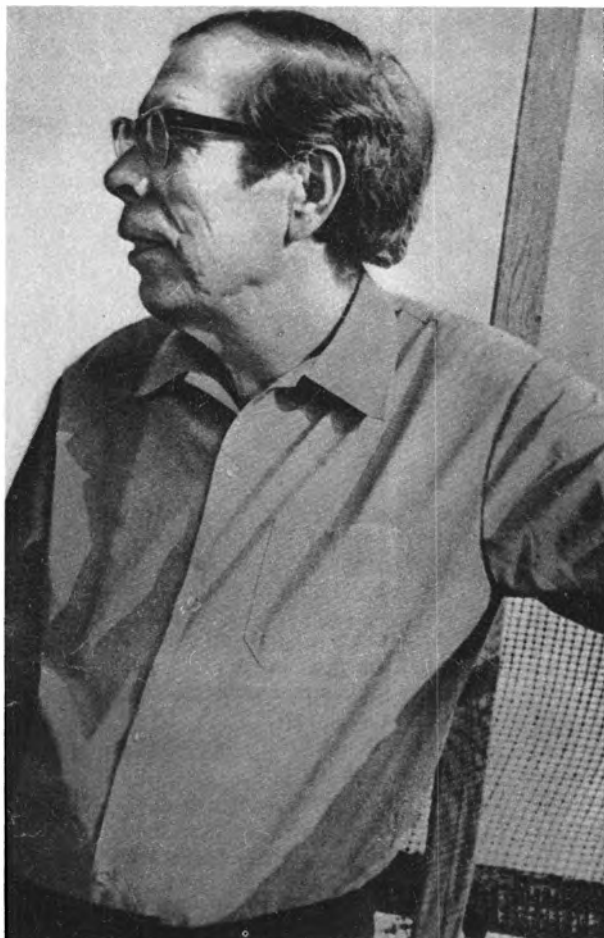
Время.

Петр Семьин

1909—1983

* * *

Леса, поля и воды,—
 Все пращур населил
 Таинственной породы
 Жильцами темных сил.
 Обманщица русалка
 Заманит под луной
 Любого—ей не жалко,
 И в омут с головой.
 А волосатый леший
 В бору игру начнет,
 Будь конный ты иль пеший—
 Закружит, изведет.
 Толкнет тебя в болото
 Иль в бурелом гнилой,
 Ему одна забота—
 Натешиться бедой.
 Но и в дому не режет—
 В запечье и в хлеву
 С людьми дурила нежить
 Во сне и наяву.



Петр Семьин

То, осердясь не в шутку,
 Вдруг ночью домовой
 Навалится и жутко
 Завоет над тобой.
 То глянет мимоходом
 В окно из темноты
 Мужик — урод уродом —
 Нагой до срамоты.
 Поманит девку тихо
 И скроется из глаз,
 А та себе на лихо
 Бежит за ним тотчас.
 Мужик тот вороватый
 И вовсе не мужик,
 Он вурдалак проклятый,
 Что кровь сосать привык.
 Лучинная Россия,
 Далекая страна,
 Поэзии стихия,
 Что и в цепях вольна.
 Среди птиц больших и малых
 Во ржи узрел народ
 И полевых русалок,
 Водящих хоровод;
 Пыльцою, как мукою,
 Покрытых старичков —
 Полевиков с клюкою,
 Похожих на сморчков.
 С лукавым этим миром
 Народ земли, нужды
 Старался ладить миром
 И не искать вражды.
 Те духи жили рядом,
 А православный бог
 Ни словом и ни взглядом
 Их утратить не мог.
 Лишь знахарка Лукерья,
 Свой наговор творя,
 Прижать умела дверью
 Ягу и упыря.

Александр Юдахин

БАБУШКА

1

Бабушка почти что девяносто
 в мире прожила.
 Все слыхала и видала остро,
 все его ждала.
 Сорок лет надеялась бабуля,
 каждый долгий год,
 что ошиблась вражеская пуля
 и сынок придет.
 Только, видно, пуля угадала —
 дядя мой не шел.
 До конца родимая страдала:
 тихо, хорошо
 умерла она в одно мгновенье, —
 сколько можно ждать?
 Но успела все долготерпенье
 внуку передать.
 Я живу теперь
 в сплошной тревоге,

сам, поди, отец:
 не могу заснуть —
 а вдруг с дороги
 завернет боец?
 Вдруг она права — вернется дядя,
 не погиб, живой,
 с орденами, словно на параде,
 и совсем седой?
 Пусть бы он и не такой вернулся:
 хоть без ног, без рук...
 Хорошо бы, чтоб на мне замкнулся
 этот страшный круг!

2

Светлая память о бабушке милой
 нежной травой
 проросла над могилой,
 ожил на солнце цветков полевой, с гамом
 грачи возвратились домой.
 Бабушка Маня любила природу:
 даже в Москве
 родниковую воду
 в белом бидоне
 я ей приносил
 из лесопарка берез и осин.
 Светлая память
 о бабушке строгой
 не позволяет мне
 сбиться с дороги,
 не разрешает
 душой покривить:
 драться так драться!
 Любить так любить!
 Светлая память
 о бабушке-няне
 в сыне моем,
 малолетнем Иване,
 вечно пребудет!
 Смотрю, как пацан,
 искоса глядя
 на мать и отца,
 денно и ночью бабулю рисует.
 Этот не выдаст. В беде не спасует.
 Бабушка знала,
 кому завещать:
 «Ваню учи
 понимать и прощать!
 Ты, понимаешь, — прощать не умеешь.
 Кто тебе в жизни,
 когда заболеешь,
 воду на старости лет
 поднесет?
 Ваню учи
 за сто лет наперед!»
 Как она правнука нежно любила,
 нянчилась, будто бы усыновила.
 Свет без него
 был не мил!
 Он ей игрушки дарил.
 Он рисовал ей
 мордашки кривые
 и приносил ей цветы полевые,
 с нею во сне
 говорил до утра...
 Первая память Ивана светла.

* * *

В День Победы
казалось,
что позади
все испытанья и беды.
Что сгинула Война
на все времена.
Что отныне
Мир будет сохранен,
как святыня,
и те, кто остались живы,
будут счастливы!

* * *

Все уже круг
друзей, подруг.
Душой мы те же,
но встречи все реже...
Годы разметали,
крутые горки укатали.
А раньше как встретиться было легко!
Любое место в Москве казалось недалеко.
Не бывало недели,
чтобы мы друг на друга не поглядели.
Все было вместе:
общие думы, общие вести.
Нас влекла не обязанность —
привязанность.
И содружество
придавало нам мужество.
Было нашим богатством —
братство!

ТЫСЯЧИ МЕЛОЧЕЙ

Тысячи мелочей —
тысячи трубочек
в трубы трубят,
за подол теребят!
Сделай это,
сделай то:
пришей пуговицу к пальто!
Заштопай на чулке дырку,
начинай стирку,
почисть картошку,
нарежь огурцы в окрошку,
вытри стол,
подмети пол,
вымой посуду —
зануду!
Белье лежит влажное —
неглаженое.
Холодильник размораживая,
пылесос налаживай,
почисть ковер,
берись за полотер!..

А если в доме не шьется,
не моется, не готовится —
жизнь остановится!

БАЛЛАДА О КОНЕ

Все получилось с перекрестка,
Где на развилке двух дорог,
Кнутом размахивая хлестко,
Я удержать коня не смог.

Добро бы конь какой горячий —
Так я озлился бы не зря.
А то на водовозной кляче.
И впрямь вез воду в лагерь.

Солдат — он подчинен приказу.
А я солдат был рядовой.
Коня не запрягал ни разу,
Но вот — послали за водой.

Сбивая шаг на каждой кочке,
Едва ногами семеня,
Он так тащился, что из бочки
Вода плескалась на меня.

Имел конек седую челку,
Сам черный, то есть вороной.
Но в этом было мало толку,
Поскольку конь — нестроевой.

Уж я его и так, и эдак,
А что от доходяги ждать?
Ему бы в поле напоследок
На воле травку пощипать.

Но тут зацокали подковки,
Как в кузне звоны молотка.
Гляжу, на рыжей полукровке
Проехал командир полка.

Ай да лошадка — просто диво!
Вся гладкая, как шоколад.
Подрублен хвост, волниста грива.
Колени вскидывает в лад.

В обгон прошла, и на развилке,
Где нам направо, в лагерь, —
Свернула влево, к лесопилке,
На солнце золотом горя.

Мой вислоухий доходяга,
Конек тот, вскинулся, заржал —
Какая в нем проснулась тяга? —
Мотнул башкой и побежал.

На этом самом перекрестке,
Сбив со спины зеленых мух,
Не чуя тяжести повозки,
Помчался влево во весь дух.

Я вожжи дергал с грубым криком,
Хлестал кнутом его, но он,
В своем отчаянье великом,
Неистовством был открылен.

Я потерял над ним управу.
Он вожжи вырывал из рук

И в придорожную канаву
Повозку опрокинул вдруг.

Он как-то вяло рухнул, боком,
И с бочки обручи — долой!
Упал и я в траву — потоком
Воды окачен с головой.

Солдатик, городской мальчишка,
Что делать? Встал я, мокрый, злой.
На лбу моем вздувалась шишка.
А конь лежал передо мной.

Лежал, уставясь в небо взглядом,
Последний свой пробег сверша.
И я стоял в испуге рядом.
И ныла горестно душа.

Я развязал чересседельник.
«Ну вот, — я говорил себе, —
Мне арест врежут трехнедельный
С отсидкой строгой «на губе»...

Лежал конек мой крутолобий,
И глаз, открывшийся навек,
Округлым был, как белый глобус,
С прожилками кровавых рек.

Александр Коваль-Волков

* * *

Летчики не умирают.
Они уходят в небо...

Война достреливает нас:
Прицел ее не сбить.
Володя Милюков угас.
Ему бы жить да жить.

На День Победы он ушел
Нежданно для полка.
Чернеет креп. Алеет шелк
На траурных венках.

И чтобы как-то облегчить
Страдания жены —
Мы боль стараемся делить
На всех, как в дни войны.

Почти сто сорок боевых.
Герой. Отменный ас.
Он и теперь среди живых.
К чему печали час?..

Кольцо кинжального огня
Все годы под крылом,
И, как по сердцу, бьет меня
Прощальных залпов гром.

А он — спиралью в вышине,
Уходит в облака,
И луч бессмертья на броне
Его штурмовика...

* * *

Юность — неосознанный запас
Лун и весен, ждущих впереди:
Возраст — если нет и двадцати —
Далью долгой жизни греет нас.

Словом, жизнь ползет,
А мы — летим...
Но однажды в зрелости пойдем:
Времени поток неотвратим —
Это жизнь летит,
А мы — ползем...

Ты себя пораньше обрети.
Прорисуй дорогу из дорог:
Вовремя не обретешь пути —
Жизнь пройдет сквозь пальцы. Как песок.

БЕРЁСТА

Лишь увижу на стволах берез
Завитки березы белопенной —
Школьные деревья в полный рост
Пред глазами явятся мгновенно.

Я любил под ними постоять,
Насладиться их прохладной сенью.
Завиток берёсты размотать
И взбежать вприпрыжку по ступеням.

Владимир Осинин

* * *

Земля наполняется к ночи
Густым полушепотом.
Тиха и огромна,
И сумрак над ней темно-бур.
В озаренье
Встают над городом
Грудные железные клетки
Пустых еще арматур.
И краны над ними,
Как птицы полночные, реют.
Завтрашних дней небоскребы
Пустое безмолвье хранят.
Скорее же, люди,
Вложите им сердце скорее!
Непостижимо тревожно
У бездыханных громад.

ПОЗИЦИЯ

Громом орудий
Заглушали нам уши,
Ослепляли глаза
Термитом,
Но мы научились
Сердцами слушать
И видеть то,
Что от зрения скрыто.

Мы судим о времени,
Может, сурово,
И голос наш
Ныне кому-то не мил,
Но только за нами
То самое слово,
Которому все мы обязаны,—
Мир!

Виктор Федотов

НА ЛИТЕРАТУРНОМ ВЕЧЕРЕ В РЫЛЬСКЕ

Лет сорок не были рядом друг с другом.
Глядят. Притаились в разных углах.
Она с удивленным вроде испугом.
Он с недоверчивым блеском в глазах...

А были: Тихвин. Вокзал. Дорога.
Шло отправление раненых в тыл.
Холодный вечер. Не думая долго,
снял шинель. Ей плечи укрыл.

До этого две невинных прогулки.
И вот расставание. И навсегда.
Без обещаний. Рельсы гулки —
по Руси грохочут санпоезда.

Теперь выходит — чего-то было,
что-то осталось в сердцах тогда.

Она, медсестра, его не забыла.
Он, раненный, помнил ее все года.

Но и при встрече не встали рядом.
С толпой смешались и он и она.
Чего успели, сказали взглядом.
Все в прошлом: Тихвин. Санпоезд. Война.

НИКОЛЬСК

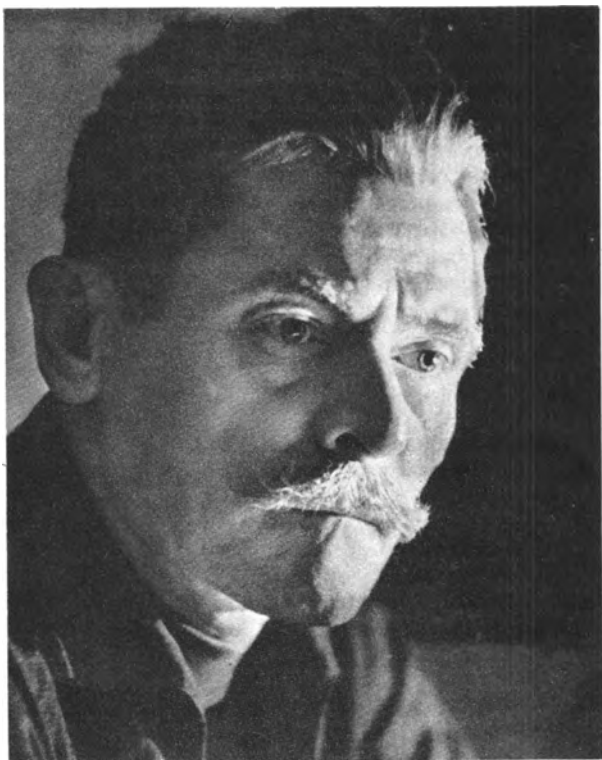
Вот и опять я в Никольске,
памятный вижу квартал,
все те ж тротуаров доски
и парк, где стихи читал.

Тихо спускаюсь с обрыва
к Югу — бегущей реке,
все здесь и чудо и диво.
Вот и душа налегке.

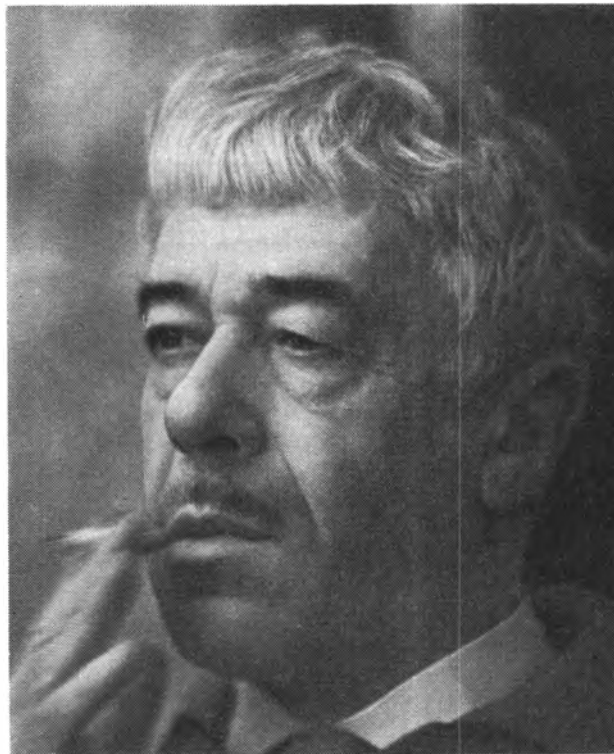
Край серебристых березок.
Джунгли цветов золотых.
А по какой из дорожек
ближе до дебрей лесных?

Много грибов там и ягод,
хочешь — косою коси,
травами под ноги лягут
в бисерных каплях росы.

Доброе, теплое лето
щедро до разных даров.
Родина сердца поэта,
яшинских летних стихов.



Александр Яшин



Семен Кирсанов

Николай Поздняков

ВОРОНКИ

Хожу я часто той тропой,
Где бомбы давние рвались.
Березы тесною толпою
Вокруг воронок собрались.

И мне теперь уже не странно —
Я вижу в том глубинный смысл,
Что там, где раньше были раны,
Деревья густо поднялись.

Что выше ставим обелиски
Над заживающей землей.
Живем заботою неблизкой,
Горюем близкою бедой.

Заране мучимся тревогой
О дне, что видится едва...
А корни глубоко-глубоко,
И высоко звенит листва.

Людмила Копылова

* * *

Каждое утро глазею на почку —
то-то разносит ее, точно бочку!

А материнская ветка крючком
в воздух вцепилась,
парным молоком
поит дитя на туманном рассвете.

Что тебе, ветка, зеленые дети?
Чтобы по осени наземь сронить?..
Тянется, зыблется в воздухе нить —
лист, пролетая, оставил отметки.

Ночью осенней — зоркие ветки.

КОМКАМИ ВОЗДУХА

Комками воздуха
с отвычки забросаю —
нет снега, чтобы вылепить снежок.

Перед порошей
дочь твоя босая
на горке встала.
Тоже как сурок.

За снег сошел и белый известняк.
Крошу, крошу —
не раскрошу никак!

И ты, и ты его не растолок —
в ответ бросаешь
воздуха комок.

* * *

Тихо. Влажно. И темно.
Сад течет в мое окно,
плещет веткой по стене.

И в жиле, как в глубине:

листья, перья и роса,
тишина и голоса
комарья, ветвей, зверья.

Уезжаешь? Это — зря.

Но тебя отыщет сад —
мокрой веткой наугад
проведет по голове.
Точно ветер по траве.

* * *

И август на исходе. Но олень
воды в Оке не портит почему-то.
Крыжовник — на кустах. Земле не лень
в отаву превращаться поминутно.

Грачи грушовку слабую трясут.
У старых облупилась краска с клювов.
Песком надраен солнечный сосуд
и медью ослепляет жизнелюбов.

Артур Корнеев

О МУЖИКЕ...

О, просвещения просторы!
Глядь, и у нас кому-то мил
мужик, не тот ли уж, который
двух генералов прокормил?
Мол, он и есть
всему основа,
как эта почва и вода,
весь — для земного —
земляного! —
беспрекословного труда.
Ему он — жизнь,
ему он — воздух,
и смысл труда —
в труде самом,
един —
что на поле колхозном,
что на каком-нибудь
ином.
Где б ни пахать —
мужик отпашет,
лишь этим долю обретя.
Потом, счастливый,
в землю ляжет —
ее смиренное дитя...
Но нет!
Заврался, брат-философ.
В ином призвании обвык,
весь от земли,
как Ломоносов,

обычный,
 мыслящий
 мужик.
 Землей не согнут,
 смел и статен,—
 с землею связь его не та!—
 не согласится надрывать он
 живот
 во имя живота.
 Он, веря в землю,
 верит стойко:
 Коммуны вырастут дома!
 Он у земли учился столько,
 что и самой ей даст
 ума.
 Что власть земли?
 Покуда поле
 родит по нашей воле хлеб,
 не быть ей смертной и слепую
 для тех, кто смертен,
 но не слеп!
 О добром мысля,
 человечном,
 товарищ, в истину гляди
 и в ту, что в дедовском,
 извечном,
 и в ту, что вечно
 впереди!

Борис Рахманин

БУКЕТ

Мой друг, проснувшийся чуть свет,
 плеснув воды на дне стакана,
 создал невиданный букет,
 сказав с улыбкой: «Икебана!»
 Букет, всем нормам вопреки...
 Сияла в нем красой невинной,
 стыдливо сдвинув лепестки,
 ромашка с желтой сердцевинкой.
 Затем была помещена
 в стакан
 сухая ветка дуба,
 похожая на колдуна,
 которому ромашка любя.
 Затем... Но все— уж места нет
 в стакане, как в стеклянной клетке.
 Мой друг, не скромн ли букет?
 Один цветок в придачу к ветке...
 Но не согласен с этим друг.
 Он по-другому полагает.
 Все, что находится вокруг,
 включить в букет он предлагает.
 И стол, и стульев шесть крутых,
 магнитофон, такой речистый,
 бананов зрелых золотых
 десятипалую ручищу,
 из холодильника вино,
 искрящееся алым светом,
 и в сад открытое окно,
 и сад, естественно, в окне том,
 любое малое село,
 столиц мосты и парапеты,

весь край,
 похожий на чело,
 на философский лоб планеты,
 и космос, черный, как сапог,
 в сиянии пылинок звездных,
 и космолета пузырек,
 в котором голубеет воздух...
 Не вспомнить мне сейчас всего,
 назвал я только половину...
 Ах, не сломать бы нам чего,
 неловко
 локтем бы не сдвинуть!
 Пускай затихнет дальний бой,
 дитя забудет пусть про шалость,
 ни криком чтобы, ни стрельбой
 гармония не нарушалась.
 Чтоб соловья ночная трель
 была полна такой же страстью,
 чтоб сад в окно на нас смотрел
 глазами, влажными от счастья.
 Чтоб звездный рой над головой
 стоял, сияя в лучшем виде,
 сучок чтоб, черный и кривой,
 ничем ромашку не обидел.

Надежда Кондакова

* * *

Мир возник, лишь я стекло протерла
 И сняла холодные очки—
 Роем звезд потек шершаво в горло,
 Хлынул светом в узкие зрачки.
 На виду черемухи вчерашней,
 Ядовито выкинувшей цвет,
 Мир возник безумный и бесстрашный—
 В неживой коллекции планет.
 Пахло садом и тяжелым зноем,
 Мороком распавшегося дня,
 И хотелось сохранить родное,
 Уберечь живое от огня.
 Но огонь, отчаян и неистов,
 Как на лапах выгнувшийся зверь,
 Угрожал кусту калины мгlistой
 По дороге в Муром или Тверь.
 Шел огонь безудержно сквозь сети,
 Не пугаясь полноводных рек,—
 И была калина перед этим
 Беззащитна, словно человек.
 И вдали черемуха взлетала,
 Под огнем осыпавшись на треть.
 И чем громче эхо хохотало,
 Тем сильнее хотелось жить и петь.

ИЗ ЦИКЛА «СТАРЫЕ СКАЗКИ»

I

Я знаю, скажут обо мне:
 Лукавая жена.
 Но кто бы знал, что лишь во сне
 Тебе я не верна.

Что лишь во сне есть дом и сад —
Будь проклят этот сон! —
Уже пятнадцать лет подряд
И тысячу времен.
А тот один, кто виноват —
Один, один, один, —
Уже пятнадцать лет подряд
Здоров и невредим.
Читает книги,
Пьет вино,
Не верит даже в ад! —
Но по ночам идет за мной
Пятнадцать лет подряд.
Не важно где, не важно как —
Я чую трепет рук,
Я вижу тень,
Я слышу шаг —
И просыпаюсь вдруг.
Будь проклят день и проклят час —
Кошья злая мгла,
Когда соединила нас
Смертельная игла:
Игла — в яйце,
Яйцо — в утице,
Ну а я в венце —
На распутице.

II

Не звезды хрустальные плачут
Над елками в темном бору, —
Я плачу, а звезды судачат,
Как холодно ждать на ветру.

Мы встретимся вновь на исходе
Хрипящей простуженной тьмы,
Когда отпускают поводья
Стеклянные кони зимы.

И, в холод врываясь с разбега,
Здесь будут березы опять
Над зеркалом русского снега
Румяные лица склонять.

И будут созвездия — плавать,
И серые волки — кружить,
А красная девица — плакать,
Но все-таки с молодым жить.

* * *

Ах, как же легко катилось
По первому кругу в жизни!
Пелось. Смеялось. Снилось.
Плакалось в укоризне.

Как каторжники цепями
Привязанные друг к другу,
Теперь мы — и я, и память —
Идем по второму кругу.

Нам все бы начать сначала,
Но прошлое — чтоб продлиться —
Вдруг в горле комком застряло,
Казенное, как больница.

Огонь отпылал вчерашний,
И ясно сегодня стало:
По третьему кругу — страшно,
По первому кругу — мало.

* * *

Сергею Есину

Словно медом тяжелые соты,
До краев наполняется день
Зверобоем, сурепкой, осотом
С черной шапкой шмеля — набекрень.

Но, прописанный в этих пределах,
Что ты, в сущности, знаешь о том,
Почему все капустницы — в белом,
А пчела, как всегда — в золотом.

Почему и у слов есть такая
Потайная, холодная ложь:
Поглядишь на пыльцу — золотая,
А внутри — червоточина сплошь...

Дмитрий Сухарев

* * *

Дитя мое, голубушка моя,
Кого, каким словечком образумим?
Прости отца, коль можешь: это я
Повинен в том, что этот мир безумен.

За боль свою прости! Ее унять
Я не могу единственно по лени,
Не может быть, чтоб я не смог понять
Твоей болезни суть, твоей мигрени.

Да, мир безумен и болезнь проста.
А я — я был футбольною трибуной.
А ты спросила медленно: «А та —
Та мегатонна, кто ее придумал?»

А я ответил: люди. «Но зачем?!»
Зачем... Зачем я раб пустого звука?
Зачем тщета моя важнее, чем
Беда твоя, и боль твоя, и мука?

Зачем я так беспомощно стою
С таким тупым бессилием во взгляде,
Когда, вложивши голову свою
В мою ладонь, ты просишь о пощаде?

РЕПИНО

Э. Дубровскому

Проснусь — на фрамуге синица.
Но чьи там тяжелые вздохи?
Спускайся! На блюде — водица,
А подле вчерашние крохи.
Я знаю, у вас голодуха.

Ободри подружек, присвистни!
Так ветрено в мире и глухо,
И ветки под снегом провисли.

Проснусь — и возврату в спирали
Порадуюсь, словно свирели.
Ах, как бы витки ни сгорали,
А все-таки все не сгорели,
И снова влетает синица,
И снова над Финским заливом
Светает, и снова страница
Светлеет в бессилье счастливым.

Но кто там так тягостно медлит?
Чьи тяжкие вздохи с порога
Доносят, как невода петли?
Постой же. Помедли немного.
Очнусь — у меня на фрамуге
Пичуги. Притихну — и снова
Влетают мои недотроги:
Там корочка сала свиного.

Но кто там стоит на пороге?

Герман Валиков
1927—1981

УЧИТЕЛЬ ВОСПИТАЛ УЧЕНИКА

Памяти А. И. Гритчука

Учитель мой на скрипочке играет,
Шалит, с чего незнамо зачудив,—
В который раз выводит, вытворяет
Один и тот же яростный мотив.

И от шальной мазурской этой пляски
На липах слезы светлые висят,
И плачут стекла старенькой терраски.
Все створки настежь — он играет в сад.

Играет так — скрипчонка хуже нету,
Смычок такой — господь не приведи...
Но, боже правый, до чего за это
Его люблю... До музыки в груди.

До самой тайной музыки — в печенках,
До расслабленья разума и сил,
Люблю и чту превыше всех ученых
И всех бессмертных, чтимых им светил.

А он играет зло и неумело,
Перезабыл давно что и умел...
Он не играл, он делал свое дело.
Да боже мой, в своем ли он уме?

Играет, будто век напрасно прожит,
Тоска берет от этой плясовой.
Фальшивит вкрик, унять себя не может,
Неукротимо врет, как сам не свой.

Играет худо, плохо до страданья.
К чему играет? Что тут за каприз?
Да ты не мне ль выводишь в назиданье:
Не за свое, мол, дело не берись...

Старик чудит... А кто его осудит?
Он жил всерьез, он жил, а не чудил.
Давно, как надо, дочку вывел в люди,
Как надо, впрок деревья посадил.

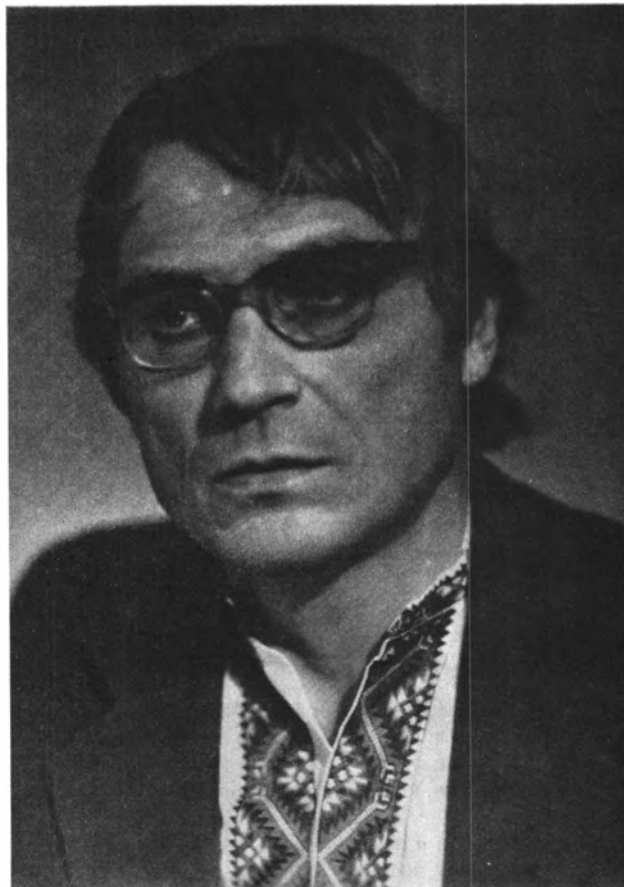
А сад молчит... Звучат лишь капель точки
Да всхлипы лип доносит ветерок.
Да шепоточки где-то в уголке...
Уж не к концу ль идет его урок?..

А он взарез играет, ошалело —
Как над собой юродствует со зла...
О, не балуй, — твое ли это дело?
Угомонись!.. Судьба твоя светла.

Согласно всех известных людям правил
Ты сделал все, что должен человек,
И даже то — считай, уже оставил
Ученика, влюбленного навек...

Ученика — не в том известном смысле,
Что крепко вбит в меня его предмет
(Да нас таких поди и не исчислишь,
Таковыми нами полон белый свет!),

А в смысле том, где не наука целью,
А то, чему так трудно научать:
Труд — от игры,



Герман Валиков

Свободу — от безделья,
Дела — от слов
сурово отличать.

Добро — от зла,
Ухмылку — от улыбки,
Жизнь — от житья,
Бойницы — от окон,
Предмет — от тени,
Рамы скрип — от скрипки,
От славы — честь,
Портреты — от икон...

* * *

Нет ничего темнее тьмы
В двенадцать из окна больницы,
Когда снега летят летями,
Спеша в сугробы завалиться.

Небось и мне давно пора...
Давно, наверно, заедаю
Я чей-то век... А жизнь мудра,
Стоит себе, не уводя.

Мне заболеть бы в сорок лет,
А на шестом десятке — поздно.
Себя менять — расчету нет,
А соль на сахар — не серьезно.

Что толку на излете лет
Всерьез предаться соблюденью
Неукоснительных диет
Еды и сна и поведенья?

Сперва от соли откажись,
От табака, конечно, тоже...
Моей ли будет эта жизнь,
Или в чужую влезу кожу?

Пораньше залезать в кровать?
Не лезть в ответчики да в судьи?..
Свои привязанности рвать —
Не тегиву ли рвать по сути?

Живу как жил, и ясно всем —
Свое беру, а не ворую...
Тогда и чей-то век заем,
Когда за жизнь примусь вторую.

Феликс Чуев

УВОЗЯТ БРАТА САШКУ

Былая жизнь — совсем не голубая.
Семнадцать мне. Ему-то шесть всего.
В окне вагона Сашка проплывает,
блестят глазенки взрослые его.

Стекло в закато стынущем горниле.
Ползет по раме пыльная оса.
Три лета мы как маму схоронили,
четыре года нет у нас отца...

Увозят к дядьке. Мне учиться нужно.
Я знаю — заберу его потом.
Тридцатого июня было душно,
и руки пахнут Сашкиным теплом.

Я шел по шпалам. В небе ледяные
белели самолеты надо мной.
Я шел домой, и полосы стальные
тянулись долго-долго за спиной.

Как будто я к ним накрепко привязан
и на себе отныне поволоку
дорог и дней грядущие рассказы,
и я в них долго буду одинок.

Теперь на мне и жизнь моя, и Сашка,
и кем мне быть, и целая страна,
которой тоже с детства было тяжко...
И я не знал, крепка ль моя спина.

Игорь Жданов

ОСЕНЬ

Нам и ветер
Еще ни о чем не допел,
А уже замечает следы
Слишком ранней зимы
кристаллический мел
Не предвиденной нами беды.
Завершается осень, летя впопыхах
Желтым тленом под оси колес,
И, чернея, кончается жизнь в лопухах,
В обнаженных радарах берез.
Нам и вольность
Еще по плечу, по уму,
Нам и сила еще — за двоих!
Но прорвавшийся холод
ничем не уйму,
Не прикончу пробившийся стих.
Значит, нам остывать
На снегу, на юру.
Значит, нам леденеть на ветру!
Я холодную душу
В комок собираю,
Чтоб она затвердела к утру.

* * *

Ты моя, как бы ни было плохо,
Сколько б там ни осталось страниц,
Ты моя до последнего вздоха,
До прощального взмаха ресниц.
Ах, пути эти были б короче,
Если б встреча случилась скорей...
Я люблю эти желтые ночи,
Эти дачи в чаду фонарей.
Стылый мрак опустевшего сада,
Дом — фрегатом идущий ко дну,
И медлительный звон листопада,
И медальную эту луну.
И в уюте случайного крова

На последнем моем берегу
Я простое и тихое слово
Для свиданья с тобой берегу.

* * *

Вот и кончилось время ошибок,
Начинается время удач,—
Я еще не отвык от ушибов,
Жив—и даже ненужно горяч.
Но смягченными стали провалы
В глубину, в пустоту,
в немоту,
Потому что,
седой и усталый,
Я провал
за провал не сочту.
Не сочту за победу—победу,
Не сочту за любовь—суету,
Не ступлю по готовому следу,
Журавля не убью на лету.
Я безжалостен был—и, признаюсь,
Понаделал невиданных бед,—
Мне не надо цветов и оваций
За обычное дело побед.
Что гадать теперь—
выйдет, не выйдет,
Если все на земле—по плечу.
Мне так мало осталось предвидеть,
Что предвидеть уже не хочу.

Анатолий Софронов

ПОЭМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Фрагменты

Как долог
и как вечен
этот спор,
Спор вёсен, жизни
с холодом и смертью,—
Как расстояние вершин
далеких темных гор
До зелени степей,
что глазом не измерить.
Что жизнь есть?
И что есть смерть?
Скажи!
Поведай людям,
если только сможешь?!
Какие между ними
рубежи?
Похожа жизнь на смерть
иль все же не похожа?
Но как же можно спрашивать
о том,
Что в ряд,
как ни хотел бы,
не поставишь!

Как старый дом,
а рядом новый дом
Похоже жить друг с другом
не заставишь.

А может, это все
риторика одна—
Могла ли жизнь такою быть,
как космос бесконечна.
И не было б зимы,
как у колодца дна,
А лишь весна...
Весна б звенела вечно...
Какая ж тут риторика?
Мы думаем о том,
Как хорошо бы смерти
избежать нам?!
И жить да жить,
мечтая об одном,
Чтоб были крепки
наших рук пожатья
И чтоб трава,
росла на всех лугах трава,
И чтоб планета
в мирный цвет
была одета...
Одна весна?
Всего одна весна?
Никчемные слова.
А как же быть нам
с подступившим летом?
Ведь и без лета—
жизни просто нет;
Нет урожаяв,
нет плодов и зерен...
Но если это так—
уже готов ответ,
Что жизни ход
мечтаньям не покорен.
К какому же ты выводу
придешь?
Что жизнь и смерть—
пусть разные,
но сестры.
Ответа ты другого
не найдешь.
От колыбели путь один—
к погосту.
Продленье жизни.
Вот вопрос какой—
Все поколения
кровно беспокоит.
Столетия пройдены.
Примеры под рукой.
А все еще не знаем—
что же жизнь такое!
А жить так хорошо!
Дышать травой и морем!
Любовью! Страстью!
Думами!
Трудом!
Но вот к тебе подкрадывается
горе...
И это тоже жизнь,
хотя ты в горе том.
И ты с дороги не свернешь!
Ты не исчезнешь...

Минуешь горе.
Жизнь хороша!
И как бы ты ни жил — ты жил не бесполезно,
А горе постепенно вытянет душа.
Так все идет... А дрожь?
Она уймется.
Друзья твои с тобой стоят
к плечу плечом,
Когда-то в первый раз вам вышло повстречаться,—
С тех пор вы рядом. Остальное нипочем.
Теперь ты это все уже не вспоминаешь,
Лишь каждый день читаешь главы ты
Из книги Жизни, наизусть ты знаешь,
Где улыбнуться, где застыть до немоты.
Землею этой много прошагал...
Живешь, о прошлом даже не жалея;
Что было у тебя — ты жизни все отдал,
По разным поводам от жизни той шалея.
И все же это жизнь... А что такое смерть?
Сумеешь ли ты на такой вопрос ответить?
Решишься ли? Захочешь ли посметь,
Еще и сам живя на этом свете?
Но не о том сейчас ведется разговор.
Да, мы живем, но смерть отлично знаем;
Но не она сама выносит приговор:
Никто из нас к ней сам не прикасаем.
Вчера ты жил... Да что вчера?
Сегодня.
Последний стон... За сердце не успел схватиться.
Глаза тускнеют, но ты их к небу поднял.
Напрасно. Рубеж.
Столб полосатый.
Последняя граница...
Как странно... Все десятилетия

Земле своей, народу,
людям отдал...
Когда-нибудь... Потом...
Еще тебя заметят
И скажут: «Вот человек был...
Горная порода!»
Как будто бы знакомые слова,
И ты их произносишь и другие;
Слова похожи, как дрова,
И все ж в них что-то есть от хирургии.
О, двоедушие!
Как все же научить риторике служить,—
Как колокольный звон звучат слова иные.
А если жить... А если просто жить,
Как люди все, обычные, земные?
Да что бы сделать? Что бы сотворить,
Чтоб честно жизни шли, а смерть была подальше,
Чтоб как-нибудь, но мы могли забыть,
Как появляется неправда рядом с фальшью...
Ведь ясно всем, что ты не отделен
От тех, кто дал тебе свободу честно мыслить.
А впрочем, недостаток есть, вот им ты наделен —
Был цельным ты и не инакомыслим.
Ты жизнью всей — с друзьями — не один,
Завоевал святое
это право.
Пиши спокойно: «Да, я гражданин,
И жизнь свою я не делил на главы!»
А вдруг тогда и отдалится смерть...
Нет, нет бессмертье невозможно —
Без смерти жизни б не было и нет —
Закон для всех, как кодекс непреложный.
И все же оду смерти я не буду петь,—
Каких людей изгнала смерть со света?!

Да,
 есть другие...
 Но ушедших нет!
 Кто виноват?
 За это кто ответит?
 Сменились поколения
 давно.
 Но не раскрыты
 многие сюжеты!
 Стою,
 смотрю
 на белый снег в окно —
 Заснежены
 ушедшего
 приметы.
 Кто умирает тихо —
 лет до ста
 Десятка два
 всего лишь недобравши.
 Все позади.
 Не жизнь — красота,
 С тех пор
 как перешел на кашу.
 И панихида...
 Все, кто надо, — здесь.
 Ораторы со вздохом
 вспоминают —
 Какой был человек —
 добром светился весь.
 Теперь все в прошлом...
 Что еще добавить?
 Ведь все, что мог, —
 оставил людям он;
 Все на виду —
 ничто тут не отринешь;
 Какая жизнь —
 такая смерть —
 таков закон,
 Как говорят у нас —
 благополучный финиш.
 Казалось, был обычен...
 Сколько в слове том
 Заложено
 и глубины и смысла;
 Да мы обычны все
 в одном строю литом,
 Пока не делимся
 на группочки и числа.
 Обычны ль люди?
 У кого какой разбег?
 Не сразу жизнь
 ответ на все приносит.
 А если вырывается
 из ряда человек?
 А если кто-то
 этого
 не сносит?
 Как быть тогда?
 Ломать какую дверь?
 Что ожидать?
 Кого хватать за горло?
 А если тот, который
 все же зверь,
 Держался сколько мог —
 и вот его поперло?
 Где здесь законы жизни?
 Жизнь где сама?

Ведь человек рожден
 для счастья и полета?
 А если счастья нет?
 А жизнь свела с ума?
 Сама свела?
 Или виновен кто-то?
 ...Печальный ряд могил...
 Зеленая трава —
 Как символ вечной жизни
 у надгробий.
 Нужны ли здесь
 плакатные слова,
 Ведь к смерти их
 ничем не приспособить?
 Тебя ведь тоже здесь
 заруют глубоко,
 И руки на груди тебе
 спокойно сложат;
 Ты отлетал свое
 и ввысь,
 и далеко,
 И вновь взлететь уже
 из-под земли не сможешь.
 ...Что жизнь есть?
 И что есть смерть?
 Скажи.
 Поведай людям,
 если только сможешь.
 Какие между ними
 рубежи?
 И схожа жизнь со смертью
 иль не схожа?..

Анатолий Парпара

* * *

Перевожу поэтов Палестины
 И чувствую бессилие свое,
 Чтоб воссоздать бейрутские картины:
 Разруху, мор, на трупах воронье...

Сажусь писать, но предо мной маячит,
 Блокнот вполне реально заслоня,
 Уставший плакать, обожженный мальчик,
 Похожий детством горьким на меня.

Постой, малыш, не порывайся к маме!
 Ей приказала голубая смерть
 Бессмертными и чистыми глазами
 В родное небо без конца смотреть.

Постой, малыш, не выходи к дороге!
 Там видишь ноги в жестких сапогах?
 Они уже перешагнули многих.
 И ты для них — ничтожество и прах.

Скорей ко мне! Скорей, мой черноглазый!
 Летит снаряд. Взрывается... Ложись!
 Не в жизни — так в стихотворении — обязан
 Спасти тебя.
 Так мне спасали жизнь.

Перевожу поэтов Палестины.
Ни сердцем, ни умом не устаю,
Как будто детства горькие картины
Из пепла наяву воссоздаю.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Андрею Дугинцу

По главной улице деревни
Идет неспешно человек.
В глазах веселых — полдень летний,
На волосах — бессмертный снег.

Подходит он к гранитной стеле,
Цветы кладет... Его друзья...
Он вспомнит их — и взор застелет
Непрошенная слеза.

Он грустит. Но дети, дети
Его легко затормошат.
Он улыбнется. Полдень летний
Пахнет прохладой на ребятам.

И снова улицею главной
Идет, не пряча торжество...
Три сопредельные державы
Своим героем чтят его.

Шагает он, не очень видный
И не похож на старика.
Еще живой свидетель битвы,
Какой не ведали века.

Владимир Семакин

ОНИ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ

Под елью или явором
вздремнут — и в путь-дорогу.
Они и бога — к дьяволу,
они и черта — к богу.

Из лучших наилучшие,
не за себя — за нас ведь
они готовы — в случае
чего —
геройски,
на смерть.

Когда ряды их таяли,
никто не слышал стона.
В обоях не оставили
ни одного патрона.

Лежат, огнем посечены:
свою теплинку в теле,
бесстрашные, беречь они,
как видно, не умели.

Ушли, числом несметные,
отважны и красивы.
Не о своем бессмертии
пеклись, а о России.

Ушли, но враг отъявленный
забудет к нам дорогу.
Они и бога — к дьяволу,
они и черта — к богу.

Они сражались, лучшие,
за Родину, за нас ведь,
они стояли — в случае
чего —
как видишь, насмерть.

* * *

Не поднимутся дивизии
с отвоеванных полей, —
полегли, а не унизили
блеска доблести своей.

Что стряслось — не переделаешь,
хоть себя, хоть небо крой:
поколенья поределого
не сомкнется полный строй.

Доказало поколение,
перейдя поля войны:
мы, до белого каления
доведенные,
грозны.

Враг — открытый ли, иуда ли —
знает — как ему не знать! —
нам ни мужества, ни удали,
если что, не занимать.

Шли бойцы, скупясь на жалобы, —
что смогли — перемогли.
Им бы землю не мешало бы
увидать из-под земли,

увидать бы в цельной целости
свой, куда ни повернись,
русский край, где нашей смелости
не поставлено границ!

И ожить во внуках-правнуках,
в смене смен очередной,
на завидных ихних праздниках
вспыхнуть искоркой живой.

* * *

Я про давнее чувство пишу.
До сих пор оно, первое, свято.
А не сходим ли мы к шалашу,
где всю ночь просидели когда-то?

Не настолько Земля велика,
и, хотя в городах многолюдно,
мне — землячку, тебе — земляка
повстречать на планете нетрудно.

Нам покажется пепел живым,
только стоит ему шевельнуться,
но прошло столько лет, столько зим...
Нам уже ни к чему не вернуться,

перебитому то ли войной,
то ли встречей с другим человеком...

Между этой и давней весной,
отдаленной почти полувеком,
изменилось течение реки,
и в чащобах, редяющих явно,
слышу, звонки не все родники,
а уж наша-то песня давно.

Ни твоей, ни моей головы
не коснется и кроха укора.
На земле не бывает, увы,
ничему никакого повтора.

Где мы были в своем шалаше,
там, поди, уж не лес, а бульвары
и навстречу — другие уже —
еще пылче влюбленные пары.

Посчастливит ли, нет ли другим?
Ну а мы не осудим бывшего
и оставим навек дорогим
все, что было у нас дорогого.

* * *

Приблизенью ледохода
не нарадуется кровь:
просыпается природа,
омоложенная вновь.

И, вдыхая запах талый,—
он всю землю воскресил,—
спать ложусь вконец усталый—
просыпаюсь полный сил.

Сколько солнца на обоях!
Было не было темно,
просыпаюсь — голубое
небо ломится в окно.

Как предвестье вдохновенья,
день разведрился с утра—
и летят его мгновенья,
словно сколки с топора.

* * *

В клочья оболочка—
выстрелила почка,
выпорхнул голубчик—
лист веселый, в рубчик.

Из весны да в лето
выпорхнул бедово.
Уж не я ли это
народился снова?

Снова родился,
в мире утвердился.
Жизнь очередная—
вся судьба иная.

Всё мне — как впервые:
лес, поля и речка,

воды стрежневые
из кольца в колечко.

Может, сонмы павших,
жизнь за жизнь отдавших,
выйдут в эти травы,
снова живы-здравы.

Будет всё, как было:
полсела верну,
мамочку Людмилу
Николаевну,

юную, родную
грешницу Людмилу
сам уговорю я
не сходить в могилу.

И не потеряю
ни на хлеб талонов,
ни людскую стаю
в двадцать миллионов.

Все верну потери,
чтобы в наши двери—
больше ниоткуда
никакого худа!

Павел Елфимов

НОЧНАЯ СМЕНА

В окошке — неба отраженье:
Стою на млечной полосе!
Мой пресс в рабочем напряженье
И ночь — в железном колесе:
Кружит, кружит ночную смену
Неустающий маховик.
И трудовому кругу цену
За тридцать лет я знать привык.
А жизнь кратка невероятно!
А в бесконечности времен —
Летят Луна, Сатурн, Венера.
И цех моторами ревет.
И соразмерны измеренья,
Где беспределен интеграл:
Соха, Лопата, Озаренье —
Ума космическая грань.
О, работающий день завода...
Пускай оплавится душа
О кромку нового восхода,
Необычайное верша!

* * *

У России нету малых дел.
У России все теперь огромно:
И леса, и пламенные домны.
Мировой — таков ее удел.
Нет в России маленьких людей,
Потому гармония завидна:
В трудовом кипенья наших дней
Всей Земле лицо России видно!



Дорогой Владимир Алексеевич!

Вы уверенно и неторопливо вошли в литературу и расположились в ней с крестьянской основательностью и надолго. Поэт, прозаик, публицист, критик,— своей разносторонней творческой деятельностью Вы завоевали широкое читательское признание. Здравый смысл народа, отшлифованный веками, придирчиво и кропотливоверяющий ценности культуры и современности,— вот стержень Вашего таланта, Вашего творчества.

Мы сердечно поздравляем Вас с шестидесятилетием, желаем новых трудов и новых успехов!

Редколлегия

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

I

Сыплется песок в часах песочных.
Струйка, право, тоньше волоска.
Над ее мерцанием худосочным
Масса,
Толща плотного песка.

Я бы счел задачей невозможной
Счет песку, как мелкая пыльца.
Этой стружкой, право же ничтожной,
Век ему не вытечь до конца.

Он еще пока незыблем явно
За стеклом в футляре и в руке.
Но уже ворончатая ямка
Появилась сверху на песке.

Сыплются песчинки— вот причина,
Льются в бездну нижнего стекла.
Только это вовсе не песчинки,
Глядь-поглядь, минута утекла!

Исчезают, падают мгновенья,
Что бы ты ни делал, все равно.
Жутко— непрерывного теченья
Никому замедлить не дано.

Ты в кино, на пляже, на охоте,
В шахматы играешь, пиво пьешь,
Спишь и ешь... Они всегда в работе.
Ни одно обратно не вернешь.

Жизнь течет. То лег, а то проснулся.
Пишешь. Любишь. Голоден и сыт.
Чуть забылся, только отвернулся—
Года нет!
Работают часы.

Остановишь? Спрячешь? Черта в стуле!
Плачь не плачь, не сделать ничего.
Бездной вниз часы перевернули
В день и час рожденья твоего.

II

Поезду кажется, что земные пейзажи
Мчатся мимо него,
Скользят за окнами,
Плывут, содрогаются и летят.
Убегают в безвозвратное прошлое,
Так что кустик каждый
Никакими силами не вернешь назад.

Песчинкам в песочных часах представляется,
Что стеклянные стенки
Все время несутся куда-то вверх,
Словно ткется бесконечная нить.
Утекают,
Ускользают,
И никакими силами
Их невозможно остановить.

Нам, на земле живущим, кажется,
Что движется время.
Иногда ползет,
Плетется,
Тянется,
Едва ли не останавливается,
Иногда летит на всех парусах.
В зависимости от того,
Что мы делаем сами,
Мы—
Поезда, идущие через земные пейзажи,
Мы—
Песчинки, сыплющиеся в песочных часах.

1975

Михаил Владимов

ШИНЕЛЬ

Уже давным-давно
Те годы прошумели.
Но что бы ни носил,
Я помню о шинели.
Я помню ту, БУ,
До самых пят длиною,
Пробитую свинцом,
Заштопанную мною.
Ту, на которой я
Таскал к санчасти друга.
Ту, на которой спал,
Где постелила вьюга.
Газря ее сукно
Прозвали ГОСТы «грубым»:
Перины мягче нет,
И нет нежнее шубы.
К ней надолго ни грязь,
Ни кровь не приставала.
С травой, жнивьем, землей
Она меня сливала,—
Когда к траншее полз,
В воронку прыгал с хода...
Как будто этот цвет
Придумала Природа!

Петр Кошель

* * *

Дочерям

Не кричи, вещий ворон, надсадно,
стольный город тоской не буди.
Спите, Марьюшка и Александра,
ваше время еще впереди.

Не кричи, сумасшедшая птица,
не вноси в нашу жизнь маеты,
потому что не может случиться
на земле самой главной беды.

Ну а если в темнеющих высях
померещилось ворону вдруг,
как в освенцимах и саласпилсах
вы стоите на черном ветру?

С номерами на рваной одежке,
горький строй пятилетних калек,
и напоенный стронцием дождик
ваши слезы смывает навек.

Неужели такое возможно
на планете всесильных людей,
и кому-то совсем не тревожно
за сегодняшних спящих детей?

Черный ворон над миром летает,
заводя сумасшедшую речь,
но страна ваши сны охраняет,
опершись на отточенный меч.

Тянет яблочным духом из сада.
Зарождается солнце во мгле.
Спите, Марьюшка и Александра,
да пребудет покой на земле.

Лиля Нанпельбаум

НЕЙТРОННАЯ БОМБА

Как долго они воевали с трудом,
Пока, наконец, не придумали это:
Без пахаря — хлеб,
без строителя — дом,
Без плотника — стол
и стихи без поэта.
Изъяв всех,
кто думал, работал, искал,
И тех, что растили,
и тех, что сражались,
Они оставляют
жующий оскал —
Два сомкнутых ряда:
жестокость
и жадность.

О, как ненавистны им руки и мозг!
Весь мир отдадут они
плену растленья.
Нейтронная бомба — апофеоз
Победного шествия
потребленья.

Николай Мартынов

ЗДЕСЬ ВСТАНУТ РАКЕТЫ

Палатки что копны, у старого дуба:
Здесь наши «квартиры» теперь до поры.

Мы вовсе не плотники, не лесорубы,
Хотя за ремнями у нас топоры.

Полянка. Подростки осинки, березки.
За ними до неба — синеющий лес.

Рубить это чудо, поверьте, не просто,
Но четок приказ, и незыблемо: «Есть!»

Под корень, под корень, удар за ударом,
Срубаем кусты и березки подряд.

И спины солдатские курятся паром,
На жестких ладонях мозоли горят.

Под корень, под корень...
С отсеченных веток
Свисают к земле, обессилев, листья...

Березки! Простите! Здесь встанут ракеты,
Чтоб вашим подружкам до неба расти.

* * *

За далью седых океанов
Драконы не прячут клыков.

Стоят у границы Иваны
У пультов ракетных постов.
У плуга, у домны, у стана,
В забое, в космической мгле —
Иваны, Иваны, Иваны —
И с ними спокойней Земле.

Татьяна Букетова

* * *

Стояла ночь испуганной девчонкой,
Такой незащищенной от ветров,
И профиль вырисовывался тонкий
В неярком свете догоравших дров.

Завороженно пацаны молчали
Под россказни бывшего дружка.
Расколотая трещиной причала,
Легла у ног уснувшая река.

Дурманила зовущим ароматом
Опутанная клевером земля.
Чай остывал с настоем дикой мяты,
И тихо детство пряталось в поля...

* * *

Повилика, повилика,
Мое горе невелико —
Слез не лей.
На поляне у осины
Пропадает земляника,
Плач по ней.
Ее тонкие листочки,
Ягод алые комочки —
Все тебе,
А к моей некруглой дате
И в душе хватает вмятин,
И в судьбе.
Я присяду у тропинки,
Отогну к земле травинки —
Не спасти,
Повилика, повилика,
Мое горе невелико —
Не снести.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ

Трава растет в местах, где шли бои —
Земля с трудом залечивает раны,
Но помнят о товарищах своих
Ушедшие со службы ветераны.

В их чутких снах, тревожащих рассвет,
Мелькают дни, как кадры кинохроник,
Где в залпах отступлений и побед
Друзей погибших заново хоронят.

В девятый день по-майскому тепло.
Так что ж заволокло свинцовым небо?
Стаканов запотевшее стекло
Накрыто, как в поминки, черным хлебом.

Я под столом сжимаю в кулаки
Свой приклад не трогавшие руки,
Гляжу, как молча плачут старики,
И боль кричит в зрачках, рождая звуки.

Ей в тон звенит за окнами трамвай,
Сзывая опоздавших пассажиров,
И в тишине рождаются слова —
Так говорят погибшие с живыми.

Николай Берендгоф

СОЛНЕЧНЫЙ ДВОРИК

Тополиный запах свеж и горек,
Старый дворник выметает сор,
И от солнца голубеет дворик,
Голубеет серенький забор.
Рядом садик. Пес от солнца жмурится,
Бьет хвостом по теплomu песку,
И с цыплятами проходит курица,
Кланяясь ему и петуху.

ПОД ЗИМНИМ НЕБОМ

Зимний воздух колким светом брызжет,
Ледяною пылью серебра,
И в глазах расколуются, как в призме,
Золотые брызги фонаря.
И посмотришь ты под зимним небом
На скамью свиданий и любви,
И поймешь: заносит мягким снегом
Горести и радости твои.

Юрий Голицын

ДВОРНИК И ПТИЦЫ

Вышел дворник в телогрейке,
Поглядел на небо
И раскутал на скамейке
Две горбушки хлеба.

И, вдохнув с небесной вышки
Запахи кормушки,
Налетели воробьишки
На его горбушки.

— Ой, продрогшие, худые,
Видно, с голодухи!
Ох, и зубы молодые,
Вжик — и нет краяхи!

Улыбался, как младенец,
Старичок беззубый,

Соскребая со ступеней
Снег набрякший, грубый.

Не снимая рукавицы,
Дед курил с причмоком.
А на нем сидели птицы,
Словно он — душа теплицы
С вечным солнцепеком.

* * *

А в это дождливое лето
Дожди барабанят в корыто,
В деревянную бочку,
В оловянную кружку,
В стеклянную речку.
Топишь чугунную печку
И слышишь, как струйками с крыши
Время вливается в вечность,
И каплет жестокая точность,
И каплет, и каплет, и каплет —
Но яблоки зреют и зреют,
Их собирают в корзинки,
Тряпкой стирают слезинки,
Ведроми тащат на рынки,
Варят, пекут, выжимают.
А время вливается в вечность,
И каплет жестокая точность,
Прозрачность, живая невзрачность,
А в общем, осенняя прочность —
И есть в ней вселенская прелесть!
Дни барабанят в корыто,
В деревянную бочку,
В оловянную кружку,
В стеклянную речку,
И уходят, держась друг за дружку
И давая нам знать в одиночку,
Что время вливается в вечность
И тянет живую цепочку,
И нас забирает с собою,
Второпях никого не забыв.

Тамара Жирмунская

* * *

От счастья, что увижу вас,
встаю, опередив будильник,
и вместо песен лебединых
твержу одну из детских фраз.
Рысцою при любой погоде
минуя перекресток трасс,
стоять невмочь на переходе —
бегу стремглав на красный глаз
от счастья, что увижу вас.
Лечу, стройнею, молодею
как бы в ответ на ваш приказ,
лелею дерзкую идею
все объяснить вам сей же час
от счастья, что увижу вас.
Вокзалы, очередь у касс.
И пассажир пошел престранный:
все тащит что-то про запас,

а я сыта небесной манной
от счастья, что увижу вас.
Вот дом и сад — все без прикрас,
все так естественно и просто:
тропинка во поле и вяз
у деревенского погоста.
Я счастлива, что вижу вас...
Уж вечер, и закат погас.
Пора домой, и поскорее.
Я никогда не постарею
от счастья, что увижу вас.

Ольга Чугай

* * *

Есть странная порода тихих женщин:
Их имена для памяти — утрата,
Их бытие для всех — почти загадка,
И только лица в памяти цветут.
Так ощутимы их прикосновенья —
То сердце вдруг царапнет,
То — на коже
Останется едва заметный холод,
И мятлый холодок томит во рту.
И кто они?
Каких углов жилицы?
Каких подвалов, чердаков, окраин? —
Которых больше нет.
И только зренья
Хранит их облик с самых ранних лет.

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Зимняя улица. Вид из окна.
Так никогда не наступит весна,
Если не выйти под хмурое небо
И, обжигаясь в кипении снега,
С ветки не сбить ледяную луну.
Видишь, я руки тяну.
Где-то во тьме застекленного мира
Голос подаст запыленная лира —
Ты ей ответь, закричи, не молчи,
Может быть, эхо в овраге проснетесь,
Может быть, ветка в саду шелохнется,
Голосу — голос ответит в ночи.

Владимир Пальчиков (Элистинский)

НЕСОВПАДЕНИЯ

— Вы солнце в туче видите? — Ну, да...
Ну, брызжет луч в расхлябанные щели...
— Так это ж ведь из бочки Торричелли
на небе хлещет струями вода!..
— Текут по шпалам рельсы, — в города
какие вам: в Элисту ли, Ткварчели?..
— Я не о том... Фантом-виолончели
гигантский гриф забросило сюда...

— Огни в домах на этом вот проспекте
видны ли вам? — В практическом аспекте:
я полагаю — не было б темно...

— А я и тут в сравнении, в «натяжки»
намерен впасть... О черные костяшки
крапленых желтой рябью домино!..

Владимир Бурич

* * *

Я проецируюсь в сознание
девяи соседских мальчишек
семи членов комиссии по проведению водопровода
четырех трактористов
двух штукатуров
пяти бакенщиков
начальника плёса
председательницы сельского Совета
участкового милиционера

Живу столикий

Удивительны мои судьбы

* * *

Самолет прошел в темноте
наступая спящим на грудь

* * *

Таинственная личность тракториста
на голубом экране
неба

Как импульс катодной трубки
движется
с утра до ночи

О чем он думает
создавая
картину
нового урожая?

Зоя Велихова

ГОСТЬ

Я знаю, что дверь приоткроется вдруг,
(Вновь скрип ее станет певуч),
Беззвучно засветится воздух вокруг,
И он проскользнет, словно луч.

Подъездом, где тусклая лампа горит,
Украдкой пройдет, точно вор,
И музыкой пластики заполонит,
Как ветром сквозной коридор.

Играет на флейте кудрявый апрель,
Пославший гонца своего.
Тот движется так, будто узкая щель
Слегка прищемила его.

Он в комнату, как дуновенье, проник
И сразу освоился тут.
На старом японском фарфоре в тот миг
Левкой опять расцветут.

В пространство иное легко уведет
Беседы искрящейся нить.
Внезапно он тяжесть вещей украдет
И время заставит забыть.

Он яви с мечтой перепутал напев,
Попробуй-ка в них не поверь.
За все это, как-то хитро посмотрев,
Он просит прощенья теперь.

Сергей Крыжановский

* * *

— Устаёшь?
— Устаю,
я, представьте, не бог.
— Устоишь?
— Устою,
хоть земля из-под ног.
— Возвестишь?
— Возвещу
о скончании тьмы.
— Возвратишь?
— Возвращу,
Солнце брал я взаймы.

Владимир Лазарев

* * *

В дыханье белых роц — слова твои.
В мельканьях вешних роц — черты твои,
И светлый день, и свет иллюзий.
И сердце плачет от любви.
И любит...
Болит и, не стихая, любит.

* * *

В засеках тульских мельчают дубы.
Желуди стали чуть больше горошины.
Голос кукушки... Уроки судьбы.
Горько сердца лесников растревожены.

И сокрушается друг мой — лесник,
Хоть в зеленях нынче птичье веселье:
«Ельник, — сказал, — за рекою поник:
Чуткая хвоя — повымерли ели...»

Боль атмосферы — живая беда.
Облако гари ползет по планете.
Гулко считает кукушка года...
Мне, леснику, или засекам этим?

ГОРОЖАНЕ

...Все-то выдержать сможет бумага,
Только под ворохами прикрас
Светит жалкая жадная тяга
К сладкой жизни — живущая в нас.
Вот идем мы в толпе, горожане,
Холод, дождик, теплынь — благодать.
Точит весь этот мир — нежеланье,
Нежелание наше страдать.

Игорь Северянин

1887—1941

В СЕВЕРНОМ ЛЕСУ

I

Поет метель над тихо спящим бором;
Мерцает луч холодных, тусклых звезд;
Я еду в глушь, и любопытным взором
Смотрю на туч волнующийся рост.

Я еду в глушь, в забытую усадьбу,
На берега играющей реки.
Мне чудится, что леший правит свадьбу,
Пируя у невесты, у Яги.

Мне чудится, что рядом правят бесы,
И ведьмы сзади водят хоровод;
Мне слышится в тоске мелодий леса
Порою песнь. Но кто ее поет?..

Порою смех, порою восклицанья
Мне слышатся, вселяя в душу страх.
Чье скорбное лицо встает в слезах?
Чье слышу я безумное рыданье?

Кто плачет здесь, здесь, в мертвом царстве снега,
И почему здесь сотни голосов?
В ответ мечте я слышу топот бега
Своих коней да говор бубенцов.

Мне нравится унылая природа
Мне дорогого севера с красой
Свободного славянского народа
С великою и гордою душой.

Люблю леса я северных окраин,
Люблю моря, и горы, и тайгу,
Я — властелин над ними! Я — хозяин!
Я там дышать и властвовать могу!

II

Любовь моя! Лети к простору поля,
Где я порой на паре быстрых лыж
Лечу стрелой с хвалебным гимном воле,
С беспечностью, с какой летает чиж.

Лети, моя любовь, с поклоном лесу,
Ты соснам вековым неси привет:
Скажи, что не завидую я Крезу,
А тем, кто может жить в расцвете лет,

Когда бывает сердце чутко-чутко,
Когда весною веет от души,—
В лесу глухом, где так отраднo жутко,
В любимой мною северной глуши.

Я вас пою, волшебные пейзажи,
Бегущие при трепетной луне,
И вас пою я, звезды, ночи стражи,
Светящие в лесу дорогу мне.

И лес в одежде цвета изумруда,
И небо шатровидное из туч,—
Пою тебя, моя царица — Суда,
И песни звук победен и могуч.

Пою тебя, мой лес, товарищ старый,—
Где счастье и любовь я повстречал,
И вас пою, таинственные чары
Любви, которой молодость отдал.

На север я хочу, на север милый!
Туда, туда, в дремучий хвойный бор,
Где тело дышит бодростью и силой,
Где правду видит радостный мой взор.

Мечты мне сказки нежно шепчут хором,
Пока я тихо еду через мост.
Поет метель над тихо спящим бором;
Мерцает луч холодных, тусклых звезд.

Сергей Поликарпов

* * *

Полка Тенгинского поручик,
Я все пытал твою звезду,
Чтобы понять тебя получше
В том приснопамятном году,
Когда, со смертью
В чет и нечет
Игравший в вылазках не раз,
Ты вдруг поднялся ей навстречу,
Не отводя от бездны глаз.

Что случилось?
Наважденье ль свыше?
Безумный вызов ли судьбе
Иль чей-то голос не услышал,
Зовущий в вечное к себе
Тебя, преемника земного
Им освященного труда
На пепелящей ниве Слова? —
Безмолвна вещая звезда!..

Шагнул с фуражкой черешен
Под наведенный пистолет...
Самонадеян иль беспечен
Ты, божьей милостью поэт,
Был?

* * *

Кровавое зеркало общей беды
Течет по моим мостовым укрепленным,
И даже цимлянское море воды
Не слижет его языком воспаленным.

Стою по колено в асфальте, и свет
Четырежды лег на сутулые плечи...
Едва лишь задремлешь, как тут же в ответ
Несет репродуктор железные речи.

Встает за спиною чужая судьба,
И совесть пылает морозной щекою.
А рядом — баулы, мешки, короба,
И мальчик следит исподлобья за мною.

От этих тревожных негнущихся глаз
Прозрачной рукою нельзя заслониться.
Все окна, как раны, раскрыв напоказ,
Бегут три вокзала по темной столице.

Сшибается время. Хрипят города.
Снаряды ревут. Разрываются стекла.
И в горле стоит ледяная вода,
И кровью народной одежда намокла.

Мы насмерть корнями срослись у ворот,
Мы в зеркале общей судьбы загорелись —
И праведность наша, и горечь, и ересь,
И год сорок первый, и нынешний год.

Виктор Яковенко

РОДСТВО

Байкало-амурские дали
В открытой бегут синеве.
И рельсы большой магистрали,
Быть может, из той же стали,
С которой мы в кровном родстве.

Есть в этом от личного что-то
И что-то от вечного есть:
В огромное море: «Работа» —
Впадающих рек не счесть.

И воля нужна, и закалка, —
В тайге проложить магистраль...
Но вспомнилась мне «рельсобалка» —
Надежда твоя, «Азовсталь».

Затихли военные грозы.
И мирной весны — ветерок.
Но мёртво стоят паровозы
У взорванных, ржавых дорог.

Звучаньем победного эха
Жила, возрождаясь, страна.
И рельсы прокатного цеха
Ждала, как дыханья, она.

...Бетонщик был главной фигурой.
Работал — как чудо вершил,

Скрепляя раствор с арматурой...
И в полдень в столовку спешил.

В короткую ту передышку
К монтажникам, к нам, завернет,
По возрасту — сущий мальчишка,
По сути — бывалый народ.

В заломленной лихо фуражке,
Спиной прислонившись к стене,
Читал он в многотиражке
Стихи о любви и весне.

МЕСТНЫЕ ПРУДЫ

В степном засушливом безводье,
Как откровения слеза, —
Желанны при любой погоде
Прудов зеленые глаза.

Вы обнаружите не сразу
Их под ресницами ветвей,
В густой тени зеленых вязов,
Нестройных верб и тополей.

Здесь гуси пьют неторопливо.
И если их задета честь —
Галдят. А в глинистых обрывах
И под корягой — раки есть.

Когда-то, помню, мы ныряли
На дно и с илистого дна
Пустые гильзы доставали —
Те, что оставила война.

Живительна прудов прохлада.
И скромность им всегда к лицу.
И рыбаку они отрада,
И рекордному пловцу.

Они водой своей питают
И огороды, и сады.
Плотинами их поднимают
В ранг государственной воды.

МАТЬ

Метет метель-поземка с поля,
И белым стал весь белый свет.
Из той зимы,
Из горькой доли
Изваян этот монумент.

Седая утренняя стужа
Навек сковала душу ей.
На битву проводила мужа
И проводила сыновей.

И вот, застывшая у сквера,
Стоит она теперь в тиши.
Какою человечьей мерой
Измерить боль ее души?!

А снег все катит, катит с поля —
Где всех троих забрала смерть.

От этих слез,
От этой боли
Как было ей не каменеть.

ОБЩЕНИЕ

Не вещи возвышают их владельца,
А он облагораживает вещь.
Кулон — всего лишь золотое тельце,—
Сам по себе ни жалок, ни зловец.

И в век наш, отдающий дань вещизму,
Да обострится зрение и слух,
Чтоб мы могли увидеть, как сквозь призму,—
Сквозь эту вещь и человеческий дух...

Здесь гений жил.
Вот дом у переулка.
Прихожая. Там — кабинет и зал.
Вот стол его.
А вот его шкатулка.
А вот перо,
Которым он писал.

Подсвечник, с той, им виденною тенью,
Что не созвучна теням их поры...
Все это не слепое поклоненье.
Здесь прошлого бесценные дары.

И как-то не подходит слово «вещи».
И слишком уж обыденно — «предмет».
Страничка старой рукописи —
Вещий
Из будущего
Излученный свет.

Юнна Мориц

НАД ТЕЛОМ СМЕРТНЫМ, НАД БЕССМЕРТНЫМ ИДЕАЛОМ

Памяти школьной учительницы Д. Я. Таран

Однажды в нашей средней женской школе,
что в Киеве стояла на Подоле,
где грохотал трамвай, как паровоз,
она возникла, юная такая,
и, девственностью грозною сверкая,
влила волненья огненный мороз.

Ее предмет — язык, литература.
Все влюблены! Никто не зубрит хмуро,
бушуют страсти, ревность, тайный бой —
за взор ее горящий, за улыбку,
за счастье искупить в письме ошибку
блестящим содержанием! Боже мой,

в каких мечтах возвышенно-жестоких
мы все, как самураи на востоке,
без колебаний гибли за нее,
пьянея от греховного бесстрашья!
И преданность восторженная наша
воздела ту жар-птицу на копье —

бедняжка, ведь наедине с мужчиной
она была учительницей чинной
с воображеньем, слабым для греха,
и грозная сладость королевы
окислилась, и облик старой девы
произошел, как проза от стиха.

Да разве мог мужчина — хоть отчасти! —
вернуть ей бескорыстье нашей страсти,
ревнивую отвагу наших душ
и преданности рыцарские латы?
Мы со своей Любовью виноваты,
что на нее не отыскался муж!

И через тридцать лет, по смерти ранней,
когда замкнулся круг ее страданий
и роковой недуг ее убил,
я плачу над великим и над малым:
над телом смертным, над бессмертным идеалом, —
над чем еще заплачет, кто любил?

И ОТРАЗИЛОСЬ В ЗЕРКАЛЕ НАПРОТИВ

Я многое тащила на горбу:
Мешки с картошкой, бревна и вязанки,
Детей, калек, чугунную трубу, —
И я лишилась царственной осанки.

Но так судьба проехала по мне,
Так пронеслись руины Карфагена,
Что распрямился дух, и я вполне
Стройна и даже слишком несогбенна.

Нет, я в виду имею не поклон —
Поклоны я отвешиваю в тоннах!
Но есть какой-то несогбенный стон
И радость, не согбенная в поклонах.

Я говорю о том, что обрелось
Помимо воли и ценою плоти,
Прошло свою действительность насквозь
И отразилось в зеркале напротив.

ОБОЮДНАЯ НЕВИННОСТЬ

Этот маленький скелетик
Утром стоил два рубля —
Мне его купили дети,
Сельской улицей пыля.
Он штампован из пластмассы
За секунду или две,
Не нужны ему прикрасы —
Кроме скрепки в голове.
Эта скрепка там продета,
Чтоб на ниточке висеть,
Чтобы жалкий вид скелета
Мог ногами шелестеть,
На груди живой болтаться,
Позы страшные плясать.
Как печальна эта цаца —
Невозможно описать!

Но с отеческой улыбкой
Дети возятся весь день
Со скелетиком, как с рыбой,

Словно эта дребедень
Есть не смерти неизбежность,
А ребячество искусств,
Вызывающее нежность
И приливы братских чувств!
И кудрявый пляшет Шурик —
Ангел, агнец, голубок!
И трясется лысый жмурик,
Щекоча ему пупок.
Обоюдная невинность
Их сплотила в пляске дней!
И друг друга не страшной —
Жизни чувственность, картинность
Да игрушка-смерть на ней.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Теперь я благодарна провиденью
За то, что в нежно-юные года
Я не сумела быть воздушной тенью,
Любимой всеми, всюду и всегда.

Теперь я благодарна правде голой
За то, что у событий под пятой
Я не была раскованной, веселой —
И тем служила истине святой.

Ужимки, голос юности наивной,
Причуды избалованной красы
Потом глядятся маскою, противной,
Как фармазона рвущие весы.

Я ни за что не сделаюсь старушкой,
Чей моложавый, бодрый маскарад
Царит румяной своейской безделушкой
В кругу, где пошло клятвами сорят!

Я не была прелестное создание,
Я знала бездны, страшные для глаз,
Где неразрывны счастье и страданье,
Как жизни первый и последний час.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

На крыше у Волошина —
Ветер голубой.
Под крышей у Волошина —
Берег и прибой.

Семечко заброшено
На его могилу —
Дикая маслина,
Серебристый шар.
Времечко Волошина
Сохраняет силу
В образе поэта,
Сеятеля чар.

Что кому положено —
То и прорастает.
Над памятью Волошина
Кто-то листает
Дерево бессонное,
Томик стихов.
Самое скромное —
Тайна веков.

Хрустальные стрекозы
Указывают путь,
Просторы гулкой прозы
Ветрами крестят грудь,
И жаждущей толпой,
Как звери к водопою,
Идем крутой тропой
За флейтой и трубой...

Егор Самченко

СЕЛО КАМЕННЫЙ БРОД

Тут был артполигон, а село
Через Каменный Брод ушло,
Ибо, как война, говорят,
В огород залетал снаряд.

Словно в камне я камнем иду
На сияющую звезду.
Словно каменный век во мне,
Волоку траву на спине.

Вам сосной, мне камнем дышать —
Тело дерева поднимать,
Белый свет на корнях поднимая,
Малой родиной называя.

Словно я действительно он,
Испытательный полигон —
Каждый куст обниму, погляжу,
В ямы взрывов пересажу!

...Где задумался я надолго
Над огромной плывущей Волгой,
Там навстречу мне брат идет,
А идет он не первый год
И не камни уже собирать —
Душу с телом моим сочленять!

Нина Новосельнова

«МОРЗЯНКА»

Ну, что вы размигались, фонари?
Что вам за дело до июньской бури?
Стой на часах, вокруг себя смотри
Да не чади в потайном карауле.

А люди спят, у них тепло, уют,
Не глядя на фонарную «морзянку».
Ведь их с утра дела все те же ждут,
Ведь их работа будит спозаранку.

Но мне не спится. Не идет покой.
Меня к тем годам навеки припаяло,
Когда за белорусскою рекой
Вот так же, нервно, лампочка мигала.

Кто там сигналит: свой или чужой?
Зовет на помощь? Хитро зазывает?

Пополз разведчик. А потом — другой.
И не вернулись... На войне бывает.

Да что я все: война, войны, войне?
Другое время, и дела другие.
И кто-нибудь с укором скажет мне:
— Ну, хватит, хватит! Это ж ностальгия.

Смолчу, кивну. Но долгие года
Лишь подтверждают верность старой были:
Опасен нож разбойничий тогда,
Когда о нем и думать позабыли.

Евгений Антошкин

* * *

В живых изваяньях лесных колонн
Перестук колес —
Бег.
В безлунном небе
Звезд перезвон.
Поздний в стогу ночлег.

Белым туманом укрылась Ловать,
В холоде помолодев.
Темень сырая пошла колдовать
По травам и по воде.

Целясь в притихшего соловья,
Наводя чешуей испуг,
Шелковой нитью
Прошила змея
Оцепеневший луг.

Звездный раскачивая иконостас,
Мир в сладкой дреме млеет.
И небосвод,
Словно птичий глаз,
Ближе к утру теплеет.

Там,
Где минуту лишь страх витал,
Герой любовных поэм
Зацокал, защелкал, залепетал
И в песню ушел совсем.

Косец травинку во сне пожевал.
Он слышал,
Как на косе
Луч солнца проснувшийся
Ликовал
И остывал на росе.

И каждый предмет себя узнавал,
Спешил восторг утолить...
И мир, пробуждаясь,
Опять вставал
Работать, любить, творить.



Николай Заболоцкий. Фото Никиты Заболоцкого

К 185-летию со дня рождения А. С. Пушкина

Геннадий Красухин

КОНЦОВКА «БОЛЬШОГО СТИХОТВОРЕНИЯ»

«Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено»,—представлял в 1825 году Пушкин первую главу своего романа. Мне уже доводилось писать, что этим с самого начала, с первой же публикации Пушкин прояснил жанр «Евгения Онегина». Приравняв стихотворение к роману, он объявил о новом жанре: его «Онегин»—не роман, изложенный стихами, а стихотворение-роман.

Необычность такой жанровой структуры состоит в том, что духовный опыт, обретаемый автором благодаря той или иной романной коллизии, тут же реализуется, проверяется, проявляется в лирическом сюжете, становится авторским самовыражением. Так же обстоит дело и с духовным опытом, обретаемым автором в результате завершения всех романских коллизий. Исчерпанность романного сюжета не останавливает лирического самовыражения автора, которое не прерывается с окончанием романа.

Начатое как «большое стихотворение» пушкинское произведение и завершается как стихотворение. Причем его концовка—«Отрывки из путешествия Онегина», многократно перекликаясь с началом романа, с его первой главой, всякий раз обнаруживает при этом глубочайшие от нее отличия.

Недаром в первой главе автор был «рад заметить разность Между Онегиным и мной»—слишком много общего было у него с героем:

Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих поджидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

Но это близкое друг другу восприятие действительности оказывалось на не столь уж надежном основании: «Я был озлоблен, он угрюм...»—характеризует себя и героя автор.

Конечно, в их приятельстве больше логики, чем, скажем, в дружбе Онегина и Ленского, которые «От делать нечего друзья»¹ и потому дружеский союз их вообще не имеет под собой почвы: он определен случайностью и зависим от нее. Но и почва под авторским с Онегиным приятельством довольно зыбка: ведь озлобленность чаще всего бывает переходящим затмением души (и здесь это именно так—

автор уже в конце первой главы отзывается о себе: «И прояснился темный ум», фиксирует заполняющее душу спокойствие: «И скоро, скоро бури след В душе моей совсем утихнет...»), тогда как угрюмство есть глубинное свойство человеческой природы, избавиться от которого—все равно что духовно переродиться, а это редко кому удается, и если это удалось Онегину, то на протяжении длительного времени—в данном случае на протяжении всего романа.

Не случайно и то, что, избавившись от озлобленности, смирившись душой, автор переакцентирует свои симпатии, отдает явное предпочтение Татьяне, ее жизненной философии, ее нравственно-мировоззренческой позиции. Больше того—объявляет именно такую философию, именно такую позицию типичными для проявления народного духа: введя в роман эпопею¹, сделав ее героем Татьяну, «русскую душою», автор раскрыл тем самым, что есть душа русского человека, ибо в национальной эпопее народная душа проявляет себя во всей своей национальной характерности.

Насколько далек автор от былой своей близости онегинскому восприятию действительности, показывают и «Отрывки из путешествия Онегина», где, как и в первой главе, реальность освещена с двух точек зрения—автора и его героя, но в отличие от первой главы автор не оговаривает особо «разность Между Онегиным и мной»—не оговаривает за ненадобностью, не подчеркивает само собой разумеющегося.

Ю. М. Лотман справедливо обратил внимание читателей своего комментария пушкинского романа на то, что «описание Одессы было создано Пушкиным непосредственно после окончания четвертой главы», что «строфы эти были опубликованы в 1827 г. в Московском вестнике» как предназначенные для седьмой главы романа и что «только в 1830 г. в Болдине они были перенесены в «Путешествие». Но вот что, по Ю. М. Лотману, из этого следует:

«Написанные в другое время, чем остальное «Путешествие», «одесские» строфы выдержаны в иной художественной манере: лаконизму и сухости первой половины странствия здесь противопоставлен яркий местный колорит и обилие характерных подробностей».

Это так. И в то же время ограничиваться констатацией только этого—значит как бы игнорировать пушкинский замысел, по которому «одесские» строфы оказались конечными, завершающими «Отрывки из путешествия Онегина»,—последними, стало быть, строфами, строками, словами того «Евгения Онегина», который сформирован, оформлен как целое Пушкиным и как целое, как

¹ Курсив в цитате—пушкинский.

¹ См. об этом: Геннадий Красухин. Татьяны милой идеал.—«Наш современник», 1983, № 3.

единое, как неразрывное в своем единстве напечатан поэтом при жизни.

Не только потому «онегинские» строфы странствия отличаются от «авторских» — «одесских», что между ними — временной интервал, но главным образом потому, что в них — разное восприятие сущего, разное отношение к нему.

«Я молод, жизнь во мне крепка, — сетует Онегин, который «грустью отуманен» в Пятигорске. — Чего мне ждать? тоска, тоска!..»

Истоки такого мироощущения раскрыты автором в его романе. Весь роман обсуждал подобное мировосприятие, проверял его ценность в столкновении с реальностью, вскрывал его истинную содержательность. Весь роман подводил автора к выводу, что жизнь не виновата в таком отношении к ней, что подобное восприятие жизни есть душевная болезнь, есть проявление больной, тронутой порчей человеческой души.

Тем более что автор и сам вначале «был озлоблен» — пережил недуг, который осознал именно как недуг, замутивший душу, затемнивший смысл жизни — попросту мешавший жить.

Сейчас в строфах, которые в «Евгении Онегине» идут после завершения романного сюжета, снова зафиксирована болезнь души человека, когда его не радует и даже тяготит то обстоятельство, что он молод и что в нем крепка жизнь. И снова такое отношение к жизни развенчано автором. На этот раз — его собственным лирическим самовыражением — воспоминанием о своей жизни в Одессе, описанием одного дня в ней, являющем собой яркий и резкий контраст дню Онегина в Петербурге, описанному в первой главе романа.

Жизнь — взаврававшая, всамделишная, настоящая — пульсирует рядом с Онегиным:

Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтинка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым....

И что же Онегин? — «Полусонный В постелю с бала едет он...»

Он — «полусонный» — значит, уже мало что воспринимающий вокруг себя. Вдобавок он спешит «в постелю», то есть вообще уйти, отключиться, выключиться, порвать и без того слишком непрочные связи с теми, кто набирает жизненных соков, создает «утра шум», наполняет его жизнью — делает «приятным», — с тем же купцом, или разносчиком, или извозчиком, с той же охтинкой...

С автором, который так начинает свой день в Одессе:

Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегаю,
Уж к морю направляюсь я.

Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.
Иду гулять.

Его одесский день отмечен теми же памятными веками, что и у Онегина в Петербурге, — ресторан, театр. И теми же развлечениями молодости — вино, еда, женщины. Но какая огромная разница в ощущениях по сравнению с охлажденным, пресыщенным Онегиным! Какой бьющей через край предстает любовь к жизни автора, который даже для музыки, для ее чарующих, упоительных звуков: «...они кипят, Они текут, они горят...» не боится искать аналогий с простыми радостями жизни, с плотскими ее наслаждениями:

Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего Аи
Струя и брызги золотые...

А точнее — потому и не боится автор таких аналогий, что все это сейчас одухотворено им — любовь, вино, музыка, все одинаково осознано как духовная ценность.

И потому — конечно, несерьезно, конечно, шутивно — авторское чужанье, конечно, риторический — вопрос, которым автор вроде бы опасно задается:

Но, господа, позволено ль
С вином равнять do-re-mi-sol?

Ведь сама игра звуков здесь — озорная эта рифма — идет от молодого озорства, от упоения молодостью, заявляющей о своих правах, наслаждающейся тем, что ей позволено наслаждаться жизнью.

Впрочем, в тех же «одесских» строфах автор выразил эти же ощущения еще более определенно. И тоже — рифмой.

«Я молод, жизнь во мне крепка...» — сетует, как мы помним, Онегин.

«Радость-младость», — рифмует, словно отвечая на это, — лирически самовыражается автор.

Оказавшись концовкой пушкинского произведения, «Отрывки из путешествия Онегина» не стали окончательным словом о герое, мироощущение которого еще претерпит изменения после путешествия — в восьмой главе романа. С этой точки зрения не случайно, что «Отрывки», по воле автора, заняли место после примечаний: они сами стали своеобразным примечанием, например, к тем стихам восьмой главы, где герой чахнет от любви: «Все шлют Онегина к врачам, Те хором шлют его к *водам*»¹, ибо в них как раз и идет речь о том, насколько полезны для Онегина кавказские воды.

А с другой стороны, не случайно, что автор закончил свое произведение «Отрывками из путешествия Онегина», их «одесскими» строфами, в которых — лирический гимн жизни — окончательное авторское слово о ней!

¹ Курсив в цитате — пушкинский.

Николай Клюев
1884—1937

10 октября 1984 года исполнилось сто лет со дня рождения Николая Алексеевича Клюева.

Обширно творческое наследие поэта. Многие в этом наследии требуют еще систематизации и тщательного изучения. То и дело в журналах и альманахах (в том числе — в сборниках «День поэзии») публикуются неизвестные или малоизвестные произведения Н. А. Клюева.

Стихотворения, которые печатаются ниже, относятся к разным периодам творческого пути поэта.

...Известны обстоятельства появления Николая Клюева в Москве и Петербурге в 1911 году, его хождения в литературные салоны в облике хитроватого мужичка себе на уме. Однако Клюев разыгрывал свои «спектакли» далеко не перед всеми поэтами-интеллигентами. К некоторым из них он относился с глубоким уважением и общался с ними без тени притворства. Именно таким было его отношение к Анне Ахматовой.

В ЦГАЛИ хранится письмо Клюева, адресованное Ахматовой вскоре после их первой встречи в редакции журнала «Аполлон» (1913 год). Привожу его текст целиком.

«Извините за беспокойство, но меня потянуло показать Вам эти стихотворения, так как они родились только под впечатлением встречи с Вами. Чувства, прихлынувшие помимо воли моей, для меня новость, открытие. До встречи с Вами я так боялся такого чувства, теперь же боязнь исчезла, и вероятно напишется больше в таком духе. Спрашиваю Вас — близок ли Вам дух этих стихов. Это для меня очень важно. И неужели я ошибся, ввел себя и вас в ложное.

Еще хочется сказать Вам, чтобы Вы не смущались моей грубостью и наружной холодностью, которая так запомнилась Вам от нашего свидания в «Аполлоне». Я знаю, что Вам было нудно и неприятно, по поверьте, что я только и знал, что оборонялся от Вас — так как в моем положении вредно и опасно соблазниться духом людей Вашего круга. Только поэтому и приходится запереть свои двери... простите за слова.

Жизнь Вам и Радость.

Жду ответа, только, пожалуйста, заказным письмом.

Николай Клюев».

К письму были приложены четыре стихотворения: «Отвергнув мир, врагов простя...», «Косогоры, низины, болота...», «Мне сказали, что ты умерла...», «Ржавым снегом — листопадом...» Все они посвящены Ахматовой.

Стихотворение «Ржавым снегом — листопадом...», публикуемое в «Дне поэзии», при жизни поэта напечатано не было.

В ЦГАЛИ же находится черновой список книги «Львиный хлеб», вышедшей в свет в 1922 году. Н. А. Клюев придавал этой книге большое значение — в ней с наибольшей полнотой представлено его творчество 1919—1921 годов. Составлял ее поэт любовно и придирчиво, исключая некоторые стихотворения, по художественным

достоинствам не уступающие многим из вошедших в окончательный вариант сборника. Одно из таких стихотворений — «Они смеются над моей поддевкой...».

* * *

Ржавым снегом — листопадом
Пруд и домик замело.
Под луны волшебным взглядом
Ты — как белое крыло.

Там, за садом, мир огромный,
В дымных тучах небосклон.
Здесь серебряные клены,
Чародейный, лунный сон.

По кустам досель кочуя,
Тень балкон заволокла.
Ветер с моря. Бурю чуя,
Крепнут белые крыла.

1913

* * *

Они смеются над моей поддевкой,
Над рубахой соловецкой, тресковой,
Им неведомо распутинской сноровкой,
Как дитя, взлелеянное слово.

Им неведом плеск полночной зыбки —
Дрема пальм над гулом караванным,
И в пушке надгубном вопли скрипки
По садам и пажитям шафранным.

По стране, где птицы-поцелуи
Гнезда вьют из взоров и касаний...
От Борнео до овчинной Шуи
Полыхают алые герани.

Смертоносных строк водовороты,
В них обломки Певчего Фрегата.
А в излучке сердца громный кто-то
Ловит звуки — радуги заката.

1921

*Вступительная статья и публикация
Сергея Куняева*

МАТЬ МАРИЯ (Е. Ю. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА)

Имя Матери Марии — героини французского Сопrotивления, мученически погибшей в Равенсбрюке, известно всему миру. Память об этой женщине сохранится, как писала одна из самых первых исследовательниц ее жизни, «пока существует человеческое сознание и понимание того, что такое человечность и кем должен быть человек».

Имя русского поэта петербургской дореволюционной поры Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой, выпустившей две книги стихов: «Скифские черепки» (1912) и «Руфь» (1916), известно лишь узкому кругу любителей и ценителей русской поэзии.

Но Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, став в 1933 году в Париже монахиней, «одной из самых странных монахинь в мире», как писали и говорили о ней еще при ее жизни — сторонники и единомышленники — с восхищением, недруги и оппоненты — с осуждением и укоризной, — не перестала писать стихи, хотя поначалу и скрывала это.

Как вспоминает о ней один из самых родных ей по духу людей, автор книг о В. Соловьеве и А. Блоке, постоянно встречавшийся с Матерью Марией в годы мира и в годы войны, К. Мочульский: «Она пишет стихи запоем... Никогда стихи не отделяет».

Литературный критик Г. Раевский в книге, выпущенной «Обществом друзей Матери Марии» в Париже в 1949 году, где собраны ее стихи и поэмы, судит более осторожно: «почти никогда не отделяет».

В самое последнее время исследование ее литературного архива показало, что Мать Мария нередко работала над отделкой стихов достаточно тщательно.

Но разве дело в том, насколько искусно ограничены те или иные строки?!

Стихи Матери Марии нечто большее, чем стихи в обычном понимании. Она писала их не для печати, а потому, что не могла не выявить душевную боль, духовный поиск, перенасыщенность впечатлениями, порой безысходно тяжкими... Нищета, безытность и безысходность русской эмиграции во Франции в 20-е и 30-е годы сегодня почти невообразима. Эти люди в самом буквальном и самом страшном смысле погибали от голода, холода, душевных болезней. Оторванные, кто по собственной воле, кто по воле случая от Родины, они были абсолютно безытны, лишены часто и хлеба, и крова. Даже Лига Наций, отнюдь не склонная к сентиментальным формулировкам, вынуждена была констатировать, что русские эмигранты в Европе находятся «в наихудших условиях борьбы за существование».

Не понимая этого, невозможно понять и стихи Матери Марии. Широко известно, что для помощи беднейшим русским эмигрантам она на собственный страх и риск, выполняя самую черную работу, создала два дома на улице Лурмель и в Нуази-ле-Гран, где несчастных, опустившихся на самые низкие ступени общественной лестницы людей кормили и лечили. Об этом тоже надо помнить, читая стихи Матери Марии.

Дом на улице Лурмель в годы второй мировой

войны стал одним из важных центров антифашистского Сопrotивления. В этом доме Мать Мария и ее соратники тщательно скрывали русских и английских солдат и офицеров, бежавших из плена, переправляя их потом в отряды партизан и в Африку, где войска союзников вели бои с гитлеровцами. В 1943 году гестапо арестовало Мать Марию и ее сына Юру. Оба они погибли в разных концлагерях.

После войны Софья Борисовна Пиленко, мать Елизаветы Юрьевны, писала о ранних стихах дочери: «Она с молодости была уверена, что ее ожидают мучения, мытарства, мучительная смерть и сожжение...» И позднее в Париже Мать Мария писала об «огненной стреле», о «конце огнепальном», которые ее ожидают.

31 марта 1945 года она была сожжена в печи фашистского концлагеря Равенсбрюк. Пепел ее был рассеян, как и пепел остальных замученных и сожженных, близ крематория «для удобрения почвы».

В Нуази-ле-Гран существует небольшой музей Матери Марии. Я был в этом музее с советником нашего посольства по вопросам культуры С. С. Зотовым, и хозяйка Нуази-ле-Гран Екатерина Константиновна Павлова показывала нам вышивки, выполненные Матерью Марией в Равенсбрюке. Одна из них была самая, самая заветная. Елизавета Юрьевна была уверена, что если закончит ее, то останется в живых. Она ее закончила. И — вошла в бессмертие.

Елизавета Кузьмина-Караваева

1891 — 1945

* * *

Я силу много раз еще утрачу;
Я вновь умру, и я воскресну вновь;
Переживу потерю, неудачу,
Рождение, смерть, любовь.

И каждый раз, в свершенья круг вступаю,
Я буду помнить о тебе, земля;
Всех спутников случайных, степь без края,
Движение стебля.

Не только помнить; путь мой снова в гору;
Теперь мне вестник ближе протрубил;
И виден явственно земному взору
Размах широких крыл.

И знаю, — будет долгая разлука;
Неузнанной вернусь еще я к вам.
Так; верю: не услышите вы стука
И не поверите словам.

Но будет час; когда? — еще не знаю;
И я приду, чтоб дать живым ответ,
Чтоб вновь вам указать дорогу к раю,
Сказать, что боли нет.

Не чудо, нет; мой путь не чудотворен,
И только дух пред тайной светлой наг,

Всегда судьбе неведомой покорен,
Любовью вечной благ.

И вы придете все: калека, нищий,
И воин, и мудрец, дитя, старик,
Чтобы вкусить добытой мною пищи,
Увидеть светлый Лик.

1916

* * *

Устало дышит паровоз,
Под крышей белый пар клубится,
И в легкий утренний мороз
Торопятся мужские лица.

От города, где тихо спят
Соборы, площади и люди,
Где темный каменный наряд
Веками был, веками будет,

Где зелена струя реки,
Где все в зеленоватом свете,
Где забрались на чердаки
Моей России дикой дети,—

Опять я отрываюсь в даль;
Моя душа опять нищает;
И только одного мне жаль —
Что сердце мира не вмещает.

1931

* * *

Пусть отдам мою душу я каждому,
Тот, кто голоден, пусть будет есть,
Наг — одет, и напьется пусть жаждущий,
Пусть услышит неслышащий весть.

От небесного грома до шепота,
Учит все — до копейки отдай.
Грузом тяжким священного опыта
Переполнен мой дух через край.

И забыла я, есть ли среди множества
То, что всем именуется «я».
Только крылья, любовь и убожество
И биение всебытия.

1933

* * *

Постыло мне ненужное витийство.
Постыли мне слова и строчки книг,
Когда повсюду кажут мертвый лик
Отчаянье, тоска, самоубийство.

О, боже, отчего нам так бездомно?
Зачем так много нищих и сирот?
Зачем блуждает твой святой народ
В пустыне мира, вечной и огромной?

Я знаю только радости отдачи,
Чтобы собой тушить мирскую скорбь,
Чтобы огонь и вопль кровавых зорь
Потоплен в сострадательном был плаче.

1936

* * *

Постучалась. Есть за дверью кто-то.
С шумом отпирается замок...
Что вам? Тут забота и работа,
Незачем ступать за мой порог.

Дальше. Дальше. Тут вот деньги копят.
Думают о семьях и себе.
Платья штопают, и печи топят,
И к привычной клонятся судьбе.

Бескорыстного ль искать меж нами?
Где-то он один свой крест влачит.
Господи, весь мир как мертвый камень.
Боже, мир, как кладбище, молчит.

1937

ПОСТАРЕВШЕМУ ДУШОЙ

Ты умнеешь год от году,
постигая жизнь с исподу,
недоверием к восходу
обставляешь свой уход.
Эта мудрость не поется,
поздней правдою зовется,
в срок просроченный дается,
впрок живущим не идет.
Это выгоревший уголь,
ложь и правда тупика.
Эта мудрость — жизни убыль,
белый холод ледника.

* * *

Стариковский семейный досуг
ставит ту же пластинку на круг.
Ах, какая привычная мука
повторяться от звука до звука,
завтра снова вчерашняя скука,
лишь бы только не помнить, что вдруг —
та последняя в мире разлука...

* * *

Я стесняюсь наряженных женщин,
как диковинных дивных птиц,
не могу среди мимо прошедших
отличить блудниц от цариц.

От нарядов, мундиров и званий
я всегда в удивленной тоске,
я могу, извиняюсь, как в бане,
лишь с нагой быть на равной ноге.

Пусть от форм и от формы шалею,
постарею — не стану мудрей,
но все чаще красавиц жалею,
как прекрасных и редких зверей ..

* * *

Рдеют тучи, синеву даря.
Минуту солнца упустить досадно.
О, этот лунный климат сентября! —
Одной щеке тепло, другой прохладно.

На пляже общество. Но от и до
Отпущен срок его любому члену.
Здесь не укореняется никто:
Вот убыл тот, а та взошла на смену.

Где прочность? Где стабильность? Все течет.
Дни общества — они наперечет,
Мы сходимся, любезно тараторя,
Временщики у вечных гор и моря.

Дни отпуска прощально хороши,
Но пляжники расставлены все реже,
И наконец у моря ни души,
Лишь ветер подметает побережье.

нтонина Баева

* * *

На подклети, на повети —
всюду, всюду звон.
Это солнце снова светит
с четырех сторон.
И как будто впрямь впервые,
вижу в первый раз:
всходят всходы яровые,
льется свет из глаз
у избы на солнцеставе,
у твоей тропы,
снова вижу, боже правый.
первый рост травы,
свет в бороздах,
свет на небе —
все впервой, впервой...
И клянусь в любви на хлебе
белой головой.

* * *

Босомыги, босиканы
мне милей, чем истуканы, —
сидни в норах на мешках...
Снова утром встану рано, —
первый луч на гребешках
алых-алых, петушинных...
Подзадорив певунов,
ухожу под рев машинный
в чисто поле,
до коров.

Косу — на плеч,
грабли — в руки,
рюкзачишко — на спине...
Только сердца перестуки
все слышней, слышней во мне...
Если кровушка заходит
за работу польскóй, —
ты и сам уже навроде
босомыги:
день-деньской
весь расстегнут и распахнут,
растелешен и разут...
и работой руки пахнут,
да и песня тут как тут.
Сочинять силком не надо, —
знай подхватывай ее:
вся округа песне рада,
день-деньской сама поет.

* * *

С огорода,
от плетня.
на зеленых лапах,
выйдет прямо на меня
весь полынный запах,
весь укропный,
полевой,
дедовский, домашний...
И паду я головой
в черный омут пашни
и наплачусь,
напоюсь
досыта, в охоту...
Слез своих не убоюсь,
коль услышит кто-то.
Я и виду не подам.
Просто не признаюсь,
что теперь по городам
на бездомьях маюсь
без травинки,
без листа,
без лесных скворешен...
Верю:
день мой неспроста
прожитым утешен.

Александр Ткаченко

* * *

Вот я в поезде еду, похожем
на тугой позвоночник...
В плоть страны входит он,
в день апрельский, погожий —
я пойму это позже, ночью,
когда буду не спать
и ворочаться с левого бока на правый,
я пойму это еще позже — утром,
когда в окнах Москва
побежит
и раскрутит подъемные краны...

От ее слов колеблется пламя коптилки, и худые
тени
матери и соседки качаются, как деревья в бомбежку.
Мать достает колоду.
«Тридцать шесть карт,
тридцать шесть чертей четырех мастей, быстро
летите,
всю правду скажите —
жив ли Степанов Сергей?»
Тридцать шесть чертей кружатся над Европой,
вылетая из-под мамино рукава, обжигая хвосты,
задыхаясь в дыму, разрывая рогами колющую
проводами,
летят над Европой, отыскивая следы рядового
Степанова,
и приносят весть: «Жив-невредим!»
Даже черная магия
на стороне Красной Армии.
Слеза соседки
падает на Берлин. Она дает мне крохотный
кусочек сахара — он светится в комнатной полутьме
и просится на язык. Соседка начинает кружиться
вокруг стола, подхватывает мать, и летят они
в несуществующем вальсе вокруг Европы.
Матери
нет тридцати. Соседка еще моложе. Сирень
ломится в открытые окна, а за сиренью
прячется, до полночи топчась у палисадника,
Герой Советского Союза, отвоевавший свое,
летчик дядя Вася — у него нет правой ноги,
он синеглаз, как небо.
Но у мамы в сердце — отец. Я засыпаю,
мне снится, что отец красноармейским ремнем
хлещет Гитлера, спустив с него штаны... Небо
становится ниже от гула наших бомбардировщиков —
они летят на запад. Им навстречу
летят эскадрильи треугольных солдатских писем,
и самое первое —
письмо от отца...

2. БАБУШКА, БОМБЫ И ЦВЕТЫ

Бомбили так,
что проступили наружу
круги Дантова ада,
а рай провалился под землю.
В красном углу
бабка громким шепотом костыляла бога:
«...да что же ты им разрешаешь делать,
или глаза у тебя повылазили, господи,
что ты... (взрыв)... же тебя просили (взрыв)...
чтобы мы уцелели... (взрыв совсем близко)... чтобы
Витю не убили... (взрыв рядом, вылетело последнее
стекло)... Господи... да будь ты неладен...»
Последние слова относятся к немецкому
бомбардировщику. В наш дом не попали.
Мы уцелели — может, бабкины слова
дошли до бога, может, случай спас.
«Ну, выполняйте!» — бабка, сняв лампаду,
светит под кровать
куда мы с мамой забились
в паническом страхе.
Бабка закуривает и крестится, продолжая ругаться.
Мать шутливо зовет ее хулиганкой.
Бабка — наше спасенье.

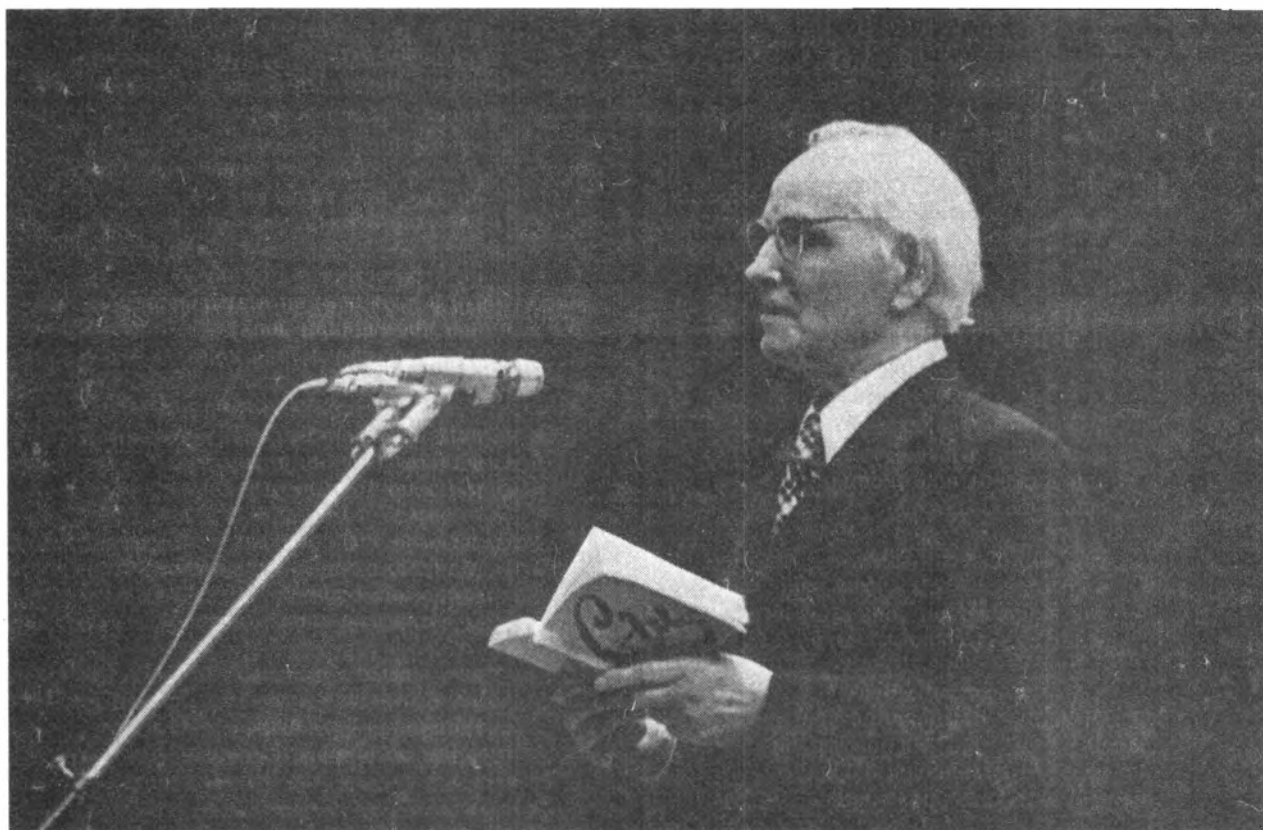
Когда первые немцы
(в сорок первом году)
драпали из Ростова, бабка
притащила конскую ногу.
(«Немецкий коняга или наш — все мясо!») и еще
маленький ящичек, как оказалось, битком
набитый нитками и швейными иглками.
Иголка стоила бешеных денег —
так же, как буханка хлеба
или баночка вазелина.
Мама перешивала старые вещи,
а бабка меняла иглки —
только на хлеб.
Так что мы были вскормлены с иголки.
Бабка, наверно, и вправду не боялась немцев —
в сорок третьем году (вторые немцы)
она подошла к танку возле нашего дома
и, похлопав по броне, сказала:
«Гут!» —
немцы заулыбались.
А бабка с ухмылкой продолжила:
«Будет гут, будет гут,
когда хвост подожгут!»
У бабки был сундук —
ничего таинственней я до него не видел:
мешочки с пуговицами, ленты, катушки,
банки-скляночки, канделябры
и всякая всячина, которая от беспорядка
приобретала таинственность. Мне разрешалось
забираться в сундук и копаться в свое
удовольствие.
«Только не трогай вот это!»
«Вот этим» оказались семена
цветов, завернутые в белые тряпицы.
Весной, когда сошли обильные снега,
она пошла на берег Дона
и принесла двенадцать касок
красноармейских...
(Немецких не брала:
«Цветы завянут в них, как и мозги завяли...»)
...и посадила в них все семена.
Цветы, каких я сроду не видал,
взошли в солдатских касках,
все соседки
у нас отростки брали. На окне
цвели цветы, а в небе
соперничали с ними частые салюты
в честь взятия и в честь освобожденья
отеческих и иноземных городов...

3. МЕНКА

Сговорила маму
тетка Ленка
ехать на менку.
На менку —
в далекое село, где есть
что поесть...
Сколько шли да ехали —
всю дорогу пели.
Охали да ахали
березы и ели.
Тетка Ленка скисла,
сломалась, как хворост,
Но только мамин голос
выгнал ее хворость...

На веселки вышли —
 выложили вещи:
 пожитки полунищенские,
 близкие к ветоши.
Отдали одеяло —
 за шмат сала.
 Шапку дедушки —
 за ковригу хлебушка.
 А мамину брошку —
 (отец перед войной подарил)
 за ведро картошки!
Удачная менка —
 будет сыт Петька,
 не помрет дедка,
 не опухнет бабка,
 ну а там, дай бог, с войны
 придет папка.
В душе радость цветет —
 удачная менка!
 Поскорее второй фронт
 открывай, Америка!

Назад не шли — летели,
 напугали лося.
 Всю дорогу мама пела,
 а домой вернулась —
 и обезголосела...
Мамин голос — семейная гордость —
 остался на менке,
 кому-то достался.
 В лесу на ветке
 закачался
 неведомой птицей.
Судьба —
 драма:
 мечтала стать певицей,
 быть ей просто мамой...
Я живу как живу,
 жну свой колос.
 Во сне, наяву
 все хожу на ту войну,
 в тот лес, где до сих пор
 поет мамин голос.



Степан Шипачев

Философское и научное творчество Михаила Бахтина широко известно читателям. В публикуемых двух фрагментах перед нами — ранний Бахтин начала 1920-х годов, Бахтин в начале своего пути. Фрагменты взяты из работы, своими идеями очень близкой известному большому труду Бахтина об авторе и герое, создававшемуся в те же годы. В этих ранних трудах закладывались основы того, что сам мыслитель называл своей философской эстетикой.

I

Единство мира эстетического видения не есть смысловое-систематическое, но конкретно-архитектоническое единство, он расположен вокруг конкретного ценностного центра, который и мыслится и видится и любится. Этим центром является человек, все в этом мире приобретает значение, смысл и ценность лишь в соотношении с человеком, как человеческое. Все возможное бытие и весь возможный смысл располагаются вокруг человека как центра и единственной ценности; все — и здесь эстетическое видение не знает границ — должно быть соотносено с человеком, стать человеческим. Это не значит, однако, что именно герой произведения должен быть представлен как содержательно-положительная ценность, в смысле придания ему определенного положительного ценностного эпитета: «хороший, красивый» и под., эти эпитеты могут быть все сплошь отрицательными, он может быть плох, жалок, во всех отношениях побежден и превзойден, но к нему приковано мое заинтересованное внимание в эстетическом видении, вокруг него — дурного, как вокруг все же единственного ценностного центра располагается все во всех отношениях содержательно лучшее. Человек здесь вовсе не по хорошему мил, а по милу хорош. В этом вся специфика эстетического видения. Весь ценностный топос, вся архитектоника видения были бы иными, если бы ценностным центром был не он. Если я созерцаю картину гибели и совершенно оправданного позора единственного любимого мною человека — эта картина будет совершенно иной, чем в том случае, когда погибающий для меня ценностью безразличен. И не потому вовсе, что я буду стараться оправдать его вопреки смыслу и справедливости, все это может быть исключено, картина может быть содержательно справедливой и реалистичной, и все же картина будет иная, иная по своему существенному топосу, по ценностно-конкретному расположению частей и деталей, по всей своей архитектонике. я буду видеть иные ценностные черты и иные моменты, и иное расположение их, ибо конкретный центр моего видения и оформления картины будет иным (...)

Итак, ценностным центром событийной архитектуры эстетического видения является человек — не как содержательно себе тождественное нечто, а как любовно утвержденная конкретная действительность. При этом эстетическое видение отнюдь не отвлекается от возможных точек зрения ценностей, не стирает границу между добром — злом, красотой — безобразием, истиной — ложью; все эти различия знает и находит эстетическое видение внутри созерцаемого мира, но все эти различия не выно-

сятся над ним как последние критерии, принципы рассмотрения и оформления видимого, они остаются внутри его, как моменты архитектоники, и все равно объемлются всеприемлющим любовным утверждением человека. Эстетическое видение знает, конечно, и «избирающие принципы», но все они архитектонически подчинены верховному ценностному центру созерцания — человеку.

В этом смысле можно говорить об объективной эстетической любви, не придавая только этому слову пассивного психологического значения, как о принципе эстетического видения. Ценностное многообразие бытия, как человеческого (соотнесенного с человеком), может быть дано только любовному созерцанию, только любовь может удержать и закрепить это много- и разнообразие, не растеряв и не рассеяв его, не оставив только голый остов основных линий и смысловых моментов. Только бескорыстная любовь по принципу «не по хорошему мил, а по милу хорош», только любовно заинтересованное внимание может развить достаточно напряженную силу, чтобы охватить и удержать конкретное многообразие бытия, не обеднив и не схематизировав его. Равнодушная или неприязненная реакция есть всегда обедняющая и разлагающая предмет реакция: пройти мимо предмета во всем его многообразии, игнорировать или преодолеть его. Самая биологическая функция равнодушия есть освобождение нас от многообразия бытия, отвлечение от практически не существенного для нас, как бы экономия, сбережение его от рассеяния в многообразии. Такова же и функция забвения.

Безлюбость, равнодушие никогда не разовьют достаточно силы, чтобы напряженно замедлить над предметом, закрепить, вылепить каждую мельчайшую подробность и деталь его. Только любовь может быть эстетически продуктивной, только в соотношении с любимым возможна полнота многообразия.

II

Мир, где действительно протекает, свершается поступок, — единый и единственный мир, конкретно переживаемый: видимый, слышимый, осязаемый и мыслимый, весь проникнутый эмоционально-волевыми тонами утвержденной ценностной значимости. Единую единственность этого мира, не содержательно-смысловую, а эмоционально-волевою, тяжелую и нудительную, гарантирует действительности признание моей единственной причастности, моего не-алиби в нем (...)

Этот мир дан мне с моего единственного места — как конкретный и единственный. Для моего участного поступающего сознания — он, как архитектоническое целое, расположен вокруг меня как единственного центра исхождения моего поступка: он находится мною, поскольку я исхожу из себя в моем поступке-видении, поступке-мысли, поступке-деле. В соотношении с моим единственным местом активного исхождения в мире все мыслимые пространственные и временные отношения приобретают ценностный центр, слагаются вокруг него в некоторое устойчивое конкретное архитектоническое целое — возможное единство становится действительной единственностью. Мое активное единственное место

не является только отвлеченно геометрическим центром, но ответственным эмоционально-волевым, конкретным центром конкретного многообразия бытия мира. Здесь стягиваются в конкретно-единственное единство различные с отвлеченной точки зрения планы: и пространственно-временная определенность, и эмоционально-волевым тона и смыслы. Высоко, над, под, наконец, поздно, еще, уже, нужно, должно, дальше, ближе и т. п.—приобретают не содержательно-смысловую—только возможную—мыслимую,—но действительную, переживаемую, тяжелую, нудительную, конкретно-определенную значимость с единственного места моей причастности бытию-событию. Эта действительная моя причастность с конкретно-единственной точки бытия создает реальную тяжесть времени и наглядно осязаемую ценность пространства, делает тяжелыми, не случайными, значимыми все границы—мир как действительно и ответственно переживаемое единое и единственное целое.

Если я отвлекусь от этого центра исхождения моей единственной причастности бытию, притом не только от содержательной определенности ее (пространственно-временной и т. п.), но и от эмоционально-волевой утвержденности ее, неизбежно разложится конкретная единственность и нудительная действительность мира, он распадется на абстрактно-общие, только возможные моменты и отношения, могущие быть сведенными к такому же только возможному, абстрактно-общему единству. Конкретная архитектура переживаемого мира заменится не-временным, и не-пространственным, и неценностным систематическим единством абстрактно-общих моментов (...)

В данной единственной точке, в которой я теперь нахожусь, никто другой в единственном времени и единственном пространстве единственного бытия не находится. И вокруг этой единственной точки располагается все единственное бытие единственным и

неповторимым образом. То, что мною может быть совершено, никем и никогда совершено быть не может. Этот факт моего не-алиби в бытии, лежащий в основе конкретного и единственного долженствования поступка, не узнается и не познается мною, а единственным образом признается и утверждается (...)

Конечно, этот факт может дать трещину, может быть обеднен: можно игнорировать активность и жить одной пассивностью, можно пытаться доказать свое алиби в бытии, можно быть самозванцем. Можно отказаться от своей долженствующей единственности.

Ответственный поступок и есть поступок на основе признания долженствующей единственности. Это утверждение не-алиби в бытии и есть основа действительной нудительной данности-заданности жизни. Только не-алиби в бытии превращает пустую возможность в ответственный действительный поступок (...)

И таким поступком должно быть все во мне, каждое мое движение, жест, переживание, мысль, чувство—только при этом условии я действительно живу, не отрываю себя от онтологических корней действительного бытия. Я—в мире безысходной действительности, а не случайной возможности.

Отвлеченно смысловая сторона, не соотношенная с безысходно-действительной единственностью,—проективна; это какой-то черновик возможного свершения, документ без подписи, никого и ни к чему не обязывающий. Бытие, отрешенное от единственного эмоционально-волевого центра ответственности,—черновой набросок, непризнанный возможный вариант единственного бытия; только через ответственную причастность единственного поступка можно выйти из бесконечных черновых вариантов, переписать свою жизнь набело раз и навсегда.

Публикация С. Г. Бочарова

Лариса Васильева

* * *

У зимней птицы хриплый голосок
и ловкая строптивая повадка,
ей крошка хлеба — лакомый кусок:
зима не кормит досыта и сладко.

Зачем она стремится от тепла,
всегда вослед за снегом улетающая?
Я, кажется, недавно поняла,
ее игру в сугробе наблюдая,

что холод есть источник теплоты,
как темнота — всегда источник света,
и тот с высоким космосом на «ты»,
кто понял это.

* * *

Далекий голос был печален,
а приближаясь, веселел.
Мне снился снег среди проталин
и тот, кто властно повелел, —
а что не помню.

Утро было
похоже на вечерний час.
Окно осеннее открыла.
Свет солнца вспыхнул и погас.

Лица жестокое соседство
затрепетало на ветрах.
На миг ко мне вернулось детство:
восторг, волнение и страх —
и вмиг исчезло.

Но осталась,
как облетевшая листва,
неуправляемая шалость,
преображенная в слова,

и дерзко память подсказала,
какая мне досталась власть:
другая женщина стояла
и устояла — не сдалась.

С какой отважной родословной,
что за чертой и у черты,
как не почувствовать виновной
себя в поступках правоты.

* * *

Борису Примерову

В жестоком кольце традиций
лишь тот разорвет кольцо,
кто прямо и без амбиций
посмотрит судьбе в лицо,

кто беды свои забудет
во имя вселенских бед,

кто правого не осудит,
хоть правых на свете нет,

кто чувствует виноватым
себя на земном пути,
кто проклятым и проклятым
сумеет сказать:
— Прости!

Кто в черном и бурном дыме
увидит сполох огня,
кто жизнь проживет во имя
сурового мига дня.

ОЖИДАНИЕ

1

Сны наплывают волшебной волной,
вольные сны.
Ветер волос золотисто-льняной,
голос весны,
глаз голубых овевающий свет,
жар алых губ,
лоб рассекающий черный след,
засыхающий струп.

Прикосновение руки — ожог,
ноет плечо.
Что же ты, десятилетний дружок,
так горячо
чувствуешь силу мужскую и власть,
куклы не снятся?
Хочется плакать, смеяться и всласть
нацеловаться.

Кто он — со шрамом каждую ночь
в снах ищет места?
Двадцатилетнему ты ведь не дочь
и не невеста.
Как объяснить, что, взойдя на крови
выше предела,
ты преждевременно жаждешь любви,
рано созрела?

2

Стояла девочка у поворота,
в ладони сжав ромашковый венок,
шла мимо шагом строевым пехота
уже с востока, а не на восток.
Конец войны повис не за горами.
Запахло хлебом из сырой избы.
Дымы над обожженными дворами
текли по воле матушки-судьбы.
Стояла девочка, тревожно в лица глядя,
но на нее никто не поглядел,
в простом своем, застиранном наряде...
В весеннем небе жаворонок пел.

Солдаты шли. Глядел ребенок зорко
с застывшею, прозрачною слезой.
Пронзительного запаха махорка
соревновалась запахом с кирзой.
И вдруг она, как птаха, в строй влетела.
Светловолос, высок, голубоглаз —

она нашла того, кого хотела,
и шрам на лбу венчал простой рассказ.
Он нес ее, не замедляя шага,
нес на плечах высоко-высоко,
и пела в ней солдатская отвага,
и было ей свободно и легко.
— Смотри, на фронт не унеси ребенка!
— Не дочку ль встретил в середине дня? —
Он засмеялся широко и звонко
и крикнул ей:
— Невеста, жди меня!

3

Она ждала его на том же месте
не день, не два. Упрямец росла.
Не полагалось изменять невесте.
Не дождалась. А все-таки ждала.

Да что ждала!
По всей земле искала
на перепутьях четырех сторон
и если раз другого приласкала,
то на мгновенье показалось — он!

Шаги.
Стук в дверь.
Дождя полночный шорох.
Далекий, приближающийся свет.
Ей каждый знак невыразимо дорог,
на каждый звук один в душе ответ.

Она живет, не плачет, не страдает,
растит дитя, вершит свои дела.
ежеминутно встречи ожидает,
покуда смерть судьбы не пресекла.

ХОРОВОД

Это девушки в моих сарафанах,
отхлебнувшие моей трын-травы,
в энергичных и трагично-румяных
заблудилась я, как в соснах, увы.

Вы несколько на меня не похожи.
Я давно себя забыла уже.
Откровение — морозом по коже.
Вдохновение — ножом по душе.

Ах, зачем вы ухватили в охапки
то, что я швырнула в мусор со зла:
эти бусы, сарафаны и шапки —
невидимку я с собой унесла.

Одинокая стою между вами,
опостылевшую слушаю речь.
осторожного совета словами
от себя хочу я вас уберечь:

«Путь мой славный никуда не приводит,
кроме горя ничего не сулит...»
Но веселый хоровод хороводит,
и подходит, и со мной говорит:

«Сарафанчики, косынки и шали,
ты, голубка, по наследству взяла,

а сапожки тебе, милая, жали,
оттого босая по снегу шла».

Хоровод уйдет и снова вернется,
Ефросинью Ярославну поет,
как холодной водой из колодца,
он предчувствием меня обдает:

та, что тайну отличит от секрета,
обожжет о полночь солнечный взгляд...
Я гляжу в неповторимость рассвета,
ухожу в неотвратимый закат.

* * *

Памяти поэта Павла Мелехина

Я живу на девятом. И взгляд мой представил,
как с девятого этажа
вниз шагнул человек удивительный, Павел,
не боясь, не дрожа.

Я живу на девятом. Я плакать устала
от потерь и тревог.
Я Мелехина знала прекрасно. И мало.
Он когда-то себе написал некролог.

Вот теперь озираюсь и сожалею:
зря он мимо прошел.
Утешать хорошо и легко я умею,
он бы место нашел

где-то рядом с моей развеселой невзгодой,
на пути в никуда.
Он бы громко гордился своей несвободой.
Я была бы горда

тем, что я приютила большого поэта
без признанья почти,
тем, что Павлу признанье не надобно это,
а желаешь — прочти.

Все мы задним числом героини, герои,
невозможное видим во сне.
а Мелехин, укрытый землею сырою,
не нуждается вовсе во мне.

Он сказал свое слово. Он выразил время.
Неприкаянный? Пусть.
Зря грядущее, странное, новое племя
не запомнит его наизусть.

* * *

Вот чудо!
Польнь.
Это сизое пламя,
сиянье сверчков
и сполохи дождя,
и небо —
осеннее,
серое,
голое,
и поле,
в котором укрыться нельзя.

Вот чудо!
 Зимы
 залихватское жжение,
 горячего холода
 мягкая тьма.
 Вот чудо!
 Взлетающих почек
 кружение,
 зеленых, лукавых сердец
 кутерьма.
 Вот чудо!
 Ужели оно позабудется?
 Когда-нибудь, кто-нибудь скажет:
 «Аминь!»
 Ужели предчувствие жизни не сбудется
 и канут надежды в густую полынь?
 Ужели окончится молодость длинная,
 ее безрассудный, кипучий поток?
 Ужели забудется сказка старинная
 и алым по черному долгий платок,
 на горькие плечи однажды наброшенный,
 и сброшенный с чьих-то торжественных плеч,
 и мной от того одного не заношенный,
 что надо хоть малое в жизни сберечь.
 Вот чудо!
 Я вижу сиянье небесное,
 открытые дали в неведомый свет,
 и рвется волненье мое бесполезное,
 которому права и имени нет.
 Вдруг солнце меня обжигает прозрением:
 вся жизнь — не мечта ль о несбывшемся сне?
 И тихие травы прохладным волнением
 согласное что-то отвечают мне.

Егор Митасов

СТЕПНЯК

Кто увидит его только раз,
 Сразу скажет — откуда он родом:
 От одежды, улыбки и глаз
 Веет степью, ветрами и медом.

Этот взгляд из-под черных бровей,
 Этот говор неспешный сторонкой...
 Даже лошадь стихийных кровей
 Ходит следом за ним собачонкой!

У ЗЕРКАЛА

Будто прожил немало...
 А нежданно вчера
 Вновь меня окликала
 Золотая пора.
 Подошла и прильнула,
 Обласкала добром
 И приветно качнула
 Молодым серебром.
 Будто сердце хотело
 Вновь запеть о любви,
 Но сказать лишь успело:
 «Поминай и живи».

Олеся Николаева

ХРАБРЫЙ КОРАБЛИК

Этот платок, помнишь, мама, ты надевала,
 когда в море входила,
 чтоб кудри от брызг защитить,
 а теперь он валяется то на полу кладовки,
 то посреди квартиры.
 а ты, мама, все не идешь купаться,
 и кудри твои развилась.

А на этом платке — чудесный рисунок —
 с волнами споря,
 храбрый кораблик куда-то плывет
 много дней и недель,
 а когда-то он звал и меня в путешествие
 за три моря
 и говорил — надо бояться только того,
 чтоб не сесть на мель.

Господи, да когда же счастье такое было?
 О какой камень оно сокрушилось?
 И где его мачты в морской траве?

О, как плыл этот отважный кораблик,
 даже когда штормило, —
 на кудрявой маминой,
 на ее молодой, лихой голове!

* * *

Чу! — метель переводит дыхание, чтобы опять
 с новой силой снежком —
 да погуще, послаще
 жахнуть, шарахнуть, подбавить, покрепче поддать,
 дворницкий труд перепутав с занятием пропацим.

«Что за пропащее дело — мой дворницкий труд!» —
 плачется Галька.

«Ну что ты — ты просто устала!
 Видишь — и нервы тебя, будто утварь, сдают
 в распоряженье мятежного снежного шквала!..»

А ведь метель переводит дыхание, чтобы — обнять
 с новой силой: снежком —
 да погуще, послаще
 жахнуть, шарахнуть, подбавить и жару поддать
 любвеобильным, влюбленным, по снегу летящим!

Даже во дворницкой вьюга заносит следы,
 за сердце схватит — из белого плена не выйдешь;
 руки опустишь — рукою подать до беды:
 пустишь слезу — и уже ничего не увидишь!..

Трудно, конечно, с пространством глухим воевать,
 спор со стихией вести ради тропки малейшей!
 Только не так уж и долго тебе горевать:
 стопчется снег и сольется с землей чернейшей.

А ведь метель переводит дыхание, чтобы поддать
 с новой силой снежком —
 да послаще, погуще —
 жахнуть, шарахнуть, подсыпать да нас разгадать —
 вольнонаемных и вольно на свете живущих!

Владимир Макаров

ЖИВОЙ ХЛЕБ

Дороже и злата, и соболя
он—всем и всему голова.
У хлеба значение особое:
державные держит права.

И так повелось это исстари:
изба пирогами красна.
Хлеб—наиглавная исповедь
пред жизнью во все времена.

Спросите моих сверстников—
подростков военных лет;
ответят: Победы вестником
был горький военный хлеб.

А если меня спросите,
как павшим по праву воздать?
Должны живые колосья
памятники украшать.

Эдуард Балашов

* * *

Звук закатный, час простой.
Свет вечерний, свет священный,
Вдохновенный, откровенный,
Незабвенный,—стой-постой!—
Звук закатный, час простой.

Уходящей красотой
Даль сжигает самоменье
И растит крыла смиренья.
И всему несет прощенье
Звук закатный, час простой.

* * *

Извечно гений красоты
Самозабвеньем одаряет
Того, кто сердце отворяет
Расположенью красоты.
Она в тебе, и ты—не ты!
Дитя иного воплощенья,
Несешь из сада восхищенья
Самозабвенные цветы.

* * *

Луг трепещет.
Травы плещут,
В путь собираются цветы.
Это ветер или ты?

Бьются лодки друг о друга.
Пробегает рябь испуга.
Весла скрипом налиты.
Это ветер или ты?

* * *

Одиночества ребенок—
Ходит мудрость по земле.
Не нашла себе пеленок—
Мерзнет мудрость на земле.
Так, должно быть, суждено:
По устам ловить ответа,
По сердцам молить привета.
Ей средь бела дня темно,
Ибо свет она от света,
Где при матушке тепло,
Где при батюшке светло.

Владимир Нежданов

* * *

Тихий вечер в родительском доме.
До реки вся деревня видна.
Хорошо мне в заветном укроме
под луной постоять у окна!
И душа ни о чем не болит—
тихо дремлет родная округа,
и туман над рекою стоит,
как застывшая во поле вьюга.
Лишь нет-нет да взвьется зарница,
скрипнет ель за чердачным окном
и чуть слышно в ответ половица
отзовется ей в доме ночном...

ВСТРЕЧА

Ты не подал руки.
Только вскрикнул: «Не тронь!»
О чужие ладони
сотрется ладонь!
Никакая гадалка
не станет гадать—
те линии стерлись
где «жить—умирать».

* * *

Здесь давно ничего не растет.
Но зато постоянно светает.
И под небом ничто не живет.
Выше неба птицы летают.

Дождь не может пробиться к земле.
А уже кончается лето...
Все живое в нашем селе
легче света.

* * *

Хотел обнять...
Вдруг лодка покачнулась,
на солнце вспыхнуло весло!
Ты против ветра улыбнулась—
улыбку ветром отнесло!

Александр Говоров

* * *

Всю тебя, моя земля,
Воспоем, изучим.
Не шипи же ты, змея,
Шипением
ползучим.
Не шипи, когда пою,
Воспеваю землю.
Больше жизни я люблю
Русь
и всех,
Кто с нею
Был
и есть,
И будет с ней
В век наш суетливый...

На земле живу своей
Под звездой счастливой.
Слушай, сын мой!
В свой черед
На земле освойся:
Кто живет,
как поет,
А поет,
как живет,
Не стареет вовсе.
Потому я
Счастье пью,
Воспеваю землю...

Больше жизни я люблю
Русь,
и всех,
Кто с нею.

Алексей Прийма

ДВОЕ

Я регулярно хожу на Казанский вокзал в
Москве — встречаю-провожаю земляков-
ростовчан. И регулярно встречаю на вокзале
эту парочку — этих старшеклашек, прибега-
ющих целоваться туда, где можно в открытую
целоваться всем...

Синий шар, вон синий шар, ах, синий — над толпою!
Синий! Трехкопеечный! Со шпагатиком внизу!

Ахну и поймаю его — правою рукою...
Левою — ах, синий шар за ниточку возьму...

Я его повыше подниму — ну да, повыше! —
чтобы сигаретой не прожгли в толчее.

Мне бы донести его до облачка рыжего,
прикорнувшего вон там у паренька на плече.

«Прибытие-отбытие...» — не для них те сводки.
Зря зазывно дергает носильщик ремни.

Эти старшекласники с ума меня сводят.
Я бы не додумался вот так... как они...

Ну, это как особая примета вокзальная —
мчишься по перрону, а они — уже тут.

Вволю нацелуются у «общего» рязанского,
а потом к ростовскому «купейному» бегут.

«Здравствуй...» —
возле сочинского, № 18.
«До свиданья...» —
возле отходящего к Орлу.

Здравствуй — до свиданья, здравствуй — до свиданья,
я тебя люблю — и я тебя люблю.

Это — за пределами. Выше понимания.
Спрятались от всех среди всех. В толчее.

Встречи и разлуки.
Суета вокзальная.
Облачко зашкольное на школьном плече.

Вот зачем мне синий шар, да, синий шар, ах, синий...
Я его несу сквозь тарарам-кавардак,

а потом шепну я им: «Ребята, простите...
Это вам, ребята... Ну да, просто так...»

Вадим Рабинович

ОЖИДАНИЕ ДОЖДЯ

Траву срезала ласточка одна.
Потом стремилась ввысь литое тело.
Недвижная стояла тишина.
И солнце
Посреди небес
Висело.

И стрекоза,
Распластанно вися,
Крылами папиросными шуршала.
И заводь зацветала —
В ряске вся.
А почва выцвела.
И не дышала.

Последнего исполненный огня,
Свет тьмою стал,
Себя же сам сжигая.
Как бы впотьмах
Я брел средь бела дня,
Руками
Твердый воздух
Раздвигая...

Паук вертел свое веретено.
И жук-рогач поигрывал на лире.
Я ждал дождя.
Но не было его.
Я ждал грозы.
Но душно было в мире.

ВЕНОК

Плела венок.
Ромашковый венок.
И голубой выюнок
В него вплетала.
Вечерняя заря оттрепетала,
Воды коснувшись...
Легкий ветерок
Спугнул ковыль, что ластился у ног,
Тревоги первой возвестив начало.
И по щеке,
Насколько видеть мог,
Заметил, как слезинка пробежала.

Внимательный к чужим слезам любым,
В особенности женским,
«Что случилось?» —
Спросил ее.
Она в ответ смутилась:
«Я сочетаю белый с голубым.
А желтый —
В серединочку запрячу...
Вот почему печалюсь я
И плачу».

Игорь Мазнин

* * *

Только снег,
Только эта ограда
И закатное солнце вдали...
Больше нет ничего,
и не надо
Ничего, кроме этой земли,
Где лежат мои милые предки,
Где такая влекущая ширь
И так щедро на замёрзшей ветке
Пышет жаром
замёрзший снегирь.

Вера Шарыгина

* * *

Отболело, отгорело,
Отзвенело — смолкло.
Я любила, как умела,
И любила долго.
Я любила, как ходила
Над обрывом-яром,
Что имела — не хранила,
Отдавала даром.
Я любила — как летала
В переливах света!..
Отлетала, отмечтала...
Не кори за это.

* * *

Росток убогий Солнце полюбил —
к нему тянулся, не жалея сил.
Недосягаемо... Его ль вина?..
Но как прекрасна стройная сосна!

Валентина Мальми

КОЛОМЕНСКОЕ НОЧЬЮ

Возникнув на сердечной высоте
меж прошлым, и творящим, и грядущим,
Коломенское светит в темноте
всем за полночь по берегу бредущим —
метет ли непроглядная пурга,
осенняя ли свищет непогода...
Под ним течет мазутная река.
над ним плывут дымы автозавода.
Там вечность размышляет не спеша,
и скоро утро, и восток зайснет...
Так отчего сжимается душа,
когда какой-то огонек погаснет?
Как будто в той цепочке золотой
живая жизнь вздохнет и оборвется...
Но этот воздух — древний и святой!
И за рекой строительство ведется...

* * *

Туча примчится — сторонка моя омрачится.
Ветер промчится — и все-то на миг затаится.

То-то с утра надрываются черные птицы:
что-то случится, ой, что-то сегодня случится!

Вы не успели убрать с огорода картошку,
вы не успели доесть за обедом окрошку,

только лишь дед уцепил деревянную ложку,
глянь — это град-виноград застучал по окошку!

Но, говорю, никогда ничего не случится!
Туча промчится: любая каморка — светлица!

Солнышко в небе — и солнышко на половицах!
Солнышко в небе — и нету тревоги на лицах!

РОДОСЛОВНАЯ

1

На мутной воде и на финнах
замешена ты,
на мельницах, ригах, плотинах,
огне нищеты!

Захочется снова,
на черные глядя холмы,
не то чтоб — суровой,
хотя бы холодной — зимы.

На мутной воде и на финнах...
Так что же? Ну, что ж...
В российских моих палестинах
волнуется рожь!

И предками пройден,
наверное, лучший мой путь...
Но — нету двух родин.
Я знаю. И ты не забудь.

2

*Памяти моего деда Адама Мальми,
погибшего на первой мировой войне.*

Из могилы поднявшись,
осилив карпатские ветры,
он идет, он идет,
скоро будет в родимом краю!
За плечами его
кропотливо пылят километры,
и проспавшие ангелы
стражу ругают в раю.

Под старинную песню,
где воют «снаряды-шрапнели»,
по железному тракту,
гремящему в черном огне,
дед мой Адам идет,
в длиннополой военной шинели,
что теснится у сердца
и комом встает на спине...

Замирает на кручах.
Дымит самокруткой в вагонах.
По заросшему склону
спускается к сонной реке...
И австрийское солнце
играет на русских погонах,
и румяная зорька
смеется в его козырьке.

И теперь разглядишь ли —
за моросью невских туманов,
и чухонских болот,
принимавших на сердце гранит,—
как навстречу ему
выезжает полковник Ив́анов
и закатное солнце
на русских погонах горит?

...Вот и родина.
Дом.
Что за легкость
в измученном теле!
Что за жалостный ком
ворохнулся в крестьянской груди?
Он идет, невелик,
в длиннополой военной шинели,
и на этой земле
у него еще все впереди!

3

Я все понимаю. Хоть нечего тут понимать.
Что люди? На солнце — и то обнаружены пятна.
А вьюги хохочут, а ливни грохочут опять,
и в светлом бору вырастают, как в детстве, опята.

Прекрасная родина! Что я тебе и зачем?
Мои старики — всего-навсего переселенцы,
приявшие все без особенных философем,
осевшие там, где указывал перст самодержца.

А перст указал на глухие, как ночь, рудники,
на белый простор, обжигающий зимник ребристый...
А люди-то жили повсюду... Как дома крепки!
И в эту ли землю когда-то легли декабристы?

Спасибо скажу, отвергая корысть и тщету,
всем сердцем любя коренное твое население,
за то, что оно принимало как есть нищету
болотной чухны, вдруг ниспосланной на поселенье.

Всего нам хватило. И корма, и дров, и воды.
А если чего не хватало — так мы ж не собаки.
А кроме того, выручали под осень сады,
и кроме того, заливалась гармошка в бараке!

Я слезы утру, улыбнусь и пойду напрямки,
как велено было — на холод и зимник ребристый.
Спасибо Судьбе за глухие, как ночь, рудники,
за милую землю, в которой лежат декабристы.

Валерий Дементьев

О КРАСОТЕ

* * *

Вновь выхожу встречать закаты
За старый деревенский дом,
Огнем малиновым объятый,
Все размышляю об одном,—
О том, что есть и были прежде
Сердцам заветные места
И что отраде и надежде
Сестра родная — красота!

* * *

Все замерло. И стынут в дреме
Деревни. Озеро. Река.
Но все грозней на окоеме
Встают стеною облака.
Вот так творится мирозданье,—
Не то что на страницах книг.
И пламенем самопознанья
Ты опален в какой-то миг.

* * *

А озеро — оно большое,
Его не выскажешь в словах,
То огневое, то литое,
То — в белокипенных валах.
И если красота в свободе —
Я это чувствую давно,—
То воплощением в Природе
Всегда является оно.

* * *

На мотоцикле мальчик мчится —
весь мир мелькает перед ним,
как птицы, пролетают лица,
дома, садов зеленый дым.

Промчал от нас на отдаленье,
не замечая ничего, —
колес беспечное вращенье
мгновенной юности его.

Остудный ветер тонко свищет —
а никакого ветра нет! —
топорщит куртки полотнище,
относит гари синий след.

Асфальта влажное мерцанье,
дороги резкий поворот...
Нам, пешим, радость созерцанья
за ним сорваться не дает.

Ревущий треск мотоциклета,
как ветер, если ветра нет,
сбивает листья с веток лета,
роняет с выхлопом ранет...

И мчится мимо чья-то юность
и не оглянется на нас,
а если б только оглянулась,
то сразу б и оборвалась.

ДОРОГА

Лежит брус
Во всю Русь,
Встанет — до неба достанет.

Русская загадка

И встала до неба дорога,
и небо достала... О том
загадывал бойко с порога
бродяга, оставивший дом.

Ослепший от звездного света,
и он заскучал, наконец,
задолго предвидевший это,
его не дождался отец.

И мать не дождалась, и братья,
и даже праправнуки их.
Не встретил родные объятья
гулявший в пространствах иных.

И дома — ни дома, ни праха,
ни щебня какого-нибудь!
Истлела на теле рубаха,
в которой он кинулся в путь.

Достала до неба дорога
и блудного сына взяла,
наверно, еще бы немного —
и вовсе с Земли увела.

* * *

Я начинаю привыкать
К тому, что все зовут судьбою.
Что никогда наверняка
Нигде не встретимся с тобою.
Уже черты твои слились
С другим. Вы в чем-то так похожи!
Но ты, единственный, вдали,
Навек останешься прохожим.
Все листопады, все дожди,
Все рыжее великолепье
За мной с угрюмостью следит,
Не то кляня, не то жалея.
Живу, в заботы прячу боль.
Ведь все когда-нибудь кончается!
Прощаюся каждый день с тобой,
Да ничего не получается!

* * *

А я тебя лепила не из плоти.
Из лунной ночи, солнечного дня.
И, двери за тобой захлопнув плотно,
Я знала, не ушел ты от меня.

Прорвешься солнцем, ливнем захохочешь
И грянешь громом среди бела дня...
Какой еще ты преданности хочешь,
Чего еще ты хочешь от меня?!

Татьяна Глушкова

* * *

Когда красавицей была,
когда душой твоей владела,
когда оливковое тело
как будто душу берегла;

когда черемуха мела
по голубому Подмосквью;
когда бессмертной любовью
любовь умершую звала;

когда береза, как сестра,
под ветром примеряла серьги,
а там, у чернышевской церкви,
всходили нежно клевера;

когда широкие леса
кукушка гулко окликала, —
я никого не узнавала,
а только шла на голоса

и только думала: продлись,
земли сырой родное счастье,
а вы, нивянки, разукрасьте
за речкой даль, за речкой близь,

а ты, пшеница, колосись
по обе стороны дороги,
а вы повремените, сроки
прощанья — длительностью в жизнь!

И ты, кого еще люблю,
и ты, кого еще лелею,
поберегись: казною всею
еще заплатишь соловью,

заплатишь знобким вечерам,
моим бузинникам горячим
и тем заносчивым, незрячим,
тобой не читанным словам,

какие в книжицу мою
весна московская вписала,—
когда красавицей слыла,
когда разлучницей бывала!

Когда ступала золотым
лужком удушливой сурепки...

А после — ветошки да щепки,
и эта гарь, и этот дым.

А после — только черепки
той виноградной полной чаши,
в которой смех и слезы наши
еще горят среди строки,

еще уводят за село,
еще сажают под окошко,
где бродит горькая гармошка
и всю-то ноченьку светло!

В ДОЛГОТЕ ДНЕЙ

1

Уже из головы твоей
пророс седой лопух.
И все прозрачней и светлей,
прохладнее твой дух.

И все спокойнее глядишь
на прежнюю меня.
В такую даль, в такую тишь
не донесу огня.

В такую вешнюю страну,—
все вишенье в цвету,—
хотя б и голову пригну,
не пустят за версту!

Хотя б надела расписной
любимый твой наряд.
Хотя прикинусь молодой,—
«Нет входа»,— говорят!

Хотя в лукошко положу
барвинка синеву,
хотя и лягу на межу
да в градинах траву.

А видно, что еще жива
и замыслов полна
и что хвораю-то едва
и даром, что одна.

И так усмешливо мой дуб
кудрями шелестит,
корой порушенной груб,
а желудем блестит!

И так пылает на плече
мой золотой загар,
что льются клятвы при свече
и рвутся семь гитар.

И только в памяти твоей
я, может, умерла...
Они насущней и верней,
посмертные дела!

2

А вот из школы потекла
тропинкой детвора —
и я безмолвна и мала,
как завтра, как вчера.

И я сжимаю твой букварь,
отеческая речь.
В такую сушь, в такую гарь
легко ль его сбережь?

В такую долгую страду,
в такой далекий путь
иду, иду себе, иду —
и некуда свернуть!

Ни даже на горячий холм,
под дремлющий лопух.
Ни в этот рай, ни в этот челн,
ни чтоб земля — как пух.

Ни чтоб вконец уже устать,
ни чтоб передохнуть.
И шлет сырая эта падь
простудный ветер в грудь.

То бродит новая весна
у горького двора...
Бывало — слишком уж юна,
а глядь — уже стара!

Бывало, только и пою,
как шелкнет из ветвей
по душу робкую мою
слетевший соловей.

Бывало, только и живу —
до встречи, до зари...
А вот копнят уже траву
в тумане косари.

А вот уже перемогла
осенний перевоз.
Дождит. Полночная мгла
полна, как вечность, слез.

И я не думаю уже,
он внемлет или нет,
кто был мне братом по душе
или бобыль-сосед.

А что и есть в моей груди,
так эта долгота
неугасимого пути,
разутая верста!..

Аркадий Канькин

ЧЕКАН

Ушлый умелец, парень-хват,
за достойную мзду
починит машину, посадит сад,
с неба сорвет звезду.

Не из нахальства, а просто так,
из вящего удалства,
работы выполнив на пятак,
заламывая рупь или два.

Подкручивал, клеил, ладил, строгал.
И вскоре к тому привык,
что в доме хрусталь, желтый металл
и стенка престижных книг.

Не дом, крепость! Любой ураган
не страшен в таком дому.
Был счастлив малый. Но вот чекан
дружок подарил ему.

И он сказал половине своей:
«Тебя в полной красе
изобразю я за пару дней.
От зависти сдохнут все!»

Испортит медный лист и другой.
Дело на лад не шло.
Засел вплотную. Ни в зуб ногой!
Чему дивился зело.

Все чаще пилила его жена:
— Кончай баловство! Поиграл —
и хватит! — А он стучал допоздна,
переводя матерьял.

Клиенты других умельцев нашли.
В доме полный развал.
Исчезли книги и хрустали
и бесовской металл.

Жена совсем приуныла, скорбя,
шептала, припав к груди:
— Миленький, посмотри на себя! —
А он твердил: — Погоди!..

Тогда она пошла на обман:
уничтожая зло,
к черту вышвырнула чекан,
но это не помогло...

Новый чекан — бессонный танцор
встал на звонкую медь.
Усердно танцует до сих пор,
а не на чего смотреть.

А малый твердит своей жене:
— Тебя в полной красе
изобразю, и тогда в стране:
«Красавица!» — скажут все.

Олег Хлебников

ОДИН ДЕНЬ

Свежих бревен распилы. Снег лиловый и голубой.
Дядя Паша китель расстегивает —
пар иль выюга над головой?

Дядя Паша, которого тетя Шура Павлушкой зовет,
шутит важно, в лото выигрывает,
поливает наш огород,

а когда зима, как сегодня,
вместе с дедом пилит дрова.
Дед сухой, как морозец, шустренький,
за ним поспеваешь едва.

Дед на все демонстрации ходит смотреть,
подновляет в церкви забор
и гроша не берет. а сегодня
с дядей Пашей золотом двор

посыпает. Пахнет грибами и сапожной дратвой. И я
под ногами у всех мешаюсь.
А еще есть запах жилья...

Почему я уверен? — уверен! — что все это есть,
не прошло,
и не умер никто — всех увижу!..
Даже весело вдруг и тепло...

Моя бабушка в телогрейке
и мой старший двоюродный брат —
он был умник — поленья складывают,
и сумрак, и пилы звенят...

* * *

Муза моя Ивановна,
учительница пения,
за проблеск дарования
прости мне нерадение.

Издерганная, нервная,
вдовствующая давно,
тебе досадила, наверно, я,
а чем — и сказать смешно.

Тебе говорили: «Нам нужен хор!» —
как хором я петь не хотел!
Но так как учился на «отл» и «хор»,
старательно в хоре пел.

И ты не хотела за звуком звук
из безголосых тянуть,
но так как не знала других наук,
одно и могла — вздохнуть,

охнуть могла: «Призвание!» —
да проявить терпение...
Муза моя Ивановна,
учительница пения!

Валентин Сидоров

* * *

Пусть поэт говорит о поэтах,
Если час объясненья настал.
Сверхкомплектные жители света —
Так когда-то нас Пушкин назвал.

Сверхкомплектные. В этом все дело,
В этом вся сокровенная суть,
И теряется в дальних пределах
Устремленный извилистый путь.

Кто — скажите — сумеет поверить
В недоступный для глаза исток?
Кто — скажите — сумеет измерить
Звездный возраст пророческих строк?

Кто — скажите — услышит наш возглас:
— Хоть мы этим строкам и сродни,
Но и сами не знаем их возраст
И не знаем, откуда они.

* * *

Я возвращаюсь, словно возрождаюсь.
И это происходит всякий раз,
И постепенно я освобождаюсь
От праздных мыслей и ненужных фраз.

Вдыхая запах пойменного луга
И повторяя свой маршрут, мой друг,
Я не иду по замкнутому кругу,
А с новой силой разрываю круг.

Пусть говорят, что, дескать, повторился,
Что у бывшего я плетусь в хвосте.
Но где родился, там и пригодился.
Вначале — там.

Потом уже — везде.

* * *

Насилья не терпит пространство,
И можно судить по всему,
Что в час размышлений напрасно
Мы что-то внушаем ему.

Рождая таинственный трепет,
Пространство течет меж стволлов,
И так же, как раньше, не терпит
Ненужных движений и слов.

На собственном опыте знаю —
Могу сам себя огорчить —
Задача отнюдь не простая:
Пространство к себе приручить.

Но ставя за вехою веху,
Ее мы решаем не зря.
Без этого жить человеку
И трудно, и даже нельзя.

* * *

Как всегда, серебрится излука,
И опять над рекой и тобой
Трепетанье непойманных звуков
Наполняет простор голубой.

Вот мелькают то ниже, то выше,
Вот игру затевают свою.
Я скорее их вижу, чем слышу.
Я ловил их, теперь — не ловлю.

Я сегодня боюсь торопиться,
Что-то сделать боюсь невпопад.
Пусть свободными будут, как птицы,
Пусть взлетают, куда захотят.

Но надежд не теряю, что кто-то,
Оторвавшись от дружной семьи,
Сядет рядом, устав от полета,
И поведает тайны свои.

* * *

Я не смею просить ни о чем
На дорогах, горячих от зноя,
Углубляясь в безмолвье лесное,
Наклонясь над прозрачным ручьем.

Я не смею просить ни о чем
В час, когда содрогается воздух
И когда загораются звезды
В необъятном просторе ночном.

Я не смею просить ни о чем,
Даже если приблизились сроки
И с пристрастием пытливые строки
Вопрошают: «С чего мы начнем?»

* * *

Порой не задумавшись даже
Над смыслом мелькающих дней,
Меняем дома и пейзажи
И близких меняем друзей.

Боюсь, что в стальной круговерти,
С которой сдружились давно,
До самой, наверное, смерти
Нам что-то менять суждено.

Но есть в стороне сокровенной,
Но есть на пригорке крутом
Окутанный дымкой Вселенной
Не тронутый временем дом.

И гроздьями брошек прекрасных набиты битком
их вечнозеленые, нервные, склизкие шкуры.
Какие шедевры дрожали под их языком?
Наверное, к ним за советом ходили авгуры.

Их яблок зеркальных пугает трескучий разлом
и ядерной кажется всплеска цветная корона,
но любят, когда колосится вода за веслом
и сохнет кустарник в сливовом зловонье затона.

В девичестве — вяжут, в замужестве —
ходят с икрой,
вдруг насмерть сразятся, и снова уляжется шорох.
А то, как у Данта, во льду замерзают зимой,
а то, как у Чехова, ночь проведут в разговорах.

Владимир Сергеев

НАШ СЕРЖАНТ

(Рассказ фронтовика)

Во дворе военкомата
На четвертый день войны
Принял нас сержант усатый
По приказу старшины.
И команда желторотых,
Что толпилась у ворот,

Стала вдруг стрелковой ротой
И отправилась на фронт...

На холме перед деревней
Окопались.

Ждем врага.
А вокруг шумят деревья,
Пахнут жаркие луга.
В тишине многоголосой
Звуки всей земли слились,
Синеглазые стрекозы
Вдруг откуда-то взялись...
Словно ты у речки зыбкой —
Солнце ходит в небесах,
И глядит оно с улыбкой,
И горит слезой в глазах...
А сержанту не сидится.
Вот он — как из-под земли:
— Так, ребята, не годится!
Бруствер виден издали.
«Ах ты, черт! Скрипун усатый.
Ну, несмазанный возок,
Ведь опять не даст солдату
Подремать хотя б часок...»
А сержант:

— Подъем, ребята,
Взять лопаты и вперед —
Маскировка плоховата...
Выполняй работу, взвод!
Выполняй — не показуха,
Жизнь — целковый на войне.



Михаил Светлов (слева) — военный корреспондент

Может, чья-то мать-старуха
Два спасибо скажет мне...

Так ворчал четыре года,
На струне зудел одной.
Но любили помкомвзвода —
Как-никак — отец родной.
И, видать, с его учебы
Проявлялась сила в нас,
И не ведали мы, чтобы
Кто-то дрогнул в смертный час...
Нет. Сержант — мужик умелый.
Не обидит, не соврет...
А ворчит — так все по делу,
Все ведь знает наперед!
Всю войну в огне и в стыни
С нами.

На передовой...

Он погиб в бою.

В Берлине...

Я пришел с войны
живой.

Любовь Воропаева

ГОВОРИ, ОТЕЦ...

Говори, отец, говори...
Говори, отец, до зари.
Расскажи, отец, о войне —
Будет больно и страшно мне.

Не щади меня, не щади...
Вновь в атаку, отец, иди
Ошалелым от ран юнцом,
Недоученным сорванцом.

Говори, отец, не молчи,
Вновь от ужаса закричи
И к сырой земле припади...
Не щади меня, не щади...

Я хочу обо всем узнать:
Как ты падал и шел опять,
Как гранату в руках сжимал,
Как письма ты напрасно ждал...

Говори, отец, о войне,
Это нужно и важно мне...
...Только он улыбнулся вдруг:
«Я боюсь, что проснется внук».

* * *

Сто женщин пускай за тобой идут
И гимны любви поют!
Пусть бремя судьбы за тебя несут
И гимны любви поют!

Сто женщин пускай за тобой идут,
Всю жизнь идут за тобой!
Сто женщин пускай за тебя умрут.
Сто женщин — во мне одной.

Ольга Постникова

ПРОСТУДА

От озноба и страха с пяти до десяти
Даже хина не может спасти.
И когда я от горького плачу огня,
Всю одежду свали на меня.
Одевай, укрывай всем тряпьем вековым,
Согревай всем старьем родовым:

Этой шалью, пропахшей лавандовой мглой,
Кожухом, что замазан сибирской золой,
И лицеванным, трепанным, грубым пальто,
Что уж не доносит никто...

Это китель, он в дырах нагрудных наград,
Это легкий, в узорах искусных заплат,
Маркизетовый белый наряд...

Но все то, что дотла износила родня,
В лихорадке согреет меня.

Раиса Романова

ТЬМА ЗОЛОТАЯ

I

От судьбы изнуряющей, ноющей,
От утрат, и от ран, и от бед
Прижималась душою к чудовищу
Столько нищих и каторжных лет.

Столько боли судьбой было набрано,
Столько скорби вобрали глаза,
Что глядеть не хотела ни на небо,
Ни на розы, ни на леса.

Только это лицо безрассветное,
Эти веки, набрякшие сном,
Избрала для деанья ответного
Пред людским и пред вышним судом.

Так дышала на губы бескровные,
Так гляделась в пустоты глазниц! —
Так хотела под мертвыми кронами
Услыхать пробудившихся птиц!

Но березы стояли, как посохи,
А птенцы выпадали из гнезд.
И лились мои слезы без просыху.
Жег без продыху горло мороз.

С лихоедем я силушкой мерилась,
Понимая, что смысл — в доброте.
Но продрогла душа — и изверилась,
Хоть еще пребывала в мечте.

И озябшую эту, застылую
(Чтобы в теплые сенцы не звать)
Ты прогнал, как собаку постылую,
Под забором чужим зимовать.

Замерзала — и грезил розами
В белом-белом предсмертном тепле...
Сжег до пепла снегами-морозами.
Лишь ошейник сверкает в золе.

II

Жестокая фея Любовь
Прошла стороной — а задела...
Куда уж банальнее — кровь,
Как старая бронза, гудела.

Раскиданы всюду цветы,
Повызрели всюду плевелы...
Разрознены книги листы —
И целые главы не целы.

Красивая дура — любовь!
Навстречу идет, распевая...
Подходит — молчит. И без слов
Уходит, тряпьем помавая...

В строку уместится словцо,
Минуты спрессуются в сроки —
И станет родное лицо
Пустым, дорогим и далеким.

Беспечно рукой помахал,
Пустой покачал головою,
И слово пустое сказал,
И пусто обнялся с другою...

И облик Любви в пустоте,
Как глупый пингвин, закачался...
И странно, что в чистой мечте
Изъян этот грубый скрывался.

III

Коль помнишь — из раны пурпурной
Все кровь моя падала вниз...
Котурны в любви... и котурны
В поэзии... Бедный артист!

Не думай, что где-то прощенье
Отпущено будет в судьбе:
Твое диковатое пенье —
Не пропуск охранный тебе.

Давно твою душу изводят
Сомнение, зависть и страх...
Ну, где ж твоя муза там бродит,
В фольговых каких небесах?..

Лишь донорством, донорством вечным
Жива.... Перед правдой — слаба, —
Путем пробирается Млечным,
Любого пугаясь столба...

Но вдруг встрепенется — поправит
Осанку — и голос чужой
Припомнит — и громко так славит
Судьбу, — точно голос — живой...

Поймешь ли — хоть поздно — простое:
Со зла одичал, заплутал —

И — «Родина» — слово святое
Вослед фарисейке шептал.

Андрей! — Не Остап!.. Замахнулся
Широко, а вышло — на смех...

...Костер над Тарасом взметнулся,
Иль свод надо мною померк?..

Но длилось все это — мгновенье,
Хоть снега легли на виски!
.... Доносит ко мне твое пенье —
Овражные вопли тоски.

IV

Зачем смягчилась ты однажды,
Душа — скиталица моя —
И затомилась смутной жаждой
Простого счастья бытия?..

Ранимой стала и бескрылой,
Как голубь... Низок небосвод!
Хочу, чтоб вновь ты воспарила
В холодный кобальт тех высот,

Где за судьбу — сама в ответе,
Где вздохи вольны, цель — тверда,
Где накалилась в белом свете
Моя упрямая звезда,

Где слово «милый» невозможно,
Как преклонение колен,
А грубный зов мечты тревожной
Всей жизни требует взамен —

И кровь отзывчива, как бубен, —
И высоко слова летят,
И вдаль, где, может, зреет буря,
Глаза бесстрашные глядят.

V

И все же — я тебе сестра,
Мой злобный, непутевый!
Любовь закончилась вчера —
Остался путь терновый.

Мне по нему легко идти.
Век розы не любила.
Конечно, вместе жизнь снести,
Наверно б, легче было...

Но ты судьбы своей палач
И близких душ — гонитель.
А потому я — плачь не плачь,
В холодную обитель,

Слегка пьяна, иду одна.
Тут лампы свет усерден,
Гол стол, строка — напряжена,
А сон — немилосерден.

Тут я сложила жизнь свою,
Как голову — на плаху.
Тут до сих пор любовь пою —
И поклоняюсь праху.

VI

Душа—цыганка огрубевшая
От сердца к сердцу держит путь.
Монист кольцо заледеневшее
В предзимье обжигает грудь.

Черств хлеб, неведомо пристанище,
Жестка постель... Даны взамен:
В степи тугих ветров ристалища
Да имя дикое Кармен.

Кибитки верх прострелен звездами.
На шелке юбок пыль равнин.
И ждет ее в колке березовом
С ножом
Недавний властелин.

VII

Больше зла на тебя не держу...
Отодвинулась тьма золотая:
Перешли роковую между,
Где стонала любовь, отлетая.

Молодые рассветы горят—
Всходят новые встречи и даты.
Не чурайся лишь взгляда назад,
Где мы были чисты и крылаты.

Помнишь—лето взлетело в зенит,—
Замело нас пыльюю цветочной!
Южный ветер доселе звенит,
Дышит пряною ночью восточной.

Вот качается в волнах ладья.
Так люблюсь гребцом неумелым,
Что влюбленная песня моя
Назовет его сильным и смелым.

И в пустыне мне чудится сад...
Миражи—вот причина несчастий!..
Но доверчивый давний твой взгляд
До сих согревает в ненастье.

Ну, а то, что следы глубоки
От ножа,—и живу, как подранок...
...Умирать от любимой руки—
Это высшая доблесть цыганок.

Марат Акчурун

В ПАВЛОВСКЕ

Охра, золото, багрянец.
Соразмерность и покой.
Темных вод студень глянец
Тронуть хочется рукой.

Зябнут старые кентавры.
Воздух холоден и чист.
И на бронзовые лавры
Упадает хрусткий лист.

Над холмом—дворца паренье.
Туч свинцовый барельеф.
Камероновы творенья.
Осень. Музыка дерев.

Такова ль была эпоха—
Царство света и ума?
Или мы листали плохо
Хроник мрачные тома?

Или после Пугачева
Не витало слово «бунт»?
Иль Россия не устала
От чужого слова «фрунт»?

Хрип удушенных тиранов,
Капли крови на ноже.
Или выдумал Тынянов
Подпоручика Кижэ?

Все прошло. Полузабыты
Факты, лица, имена.
Пеплом времени сокрыты
Той эпохи письмена.

И в забвенье вероломство,
Зависть, злоба, суета.
Остаются для потомства
Лишь добро и красота.

В старом парке листьев танец
Над Славянкою-рекой.
Охра, золото, багрянец.
Соразмерность и покой.

ЛЕНИНГРАД

Квадриги вздыблены.
Ржавеют якоря.
Качает ветер фонари со скрипом.

На невских берегах
Начало октября.
Раздача злата куполам и липам.

Каналов лезвия.
Немых мостов графит.
И северное небо, как обуза

Для нежных женских плеч
Нагих карнатид.
Но как горда архитектуры муза!

Из судеб и эпох
Сплетает свой узор
То быстрое, то медленное Время.

Не в облике ль Петра,
Сощутив синий взор,
Вступила Русь в эпохи новой стремя!

Судьба ее сынов—
Цена любых побед.
Мозолей кровь. И пальцы в бриллиантах.

Здесь каждый камень был
И проклят и воспет.
Но недостатка не было в атлантах.

Декабрьское каре.
И боль бессмертных строк.
Кандальный звон и тяжкий сон народа.

«Авроры» грянет залп.
Но ожиданья срок
До октября семнадцатого года.

Всё было. Будет. Есть.
И трех времен родство —
Дарованная городу награда.

Столица-колыбель.
Ночное колдовство
Осенних тротуаров Ленинграда.

ЗОВ

Мой мудрый друг поведал мне вчера,
Что там, где дуют звездные ветра,
Где сполохи заоблачных зарниц,
Кочуют стаи меднокрылых птиц.

Без усталости кружа вокруг Земли,
От суши и воды навек вдали,
Они летят за солнцем на восток,
И с каждым веком круче их виток.

Я простоял полночи у окна.
Меня как будто мучила вина.
Изнемогая от земной любви,
Под Курском где-то пели соловьи.

И, может быть, потом приснилось мне,
Что алыми стезжками по луне
Проплыли птицы в зыбкой тишине
В предутреннем космическом огне.

Михаил Беляев

ОПУСТИСЬ, ЗВЕЗДА, НАД РОДНИКОМ

Опустись, звезда, над родником,
Нынче в доме отчем мне не спится.
Скликнул племя молодое дом —
Завтра он
Со всеми распротится.

Завтра сникнет, тишь оглушен,
Без людей не сделает и следа.
Как случилось? Отпускает он
Птицу, песни,
Детвору и деда.

Всех, кто рос в нем с самых малых лет,
Колыбельный дух его вдыхая.
На стене, как замер, лунный свет:
«Где портреты —
Старина живая?..»

Обнажились частые крючки —
И стена как потеряла зренья.
Даже неумолчные сверчки

Притенили
Древнее сверченье.

Будут ли они, как раньше, петь
За безмолвной пригвожденной дверью?
Печь не будет варевом кипеть.
Не совет огонь
Свою куделю.

И сидят в раздумье с братом брат:
«Как же так? Вдруг ничего не надо —
Ни отцовских огородных гряд,
Ни цветов,
Ни яблонного сада...»

Нет мамы в доме... Погребли...
Как же так? Последнее свиданье...
Дом ли отчий, встретившись, нашли? —
Лунное
Печальное сиянье.

Выхожу, спускаюсь к роднику,
Не тропинка — в детство переправа.
Словно годы с плеч я совлеку —
И в прохладных
Затеряюсь травах.

Тут, во рву, ветвится мой дубок —
Он сроднился с глиною бесплодной,
Не дубок, а новых сил исток!
Дай, родник,
Глоток воды холодной.

Эта ночь как в горле слезный ком.
На земле и в небесах — ни звука.
Опустись, звезда, над родником,
Помолчим втроем
Перед разлукой.

Валентин Сорокин

УСЛЫШЬ СЕБЯ

Прекрасное Отечество мое:
Москва,
Урал
и Куликово поле, —
Народа предрекающая воля
И ратника горячее копьё!

Я утомлюсь и припаду к траве
Одуматься, чуть-чуть остепениться
Звенит ковыль, волнуется пшеница
Орел раскинул крылья в синеве.

Ничьей не позавидую судьбе.
Не поманит меня чужое море.
Всего, всего,
и радости, и горя,
В родном краю — достаточно тебе.

И я опять приподнимаюсь в рост,
Сыновней растревоженный виною, —

Над вечной,
гордой,
нежною страной,
И звездный мир понятен, но не прост.

От той черты, где сгнула орда,
И к нынешней. до пращура и внука,
Прокатится через меня беда
Со скоростью космического звука.

ДОЛГОЛЕТЬЕ

Есть в долголетье
Драма, пустота,—
Знакомые ушли,
А ты, как ворон,
Шумишь крылами
Над вселенским бором,
Известным
До последнего куста.

Ни в городе тебе
И ни в селе
Не удивиться,
Даже на планете:
Присутствием
Наскучил ты земле,
И взрослые
Перед тобою — дети...

С кем ссориться
И с кем тебе дружить,
Кого встречать
В последний час у мола?
Я ворога
Хотел бы пережить,
Да только
Не с чьего-нибудь дозвола.

Пусть он блюдет,
Румянностью налит,
Здоровие,
Рачительно-болезный.
Меня талант
Угрюмо пепелит
Мучениями
Памяти железной.

Хотел бы я
Достоинство сберечь
И доброту свою —
Неодолимо.
Когда заводим
О бессмертье речь,
То совесть от него
Неотделима.

И в сотый раз
Я повторить готов:
— Наследуй мир
Вне срока и предела,
Но гвоздь судьбы —
Не перечень годов,
А звездный свет
И разума, и дела!

ЧИСТЫЙ СОН

Что хочет от сына старик?
Чего не сидится на небе?
А может, в душе его — крик,
Все та же забота о хлебе...

Такая большая семья
Держалась на нем, бедолаге,
Не смог бы управиться я,
Поди, не хватило б отваги!

А он восьмерых прокормил
Детей
и ни брату, ни другу
Судьбу впопыхах не корил,
Обид не таил на округу.

Простой землешапец-боец
С мечом побывал у Берлина...
Прости меня, слышишь, отец,
Крестьянин —
с душой исполина!

Нас век непогодам обрек.
Но в бурях рассветы отыщем.
Прости меня, я не сберег
Твой дом и родник за кладбищем.

Татьяна Реброва

* * *

Мне Родину выбрал мужик,
что с топориком тещи
Упал середь поля,
где я загляну в его сон,
Льняным рукавом березовой рощи,
Как слезы, размазав Непрядву и Дон.

Мне Родину выбрал отец мой,
когда в сорок пятом
Ее изможденное тело с креста
Заржавленной свастики снял...
И в деревне закатом
Хромую кобылу подросток поил у моста.

А что до потерь,
ведь бывают,
хотя бы и долги
Раздумья при выборе были,
то, как ни таи,
Скорее в заволжских лесах,
чем на торге,
Мне выбрали Родину женщины и соловьи.

Частенько болтают,
что в мире,
пока не отмщенном,
Должны оправдаться и фреска, и надпись в стихах,
И музыка,
чтоб у потомков не стал запрещенным
Как несостоятельный
Пушкин, к примеру, иль Бах.

Когда выбирали мне Родину
и не жалели
Себя,
и уже доверяешь народу в его
Истории в целом,
то здесь даже ели,
Гвоздем накарябанные,
приголубят коня твоего.

* * *

Молчат цифровые столбцы —
Бессменный учебник Вселенной.
Но тихо заржут жеребцы
На Родине благословенной.
И строго над ними стоит
Звезда.
И глубокие тени
Отбросят стога.
И судьба затаит
Все это в себе и отыщет мишени.
На ней наконецник не абы какой,
А тот — журавлиный, — да что побледнели
Вы так!
И за сердце схватились рукой?
Ведь сами ж другого бы не захотели.

* * *

У села Монастырщина ты не зарыт.
На Угре не задет ни единой
Оперенной стрелой.
Где тот ворон,
что сыт
Был твоей красотой и моею кручиной?
В положеньях безвыходных сами собой
Вдруг ворота твои распахнуты в стоячей
Мгле в ту сторону,
где за судьбой
Остается должок,
что зовется удачей.
Не с того ль это все,
что с любым
до меня
Жившим родичем врозь я не пела.
Врозь не праздновала даже светлого дня
И уж точно, что врозь не скорбела.
Я была.
Только ты вот не тратил ночей
На меня.
А страдал,
что есть келья,
Черных виселиц ряд и царевна очей
С них не сводит и рвет ожерелья.
Существует восточная притча,
где сын
Как-то матери вместо святыни
Зуб шакала привез: мол, сойдет на один
Год и этот подарок пустыни.

А уж та в него верила,
так уж он люб
Бедной женщине был,
что за эту
Ее преданность вдруг просиял желтый зуб
И явил чудеса всему свету.

Так чего ж говорить про осинник сырой,
Что трепещет на месте скита и окопа,
Где к тому ж ворожит и старинный покрой
Моей кофты и род,
что веду от холопа.

По смертям,
как по камушкам,
через и сквозь
Время кто-то идет. Уж не ты ли!
Что просить,
если те,
с кем не плакала врозь,
За меня уже здесь попросили.

Яков Козловский

ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВА

Говоря о русской трагедии, гово-
ришь о Семеновой — и, может быть,
только о ней.

Пушкин

Семенова. Зовут Екатерина.
Из крепостных рязанской стороны.
От государя до простолюдина
Все поклоняться ей обречены.

Небесный дар и лик камен древней
Слились в ней воедино,
но уже
Все реже снится поле за деревней
И девочка босая на меже.

Теперь она Медея, Дездемона,
Лукреция... Какие имена!..
Театр замирает потрясенно,
И не пустует ложа ни одна.

И славный переводчик «Илиады» —
Воспринимает Гнедич как почет,
Что он, с душой,
исполненной отрады,
Наставником Семеновой слывет.

Да вот беда:
был оспою безбожно
Когда-то Гнедич полуослеплен.
И сам осознает, что безнадежно
Он в ученицу дивную влюблен.

Когда зимой к театру подъезжает
Она в карете — молод или стар,
Медвежью шубу с плеч своих бросает
Пред ней на снег какой-нибудь гусар.

Все царственно — и жест ее и слово,
Властительницей чувств она слывет.
И Пушкин ей

«Бориса Годунова»
Коленопреклоненно поднесет.

А в сорок лет,
заметив перемены,
Соперницами не побеждена,
Сойдет в короне лавровой со сцены
Княгиню Гагариной она.

ИНДИЙСКАЯ ПРИТЧА

Если б стал заклинателем змей,
Всякий раз я под дудку свою
Заставлял бы тебя танцевать,
Изворотливую, как змею.

Если б стал толкователем снов,
Ангел мой,
каждый день поутру
Даже самый печальный твой сон
Толковал бы я только к добру.

* * *

Слез не стóю твоих я — не плачь,
Как бы снять мне с души твоей глыбу,
За которую сам, как палач,
Я тащу свою совесть на дыбу.

Позабыл я в былое пароль,
Петь любви не желаю осанну,
Мне бы только унять твою боль,
Заживить нанесенную рану.

ДОРОГА

Если б я была царица...

Не крута и не полого,
Думу думала дорога:
«В полный рост подняться мне бы —
Дотянулась бы до неба.
А когда бы стала вдруг
Я владелицей двух рук, —
Всех воров, хоть будь их тьма,
Изловила бы сама.
А когда бы, как ямщик,
Я имела бы язык, —
О былом, восславив честь,
Рассказала все как есть».

натоллий Третьяков

* * *

Спасибо за все — наградила по-царски,
За то, что родился в завяхах январских,
За то, что не так берегла, как любила,
И скоро в дорогу меня проводила.

И вслед мне платочком махала, махала,
Пока за лесами совсем не пропала.
За теми лесами, холмами, морями
И небо другое сияет над нами.

И небо другое, и солнце другое,
И берег лазурный в лазурном прибое...
А ночью, когда и душа засыпает,
Она над твоими полями летает.

ДЕТСКИЕ СТИХИ О. МАНДЕЛЬШТАМА

О. Мандельштам написал для детей больше сорока стихотворений. Его интерес к детским стихам совпал с тем временем, когда начинала создаваться советская детская литература.

Первые его стихи, обращенные к детям, были опубликованы в «Воробье» и «Новом Робинзоне». Альманах «Воробей» издавался в Ленинграде около двух лет (1923—1924), с середины года он был переименован в «Новый Робинзон» (1924—1925). В этих изданиях не только активно сотрудничали С. Маршак, Б. Житков, В. Бианки, М. Ильин, Е. Шварц, но и печатались многие «взрослые» писатели — Б. Пастернак, Н. Тихонов, В. Каверин, Н. Асеев, К. Федин, Б. Лавренев.

В те же годы Мандельштам издал четыре книжки стихов для детей: «Примус» («Время», 1925, рис. М. Добужинского), «2 трамвая» (Л., Гиз, 1925, рис. Б. Эндера), «Кузня» («Радуга», 1926, рис. В. Изенберга) и «Шары» (Л., Гиз, 1926, рис. Н. Лапшина). Все четыре книги вводят ребенка в мир конкретного современного быта. Поэт как будто нарочно выбирает самые прозаические предметы: примус, утюг, ножи, кастрюли, вязанку дров... В его изображении они оказываются необычайно привлекательными, как бы ощущают себя равноправными участниками жизни человека. Стихи заявляют об этом громко, мажорно, весело, приглашая по-новому взглянуть на привычный, примелькавшийся мир вещей.

Гудит и пляшет розовый
Сухой огонь березовый
На кухне! На кухне!

Пекутся утром солнечным
На масле на подсолнечном
Оладьи! Оладьи!

Горят огни янтарные,
Сияют, как пожарные,
Кастрюли! Кастрюли!..

(«Кухня»)

В мире мандельштамовских вещей возникают свои отношения, звучат маленькие диалоги, с очень явственными, подчас неожиданными для читателя голосами и интонациями:

Мне, сырому, неученому,
Простоквашей стать легко,
Говорило кипяченому
Сырое молоко.

А кипяченое
Отвечает нежненько... («Примус»)

В архиве ленинградского издательства «Время» сохранились машинописные страницы еще одной детской книги Мандельштама под названием «Трамвай»¹. С издательством «Время» Мандельштам был связан постоянной работой: в 1925 году, кроме «Примуса», там вышла его прозаическая книга «Шум времени».

На двойном листке, после названия, идут три стихотворения: одно — «Чистильщик» — из книги «Шары»; два других — «Мальчик в трамвае» и «Буквы», по всей видимости, новые. За ними следует перечень еще семи стихотворений.

¹ Архив ИРЛИ, фонд 42. На эту страницу обратил мое внимание К. М. Азадовский.

4. Полотеры
5. Калоша
6. Яйцо
7. Муха
8. Рояль
9. Портниха
10. Все в трамвае.

Четыре из них — «Полотеры», «Калоша», «Муха», «Рояль» — из книг «Шары» и «Примус». Таким образом, из десяти стихотворений, которые должны были составить книгу «Трамвай», нам известны семь. Даже не зная содержания оставшихся трех — «Яйцо», «Портниха», «Все в трамвае», мы в общем можем судить о характере и направлении задуманной книги. В ней по-прежнему поэт стремился в яркой и занимательной форме расширять представление ребенка об окружающих его предметах, о разнообразных профессиях, укреплять его связи с действительностью.

Кроме двух стихотворений из архива предлагаем для публикации еще два: «Заморские дети» («Воробей», 1924, № 5) и «Одеяльная страна» («Новый Робинзон», 1924, № 12). Оба они нигде больше не перепечатывались. Стихотворения эти представляют вольный перевод из сборника стихов Р. Л. Стивенсона «Детский цветник стихов» (1885). Второе стихотворение под названием «Страна кровати» переведено В. Я. Брюсовым.

Я. Путилова

Осип Мандельштам 1891—1937

МАЛЬЧИК В ТРАМВАЕ

Однажды утром сел в трамвай
Первоступенник-мальчик.
Он хорошо умел считать
До десяти и дальше.
И вынул настоящий
Он гривенник блестящий.

Кондукторши, кондуктора,
Профессора и доктора
Решают все задачу,
Как мальчику дать сдачу.

А мальчик сам,
А мальчик всем
Сказал, что десять минус семь
Всегда выходит три.

И все сказали: повтори!
Трамвай поехал дальше,
А в нем поехал мальчик.

БУКВЫ

— Я писать умею: отчего же
Говорят, что буквы непохожи,
Что не буквы у меня — кривули?
С длинными хвостами загогули?

Будто «А» мое как головастик,
Что у «Б» какой-то лишний хлястик:
Трудно с вами, буквы-негрятя,
Длинноногие мои утята!

ЗАМОРСКИЕ ДЕТИ

(По Стивенсону)

Дети негры. Мальчики-малайцы,
Дети турки, персы и китайцы,
В теплых шапках маленькие чукчи,
Вам хорошо, а все-таки мне лучше!

Вы живете где-нибудь в Сахаре,
На Камчатке, на Мадагаскаре,
И, наверно, маленькие кафры
Черепашу вам дают на завтрак!

Там у вас кокосы и бананы
И сидят на ветках обезьяны.
Хорошо,— но все же не годится:
Не хочу всегда жить за границей!

У меня есть комната и печка,
Я леплю из глины человечка,
Сплю в кровати на своей подушке,
По утрам пью молоко из кружки!

Дети негры, мальчики-малайцы,
Папуасы, кафры и китайцы,
В теплых шапках маленькие чукчи—
Вам хорошо, а все-таки мне лучше!

ОДЕЯЛЬНАЯ СТРАНА

(Из Стивенсона)

Лег в постель. Закутался. Согрелся.
Подавайте мне теперь сюда
Все игрушки — кубики и рельсы,
Корабли, сады и города.

Два холма — под одеялами колени,
И простынь бушует океан.
Города и башни ставлю к стенке
На крутой подушечный курган.

По холмам шерстяного одеяла,
По горам подушечной страны
Оловянная пехота пробежала
И прошли индийские слоны.

Я гляжу, как ласковый хозяин,
Как хороший, добрый великан,
На равнину шерстяных окраин
И на полотняный океан.

Публикация Я. Путиловой

ЧИТАЮ «СЛОВО О ПОЛКУ...»

Волны диких народов перекатывались через степь и ударили в деревянные стены Русской земли.

Дед кричал со стены: «Хазары!»

Сын кричал: «Печенеги!»

Внук отзывался: «Половцы!»

И дальше — перекликались правнуки. Поневоле... Я ведь тоже что-то кричал и четырехлетний прыгал с телеги в жито, завидев тень самолета. С великой надеждой быть последним, — на голоса и пожары иду обратно... Блуждаю в потемках годин.

Партизанские летописи Василя Быкова и блокадные хроники Алеся Адамовича, «Тихий Дон», «Севастопольские рассказы», «Война и мир», «Полтава», летописи о нашествиях с Запада, «Сказание о нашествии Едигея», «Повесть о нашествии Тохтамыша», «Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Слово о полку Игореве»...

Великая оборонная литература. Ведь мы — защищались... От наших и до самых давних — веков Трояновых!

Небом крытая, светом перегороженная, южная Русь казалась легкой добычей. Непрошенные гости пудовыми камнями «стучались» в ворота Переяславля, Чернигова, Киева. Летели зажигательные стрелы. Трещали опоры. В проломы вонзалась ревушая Степь. И долго потом на обгорелых холмах не росла трава. А стенные всадники с волчьими хвостами на шлемах пропадали внезапно, как появлялись. Половцы владели искусством психической атаки и уже применяли «греческий огонь»: «Кончак же за их спиной бежал... И лишь наложницу его захватили и того басурманина, у которого был живой огонь. И привели их к Святославу со всем устройством». (Ипатьевская летопись).

Овраги, кусты, камыши воевали вместе с людьми. Не спи! Не зевай. Слушай во сне, как зверь. Научись видеть спиной. Утка закрывала в камышах. Что-то не так... Весной утка молча сидит на гнездах. Правь на середину, подальше от берега!

Пусто. Тихо. Только ветер на обрыве клонит разомлевшую полянь. Вдали одинокий столб извивается от гудящего марева. Путь из варяг в греки...

Течение медленно несет лодку. Плыдем вниз по Днепру. Железный борт моторки нагрелся. Приткнешься к нему спиной и почти физически переселяешься в былое. В железной кольчуге распарилось тело. Зной размягчает волю. Вдали — одинокий каменный идол извивается от гудящего марева. Хочется снять раскаленное железо, окунуться в прохладные струи. А только охладился — счастливое лицо искривила боль. В голой спине торчит стрела! Из рта пузырится кровавая пена. Люди барахтаются, тянутся к оружию. Арканы обвили уцелевших. Дальше — плен. Дорога в Сурож или Корсунь (ныне Судак, Херсонес). О, Русская земля, уже ты за холмом.

Степь целила в спину. «Одни — доспехи свои на телеги сложили, а другие — держали их во вьюках, у иных сулицы оставались не насаженными на древко,

а щиты и копыя не приготовлены были к бою. А ездили все, расстегнув застежки и одежды с плеч спустив, разопрев от жары, ибо стояло знойное время» («О побоище, бывшем на реке Пьяне», XIV век).

В муках стыда пришло к тридцатичетырехлетнему Игорю Святославичу прозрение. Словно уголек от горящего Глебова, запал в рубаху — жжет, и никак его не достать... Разорили Глебов, посекали защитников. А тут еще распутица помешала в конце зимы присоединиться к Святославу Всеволодовичу и девяти русским князьям, которые выступили против половцев. Досада на распутицу, глебовские кошмары, боязнь, что князья не поверят в его желание участвовать в походе — мол, сдружился с Кончаком, — терзали Игоря. Желание искупить вину перед Русской землей, честолюбие и мужество торопили. В Ипатьевской летописи записана покаянная речь Игоря перед дружиной, уже в половецкой степи.

— И все это сделал я, — говорит Игорь с таким раскаянием, словно все раны глебовцев болят на его теле... Торопливо и одиноко выступил он против Дикого поля.

Однажды я проснулся от нестерпимой боли. И пока медсестра делала обезболивающий укол, я вдруг представил себя в той степи со стрелой в боку. Вокруг — распоротые шатры, затоптанные в грязь шелка и овчины. Только раненые, русские и половцы, стонут одним стоном. И вот со всей звериной болью я ползу сам не знаю куда. Ни врачей, ни лекарств... Какие же страдания переносили люди в то время! Боль еще не утихла, и я думал о тех, кому удавалось выжить. С полутрубленными руками, с рваными дырами в теле, на подпрыгивающих телегах ползли они в свои города и села. Огненная боль отнимала ум. Даже знахарей не было под рукой, да и что они могли? Каждая секунда дня — мука. И так десятки дней, сотни километров.

Тем обиднее было принимать страдания от своих, когда новгородцы шли на киевлян или киевляне на черниговцев. «Брату брат молвит: это мое. И это тоже мое. И стали малое называть великим». Отчаяние летописца — на многие века.

Сколько он жил? Как выглядел? Что с ним стало после написания «Слова»? Темно.

Может, он погиб на медвежьей охоте, спасая друга или князя. Ведь он был человеком редкой храбрости, сказал все, что думал.

У князя — дружина и стены, а поэт — беззащитен.

Может, его оклеветали. Почуял беду, ночью ушел от князя. А может, его лодку затерли льдины. Чудом выбрался на берег и уже в горячке, умирая, кричал: «Со всех сторон обступили и кликом поля перегородили...»

На несколько столетий предсказал он несчастья Русской земли. Припал к ней пророческим ухом и услышал тупой гул ордынских коней, которые до дна выпивали ручьи. Он не знал, что в далеких степях набирала силу империя Чингисхана. Но как великий поэт был одарен политической интуицией.

Тревожно в «Слове о полку Игореве». Восемь столетий прошло, а тревога осталась... Как запах гари в послевоенных развалинах. Он пробивался даже сквозь снег. Преследовал нас от первого до десятого класса, пока не снесли руины.

Далеко на равнине русских веков виден тринадцатый. Дым подпирает небо на севере и на юге. Горели Рязань и Владимир, Москва и Суздаль, Чернигов и Киев. Версты пергаментов превратились в пепел. Огонь лизал Русскую землю вдоль и поперек. Четырнадцатый век — нашествие Мамай, нашествие Тохтамыша. Дотла выгорали монастырские библиотеки. «Слово» могло не дойти до нас, как не дошли, быть может, другие великие повести и сказания. Мы не знаем, что потеряли, иначе жалость была бы неутешной.

Последний список «Слова», как известно, был найден графом Мусиным-Пушкиным и сгорел в московском пожаре 1812 года. Осталась копия, сделанная Мусиным-Пушкиным для Екатерины II, и грустная поговорка: «Рукописи не горят»...

Дом тайного советника и обер-прокурора святейшего Синода Мусина-Пушкина стоял на Разгуляе.

Можно представить, сколько было суматохи, беготни, бестолковщины. Что он делал в эти минуты? Оглядываясь, заталкивал в портфель государственные бумаги и драгоценности? Или с отрешенным небрежением смотрел, как привязывают багаж? Думал свою бессловесную думу о России, и не хотелось пошевелить рукой, спасти личное добро, любимые книги и вещи? Опять все прахом!

И когда карета покатила... Что-то ведь могло напомнить ему о «Слове»! Свет в окне промелькнувшей церкви и темная фигура священника могли вдруг нагадать архимандрита Иоилы Быковского... Это у него в Спасо-Ярославском монастыре Мусин-Пушкин приобрел сборник древнерусских летописей — со «Словом»... Даже запах кожаного сиденья в карете мог возбудить в памяти потертую кожу сборника летописей.

И тогда... «Стой! Повороти». Но тайный голос не окликнул тайного советника. Выпало какое-то звено. Не дотянулась мысль до сборника летописей. И через несколько дней в библиотеке графа, охваченные пламенем, как живые, корчились буквы «Слова о полку Игореве». Погибла бесценная библиотека, Россия потеряла часть своей души.

Кто из нас мысленно не спасал этот Список? Ведь мог же случайный прохожий увидеть, как из окна графского особняка валит дым. Студент какой-нибудь или чиновник. Сам не понимая почему — кинулся в дом... Вроде бы плач ребенка услышал. Все обшарил. Кричит, зовет, а ребенка нет. Почудилось. Бывает... А дым уже схватил за горло, лицу жарко, стены лижет огонь, трещат старинные книги, свитки. И такая вдруг нашла злоба на всепожирающий огонь, полюбивший Русскую землю, что захотелось хоть что-нибудь спасти, унести. И схватила рука слепо — что подвернулось. Книгу какую-то. Все равно какую! Открыл ее во дворе и в красном отблеске пожара прочел: «Слово о полку Игореве». Но случайный прохожий на Разгуляе 1812 года стоял и глазел на горящий дом.

В школе я не понимал «Слова о полку Игореве» и воображением «передельвал» его — побеждал половцев! Возвращался с богатой добычей. Я не думал о том, что если бы Игорь Святославич на самом деле победил, великий летописец не написал бы о походе...

Французский ученый А. Мазон считает, что автор «Слова» — лжепатриот времен Екатерины Второй. Разве придворные льстецы писали о поражениях?

Былое молчит и ждет. Нераскрытые курганы, настенные записи времен Мономаха. Ведь было не до них. Археологи копали под Москвой противотанковые рвы. Историки и этнографы ковырялись в развалинах, добывая уцелевшие кирпичи. Вопило Настоящее. Надо было его накормить, обогреть, обути. В детдомах яростно стучало ложками Будущее. Не хватало рук, денег, техники. И Былое, не сетуя, замыкало очередь. Мумии половецких ханов и усыпальницы туровских князей могли подождать.

А теперь на знаменитом черноморском пляже каждое утро нарядный трактор тянет на тросе бревно. Разглаживает песок... Былое терпеливо ждет. Но если им пренебрегают, оно начинает мстить, и на земле повторяются беды.

Вся Русская земля — полевая, лесная, степная — выплывает из «Слова о полку Игореве». И далеко, широко вокруг видны пороги Днепра, отмели синего Дона, польнные курганы, деревянные стены Новгорода, Полоцка, Киева.

Молча и медленно стаи воронов летят над полями, где редко белеет рубаха пахаря. На Русской земле, да и во всем мире еще не людно.

Глухие леса полны медведей, овраги — волков. Еще не выбиты огромные туры. А пойдешь к реке — в прозрачной осенней воде сплошной стеной стоят лещи, язи, голавли!

Утром часовые в бойницах слышат крики диких гусей и уток. Они летят из половецкой степи, напоминая о том, что скоро подсохнет земля, реки войдут в берега, и снова жди набегов. Кричат — Переяславу, Чернигову, Брянску...

И такая щемящая грусть пронизывает тебя, такая тоска расстояний! В темном, тревожном воздухе слышен невидимый плач. Это плачут буквы «Слова», печаль течет посредине Русской земли. Раздоры, пожары, войны...

Вся Русская земля XII века! И Автор «Слова» летит над ней как мужик на деревянных крыльях, только щеки холодеют от ветра.

— А всего — 10 страниц.

— Не может быть, — часто слышу я, — ведь это большая книга.

— Да, большая, — с предисловием, с переводами (дословным и поэтическим), с рисунками, с комментариями. А само «Слово» — всего 10 страниц, написанных огнем по небу.

Сомнение возвышает... Но не улыбка скептика, который называет «Слово» гениальной подделкой. Обидно, когда, споря о времени написания «Слова», ставят заведомо ложный вопрос о его подлинности.

Подлинность — это качество, золото всегда золото, в любом веке. Его определяет не возраст, а проба. Гениальное не может быть подделкой. Заурядный памятник не вызвал бы таких споров. Страшная сила «Слова» завораживает, будто ночной пожар, когда где-то в темном поле полыхает стог и зарево видно за десятки верст.

Да как мог Мусин-Пушкин (напиши он «Слово») утаить до и после написания свою гениальность? Ведь тут масштабы не меньшие, чем Данте, Гёте, Толстой! Об авторе нового времени, будь то архимандрит Иоиль Быковский (и ему приписывали авторство), уж что-нибудь сохранил бы восемнадцатый век. Такое зарево в карман не спрячешь. Чем больше читаешь «Слово», тем яснее невозможность создания его даже поэтом силы Пушкина. Не реставрируешь речь и ритм, взаправдашнюю тревогу за свой (XII) век. «Песни западных славян» — тому подтверждение. Даже Пушкину не удалось одолжить свой гений прошлому. Никому такое не удавалось, как нельзя выбрать век для жизни.

Вот что писал академик Д. С. Лихачев еще сорок лет назад:

«Летопись следит и за дальнейшими действиями Игоря: в 1198 году он сел на княжение в Чернигове, не раз ходил вновь на половцев, но все это осталось без упоминания в «Слове о полку Игореве». Не упомянуты и другие события русской истории, случившиеся после 1187 года. В частности, «Слово» в числе живых князей называет умершего в 1187 году Ярослава Осмомысла. Отсюда ясно, что «Слово» написано не позднее 1187 года...»

— Ну, а если бы не было этих меток времени? Как доказать древность «Слова»?

Вопрос школьного друга. На берегу Днепра горит костер, и мы говорим о «Слове».

Не было, наверное, такого дня, чтобы в стране где-нибудь не говорили о нем!

Дым изогнулся вопросом.

— Есть в твоей душе хоть капля неприязни к французам?

Друг смотрит с удивлением.

— За что?

— Ну, хотя бы за нашествие Наполеона.

— Так когда это было. Мало ли кто с кем воевал.

— А к шведам?

Пожимает плечами.

— Вот именно! Так думает каждый. Останови на улице любого, он так скажет. Хотя и двух веков не прошло. После Наполеона. Но если «Слово» написано в начале XVIII века (как считает французский ученый Мазон), откуда у автора такая враждебность к половцам? Через 600 лет! Понимаешь?

Откуда в сердце русского человека (дворянина Мусина-Пушкина или архимандрита Иоиля Быковского) столько неподдельного гнева и опасений в связи с половцами? И несвойственно никакому народу такое злопамятство. Так чувствовать мог только современник! Свидетель половецких набегов...

Когда я впервые прочел «Слово о полку Игореве», у меня было такое чувство, будто я его уже знал. От него пахло грозой и полынью, как на

берегах Днепра, где прошло мое детство. Там на закате окна приднепровских сел пылают красными щитами. Там и сегодня говорят «кажет путь», «хоробрые», «древу с тугой преклонилось», «цвелить», то есть злить, дразнить. Набеги, пожары, причитания русских жен — все это я знал. Вокруг были руины, обгорелые стены, воронки от снарядов. В подвалах голосили вдовы. Я рос на белорусской земле, где каждый четвертый житель погиб во время войны. 180 деревень были сожжены вместе с жителями. На обочинах дорог — от древнего Кричева до Мстиславля, от Полоцка до Минска — под жестяными звездами зарастали травой братские могилы.

«А Игореву храброго полка не воскресить. Вслед ему завопила Жля и Карна поскакала по Русской земле, сея людям горе из огненного рога». Я не понимал, что за такие Карна и Жля, но видел их след — страшный след золы и сажи.

Вечерами на днепровскую кручу приходил слепой баянист. Садилось солнце, и черные очки баяниста были огненно-красными. Старшие танцевали, а мы смотрели сквозь ограду танцплощадки. Внизу чернел обгорелый мост. От вещего Бояна до слепого баяниста протянулась печальная песня...

Однажды на Днепре ко мне подкралась большая черная туча. Вдруг заложило уши. Плотва перестала клевать. Все потемнело. Притихло. Я оглянулся — гроза! По воде бежала рябь. Остро и жалобно пахла полынь. Ветер надул рубаху, через реку летели, каркая, вороны.

Схватив удочки, мы бежали домой. Город стоял на круче. Бежали кусты, трава, косцы, словно кто-то гнался за нами. Добежать до невидимой стены, за ней — спасение.

Потом я понял, что это была не только игра воображения, но и страх предков, которые спасались от погони за стенами города. С городского вала я любил смотреть на заходящее солнце. Почему оно так волнует нас?

Все изменилось на земле. Но закаты, грозы, туманы не меняются. И наши чувства в эти часы схожи с чувствами наших далеких предков. В нас как бы просыпаются их страхи, обиды, тревоги.

Капал март, в окно светило холодное солнце. Казалось, через месяц я закончу перевод «Слова» и полечу на любимую реку. И снова мартовская капель стучит по жести, как три года назад. Три года я переводил десять страниц! Казалось, еще месяц... Снилось — вытягиваюсь дымом над рекой и не достаю до берега... Снился далекий лес — зеленое пятно без запахов. Я «притянул» его к себе и увидел жилы на листьях, трещины в коре, капли живицы... Но пропал лес в целом! Я «отодвинул» его, но пропали запахи, жилы на листьях, трещины в коре... Мука несовместимости. «Слово» можно переводить всю жизнь. И жизни не хватит. Оно «мстило», «мстит» и будет «мстить» всем своим переводчикам!

Понятные, полупонятные, непонятные, но родные слова — завораживают забытым звучанием... Хотяше, дотечаше, пояше... В XII веке они звучали обычно, как наши слова в нашем веке, но время сделало свое дело.

Много загадок в «Слове». Почему киевский летописец с такой страстью описал темные дела полоцкого князя Всеслава? Ведь Всеслав жил за сто с

лишним лет до похода Игоря Святославича! Вот Всеслав «от Дудуток скакнул до Немиги. Там снопы головами стелют. Молотят цепями железными. Жизнь кладут на току. Веют душу от тела...».

Немига. Последняя булыжная улица в Минске. Сколько я ходил по ней. Идешь и вдруг подумаешь: ведь это же здесь... Ярчайшая страница из «Слова о полку».

Где-то под землей бормочет спрятанная в трубу речка. При ее впадении в Свислочь стоял сторожевой город Немига—не мигай, не спи.

А может, киевский поэт-летописец был родом из Полоцка? Кем бы он ни был, «Слово о полку Игореве» не первое его творение... И не единственное. Миру еще не являлся гений, которому сразу удалось написать великую поэму, как Пушкин не смог бы, минуя все свои стихи и поэмы, написать «Медный всадник». Чтобы парить, сперва надо научиться летать. Почувствовать слова, тайну их совместности. «Боян бо вещей аще кому хотяше песнь творити...»

«Слово» написал человек в летах, но полный физических сил. Молодой не скажет, что Стугна поглотила в омуте князя юного Ростислава. Молодые о молодых не говорят: юный. Скорее: храбрый, хилый... Да и этика того времени не позволила бы молодому человеку вещать князьям, укорять их. Где же все остальное, написанное до и после «Слова»? Зола не расскажет. Ходишь и повторяешь как заклинание: «Боян бо вещей аще кому хотяше песнь творити...» И опять: «Боян бо вещей...» Страшная сила притяжения. Тысячи любительских переводов, сделанных сельским учителем, министром, студентом, врачом, дипломатом, военнотружущим... Тысячи фанатичных почитателей со своими разгадками темных мест. Не говорю уже о подлинной науке—более тысячи исследований!

Бросил Всеслав жребий о девице себе любой, исхитрившись, скакнул к граду Киеву.

А что, если пропущена буква «Т»?

И от девицы любой... скакнул к граду Киеву.

Нет... Но, сократив строку, вдруг я увидел их рядом—любую девицу и Киев. И понял—Всеслав мечтал о Киеве, как о любой девице! Позвонил Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Он говорит: «Да, любая девица—Киев. Восхождение князя на престол было обрядом венчания с городом». Вот тебе и любая девица!

Было жалко—не я первый. Можно было прочесть эту тайну в книгах, но тогда она как бы не твоя...

А вообще «темные» места должны остаться темными! Как дупло, как нора. Если все их высветлить, лес обеднеет. Улетят совы. Уйдут бобры и лисы.

Темные места... Ведь это уже не просто пропущенные слова, потерянный смысл, неправильно переписанные буквы.

Слишком много мы потеряли! Целые пласты культуры провалились в эти «темные места»! Они как озера с затонувшими храмами. В них уже больше, чем было на самом деле.

Кто же он, автор «Слова о полку Игореве»?

Суждений много. Киевский летописец, галицкий, полоцкий.

А если бы вдруг мы узнали его имя, его дела?

Какая была бы несправедливость к будущему! Разгадать его—украсть тайну у всех, кто будет жить после нас. Неизвестность больше известности.

Недавно я ехал в Югославию. Когда поезд пересек границу, в вагоне кто-то сказал: «О, Русская земля, уже ты за холмом». «Слово» вошло в нашу живую речь. И если даже есть человек, который не прочитал «Слово», он все равно его знает! Оно растворилось в нашем воздухе, в нашей крови. Оно учит любить свою землю с открытыми глазами. Думать широко. Прощать обиды и уважать другие народы.

Своей, чужой не слыша смерти,
Всего превыше ставя честь!
Нет, надо же кому-то, надо
Возвысить голос, сотрясти
Молчанья тяжкую громаду.
Иди! Другого нет пути...

III

Она невольно содрогнулась,
Представив памятную ночь.
Мели снега, и небо гнулось,
Исчезли звезды. Месяц — прочь.
Заволокло туманом дали.
Гремела жесть... Скрипел забор...
В такую непогодь едва ли
На промысел выходит вор.
... Метель собакою кудлатой
Бросалась под ноги стремглав.
Прожектора тумана вату
Толкли, пятном неясным став...
... Марина к центру торопилась.
В брюссельской ратуше в те дни
Жил комендант. Там печь топилась,
Горели в комнатах огни.
... Ножа сжимая рукоятку,
Она скользила, словно тень,
Чтоб гневу отыскать разрядку...
Когда ж забрезжил светом день,
Увидели: с ножом под сердцем
В сугробе офицер лежал.
И — слуху не закроешь дверцы,
От дома к дому он бежал.
Здесь, в тихой Бельгии, — убийство!
И кто посмел? Но вот опять
Нашли убитого арийца,
А кто убийцы — не узнать!
... Слеталась воронья стая,
Застыл над телом генерал...
... Брюссель очнулся и, мужая,
Без страха прежнего взирал
На оккупантов. Есть начало!
Привстала Бельгия с колен.
И вражеские генералы
С испугом ждали перемен.

Как быть теперь? Комендатура,
Немея от тупого зла,
Три дня настойчиво и хмуро
В тюрьму заложников гнала.
«Коль не объявится убийца
К семи часам, то всем расстрел!»

Марине надо торопиться,
Пока рассвет не забелел...
... Вот Юра, кажется, проснулся.
Взглянул в недоумень муж:
— Куда так рано? — улынулся,
Взял полотенце — и под душ.
— Я в очередь иду за хлебом.
Ни крошки хлеба нет у нас... —
... И сквозь мучения нелепо
Она в улыбке расплылась.
(Когда б он знал, куда Марина
Сегодня собралась чуть свет,
Чьей крови жаждет гильотина —
И выхода другого нет,

От горя горького немея,
Он кинулся б к ее ногам,
Поплелся, словно тень, за нею,
Наверняка погиб бы сам!)
... Мальчишек мать поцеловала.
— Простите, милые, молю.
Смерть не страшит меня нимало.
Себя казнить сама велю.
Не этого страшусь, другого:
Вас больше не видать теперь... —
Поцеловав детишек снова,
Тихонечко прикрыла дверь...

IV

Скрипел мороз под сапожками.
Седой декабрь в разгаре был.
И снег в глаза летел клоками,
На небе — тонкий месяц плыл.
Вставал рассвет декабрьский, мгlistый,
Сверкнула мысль, как будто выстрел:
— Известна правда мне одной...
Куда иду? В безвестье сгину... —
Но стало стыдно ей самой.
— Так, значит, пусть уьют невинных,
И буду я тому виной?... —
... Но нет, не сгинешь ты без вести,
Дожить не доведется, жаль!
О праведном твоём возмездье
Молва пройдет сквозь годы, вдаль!
Ты станешь в Бельгии героем
Войны, российской Жанной д'Арк,
А на Руси — бельгийской Зоей,
Одной из тех, кто рушит мрак.
Вся Бельгия — и королева —
К властям немецким припадут:
— Священен взрыв такого гнева,
Смягчите беспощадный суд.
Остановите гильотину:
Она ведь женщина и мать... —
Но как хотела бы Марина
Из уст России услышать:
— Не бойся, доченька, я рядом,
Смелее, милая, шагай!
Да разве гибель — не отрада,
Коль гибнешь за родимый край!

Владимир Шленский

НАВИГАЦИЯ

Покуда дремлют баржи и суда,
безмолвный порт совсем замерз без дела.
Ледовый плен.
Ленивая вода
минувшей осенью остекленела.
Со всех сторон обветренный простор
застыл в неистовом оцепененье.
И одинокий полосатый створ
ждет новой краски,
жаждет обновленья.
Судам пора оставить свой прикол —
ждет Север грузы
после зимней стужи.

Уже кричит призывно ледокол,
и волны вырываются наружу.
А ледокол, весь в брызгах, как в поту,
торопится на помощь ледоставу.
И кранам в оживающем порту
пора размять затекшие суставы.
Весна на смену новую идет.
Искрится солнце, озаряя лица.
Река птенцом проклеывает лед —
пора от скорлупы освободиться.

* * *

Грач — весны взволнованный трубач,
черен, словно вспаханное поле.
Грач — весна и ощущение воли.
Оглянись и жизнь переиначь.
Грач летит в родимые места,
миновав все страны остальные.
Черен он.
Чернее — ностальгия.
Вне Отчизны жизнь всегда пуста.
Хорошо, что есть куда спешить,
миновав и праздники и тризны.
Поле. Воля. Жизнь. Весна. Отчизна...
Что еще дороже может быть?

ТИХИЙ ОКЕАН

Ю. Тарскому

Тихий океан — не омут тихий.
Я не доверяю тишине.
Как художник подлинно великий,
силу он скрывает в глубине.
Постепенно, на исходе суток,
понимаю без обиняков
истинно мифический рисунок
пышной пены возле берегов.
Волны ударяются сердито.
И с попытки,
бог знает с какой,
из волны родится Афродита,
и прощай, устойчивый покой...
Тихий океан, останься тихим,
чтобы мирно жил прекрасный край.
Многоликим будь, многоязыким
и цунами атомных не знай...
По-мужски я откровенно внемлю,
в коем и надежда есть, и боль.
Океан цепляется за Землю,
словно за великую любовь.

Людмила Олзоева

ДРУГИНЯ

Елена Ивановна Рерих —
не друг, а другиня, жена.
Любви, милосердия берег
над тьмою воздвигла она.

Пусть память пребудет звездой,
связавшей таинственный свет
ромашки над быстрой водою
с сиянием далеких планет.

И как обозначить призванье:
вселенскою силой любви
все ведать — и ветвь мирозданья,
и весть, что несут муравьи.

Воительница и другиня,
где сил и терпенья предел.
Открылась Вселенной святыня
для тех, кто отважен и смел.

И тайна из древних поверий
уходит, вновь истиной став.
...Елена Ивановна Рерих...
сын Юрий... и сын Святослав.

* * *

Прошла я сердцем километры слов,
в них о любви по-разному твердится.
Не надо мне чужих прекрасных снов.
Открыта жизни чистая страница.

Там строчки, словно волны, пролегли,
и нет вокруг спасительной твердыни,
нет берега, маячит он вдали.
Свет и волна владеют мной отныне.

Я вышла на простор души своей.
В спящих брызгах ветер. Даль такая,
что с неба темного, с его ветвей
летит звезда, страницу обжигая.

НА ВЫСТАВКЕ

Святославу Рериху

Не красками, светом заполнен
на раму натянутый холст.
А горы — как росчерки молний,
и путь к ним тяжел и непрост.

О путник, ничто не забыто.
Зачем удивляешься ты:
в цветке и ладони сокрыта
целебная суть красоты.

Как лица внимательны, строги,
и нет в них печали о том,
что в жизни исполнятся сроки
под времени тяжким перстом.

Но есть в них печать совершенства,
сознание своей правоты.
Страданье от силы блаженства
окутало дымкой черты.

Ведь радость бывает труднее
и вынести, и сохранить.
Но каждый расставшийся с нею
теряет заветную нить.

А можешь ли ты отразиться
сознанием и сердцем в цветке,
любить просветленные лица,
забыть о печали, тоске?

Картина художника в раме
откроет трудом красоты
все то, что сбывается с нами,
когда мы добры и просты.

ЛИЦО СИБИРИ

Что значит быть собой, когда была я
простором синим, чередую гор.
Мне открывала туча грозовая
свой многозвучный огненный собор.

И это мне природою великой
оказана была большая честь—
стать на ветру дрожащею былинкой,
кричащей громко всем: я есть! я есть!

Как умереть мне, если трепет жизни,
биенье крови, напряженье жил
есть в реках и ручьях моей отчизны,
и оттого мне каждый берег мил.

Меня учила счастьем потихоньку
таинственная мудрая Сибирь.
И, заливая светом подоконник,
в окно вливалась праздничная ширь.

И странно было мне в кругу природы
очнуться вдруг, как выпасть из игры.
Зачем я вдруг стою одна поодаль,
когда единым связаны миры?

Ведь только что смотрела я глазами
на вертолет похожей стрекозы.
Ведь только что была я облаками,
дыша смолистым запахом грозы.

Здесь мне пришлось в невидимом обличье
быть звуками всех полевых цветов.
И в голосе моем жива привычка
цветенья радость ставить выше слов.

Меж зарослями сизой голубики
висела паутина, как чертеж
Вселенной, незнакомой и великой,
куда был каждый зван и каждый вхож.

За бабочкой бежала неустанно
ее исчезающая тень.
И солнце залегло на дне стакана
и отдыхало в долгий летний день.

Природа вдруг, замкнувшись, отступила,
когда я стала помнить о себе.
И все ж ее живительная сила
растет в моей испытанной судьбе.

Что б мне ни говорили, твердо знаю,
что будет тот прекрасен человек,
кто свеж и чист, как эта глушь лесная,
кто будет верным, как течение рек.

И если он к воде, к дрожащей пленке,
приблизит губы, чтоб испить глоток
пружинистого родника,— пусть звонко
пробьется в сердце истины исток.

Сибирь родная— Азия с Россией,
твое лицо рисует стая птиц
над свежою поляною росистой.
Здесь люди есть с красивой лепкой лиц.

Здесь кедр рассыпал отсвет, словно жемчуг,
с блестящих игл, с размашистых ветвей.
И здесь березы есть, как память женщин,
чья доброта и крепче и верней,

чья сила злее здесь и прямодушной.
И не обучен здесь родной простор
стать малым, горный чистый воздух—душным.
И словно зверь, в тайге рычит мотор.

Владимир Топоров

* * *

Когда тебе давно уже за двадцать,
За тридцать лет—и то уже давно,
Наедине с собою оставаться
Особое призвание дано.

Чтоб осознать под небом достославным,
В чем правды боль спасительнее лжи,
Пора подумать все-таки о главном,
Но что на свете главное, скажи?

На свете, где и воды прозорливы,
Зачаты в космической пыли,
Где бури и вулканы—это срывы
Извечного терпения земли.

В том, что она судьбу связала с нами,
Нет ни греха ее и ни вины,
А все ее тайфуны и цунами—
Больные лихорадочные сны.

Подземный гул.
И лист, ужатый в почке.
Молва людская.
Грохоты морей.
Все это уживается на почве,
На нервной почве
Памяти моей.

Душа с чужого горя онемает.
Сам был в беде.
И как тут не понять
Того, кто, не позируя, умеет
На твердой почве совести стоять.

И даже хаты с краю, это точно,
С тревогой смотрят из-за городьбы.
Сегодня счастье личное непрочно
Вне общечеловеческой судьбы.

Елена Андреева

МЛАДШИЙ БРАТ

Казалось, это было так недавно —
пилотку дяди сдвинув набекрень,
братишка малый, заводила главный,
водил ребят «в атаку» целый день.

Но время шло, и в час беды однажды,
когда в глазах уже не стало слез,
он повзрослел внезапно и отважно
на равных горе общее понес.

Мы у отцовской замерли могилы,
чтобы сиротство наше осознать.
И брат, упрямой наливаясь силой,
смотрел тревожно на меня и мать.

В его глазах прочла я не кручину —
мужскую твердость. На беду в упор
смотрел уже не мальчик, а мужчина,
на день грядущий устремивший взор.

Иван Киуру

* * *

Над Москвой облака высоки,
Над Москвою ревущие зори,
Над Москвою — небесной реки
Острова! И небесное море...

И шумит, и вздыхает Кольцо
До полуночи тяжким прибоем.
И текучи душа и лицо...
И бессильно тут слово любое.

Только главные ритмы лови!
Но сознанию откроется бездна.
И зачем говорить о любви?
О любви говорить — бесполезно!

И не нужно о ней толковать,
Несказанное словом рисуя;
Под прицелом эпох — токовать
И посвистывать дерзко и всуе.

С обнаженной пройду головой
В граде каменном утром ранним.
И пройду по его мостовой
И таинственными
его дворами!..

Тут мне радость узнать довелось.
Боли? Пусть. Не заплачу, не вскрикну.
Этой вечности временный гость,
Никогда я ее не постигну...

Даже грозной грозы не робев,
Жил я, древу подобный и стеблю,
Потому — только песню пропев —
Я уйду в эту вечную землю.

И не скажешь: чего ради для
Жил, рожденный с душою солдата?
Что изведал?
Обильна земля
И сердце высотой богата.

На высокую гору взойду,
Ту, что вечной горой разумею!
И — смущенной зари на виду —
Назову эту землю своею.

Н. В. Крандиевская-Толстая

1890—1963

* * *

Затворицею, розой белоснежной
Она цветет у сердца моего.
Она мне друг, взыскательный и нежный,
Она мне не прощает ничего.

Нет имени у ней иль очень много.
Я их перебираю не спеша:
Психея, Муза, роза-недотрога
Поэзия иль попросту — душа.

* * *

Так случилось под конец,
Не могли сберечь колец.
Потерялося твое,
Я не знаю, где мое.

Так случилось, так пришлось,—
Мукой сердце извелось.
Стало каменным твое
И обуглилось мое.

Не ропщи и не зови,
Не вернуть назад любви.
Бродит по свету моя,
Под крестом лежит твоя.

* * *

Длинной дорогою жизнь подводила
К этому страшному дню.
Все, что томилось, металось, грешило,
Все предается огню.

Нет и не будет виновных отныне.
Даруй прощенья и мне.
Даруй смиренья моей гордыне
И очищенья в огне.

* * *

Я во сне отца спросила:
Не тесна ль тебе могила?
Ты, меня опередивший,
Как там, что там? Расскажи!

Мир живущих с миром бывших
На минутку увяжи.

Ты молчишь недоуменно,
Ты поверх меня глядишь,
И становится мгновенно
Очень страшной эта тишь.

Вадим Сикорский

* * *

Бывает, люди в полдень трудовой
согнутся над землей, устали лица,
и не заметят, как над головой
вдруг пролетит невиданная птица.

Но вот чему светло ты удивись —
бывает, кто-то, оторваясь от дела,
прошепчет, глядя со слезами ввысь:
смотри, какая птица пролетела!

* * *

Есть строенья, что ставятся сразу
окнами прямо на юг.
В них теплей, в них приятнее глазу
и вроде бы меньше разлук.

Бодр и весел, шучу я со всеми.
И не знают ни мать, ни друзья,
что рожден я с глазами на север.
Ничего с этим сделать нельзя.

АНТИМИР

Нет, нет, ты не лети, воображенье,
за легкую добычей: черный свет!
Со всем тебе доступным снаряженьем
ты то ищи, чего в помине нет.

Растут пусть где-то черные березы,
блистает на вершинах черный снег,
пусть вешние страшны тем людям грозы —
но золотой их так же манит век.

Все это так лубочно, явно с детства —
твой антимир... Не те ж там свет и мгла?
Зачем тысячелетьями смотреться
в пустые неземные зеркала?..

* * *

Там сосны встали в блестящих льда
под стать карельским,
там примерзали поезда
к морозным рельсам.

Замерзнешь вмиг, что ни надень.
И стынь такая,
что до сих пор тот давний день
в душе не тает.

Вадим Ковда

* * *

В ноябре в пространстве скудном
в той межвременной поре
вдруг снежинки, как секунды,
зачастили на дворе.
Набегали, нарастали,
черный дворик серебря.
Возлетали, упали
прямо в сердце ноября.
На сараи, на дорогу,
на земную наготу...

Снова маялась природа,
созидая красоту.

* * *

Да, люблю это поле и лес,
городки средь лесов и полей,
и природу вот этих небес,
и породу вот этих людей.

Для меня все тут слишком всерьез —
эти песни, и страсть, и напад.
Тут хватает и горя и слез —
этим каждый силен и богат.

Здесь души моей корень и ствол,
здесь для слуха и глаз благодать.
Жизни истинной чувствую скол...

Если путь и бывает тяжел,
то иного не надо желать.

МОСКОВСКИЙ ЙОГ

Зашел знакомый — йог-вегетарьянец,
решительный сторонник неубийства,
улавливатель праны мировой...
Худой, спокойный, снял свою дубленку,
на крюк повесил, в зеркало взглянул:
на нем пиджак из замши цвета крови,
шевровой, мягкой кожи башмаки
и запонки изящные из кости...

Лариса Тараканова

ОСИНА

Первое золото — первый намек
Осени жадной.
Вот ее огненно-красный мазок
В роще прохладной.

Эта осина — всех выше в лесу —
Вышла навстречу:
Всех остальных заслоню и спасу,
За всех отвечу.

Что же ты, роща, притихла с утра?
Недосмотрела —
Первою старшая встала сестра,
В ночь обогрела.

Думали счахнет, падет, облетит
И похудеет.
Глянули — плачет. Смеется. Парит.
Светится. Рдеет.

Юрий Левитанский

ИЗ КНИГИ «БЕЛЫЕ СТИХИ»

СОВРЕМЕННАЯ БЫЛЬ О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

...И когда она мне сказала — проси чего хочешь,
я ответил смущенно — ну, что вы, спасибо,
как можно!

Благодарствуйте, я ей сказал, государыня рыбка,
я уж как-нибудь сам постараюсь управиться с этим.

И старался. Усердствовал. Сам свое ладил корыто.
Сам старухам своим угождал, поелику возможно.
Ту дворянку звал столбовой и ни в чем
не перечил,
ту царицей морскою, да сам же и был на посылках...

Так прошло, почитай, тридцать лет и три дня
и три года.
Вот и снова у синего моря стою одиноко.
И опять выплывает ко мне государыня рыбка —
ну, чего, говорит, ну, чего тебе надобно,
старче?

И смиренно ответственвал я государыне рыбка —
ничего, я сказал, ничего мне такого не надо,
ни палат, говорю, расписных, ни сокровищ
несметных —
мне бы только покою чуть-чуть, если это возможно...

Ничего не ответила мне государыня рыбка,
ничего не ответила мне, ничего не сказала,
только трижды своей головой золотою качнула,
да плеснула хвостом, да ушла в помутневшие воды.

А мне снился покой — он был тих, и просторен,
и светел,
и одно лишь в моей благодати меня сокрушало,
что не ведаю ныне, довольны ли душеньки ваши,
ах, царицы мои, ах, дворянки мои столбовые!

ПОСЛАНИЕ ЮНЫМ ДРУЗЬЯМ

Я, побывавший там, где вы не бывали,
я, повидавший то, чего вы не видали,
я, уже там стоявший одной ногою,
я говорю вам — жизнь все равно прекрасна.

Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна,
даже когда трудна и когда опасна,

даже когда несносна, почти ужасна —
жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна.

Вот оглянусь назад — далека дорога.
Вот погляжу вперед — впереди немного.
Что же там позади? Города и страны.
Женщины были — Жанны, Марии, Анны.

Дружба была и верность. Вражда и злоба.
Комья земли стучали о крышку гроба.
Старец Харон над темною той рекою
ласково так помахивал мне рукою —
дескать, иди сюда, ничего не бойся,
вот, дескать, лодочка, сядем, мол, да поедем...

Как я цеплялся жадно за каждый кустик!
Как я ногтями в землю впивался эту!
Нет, повторял в беспамятстве, не поеду!
Здесь, говорил я, здесь хочу оставаться!

Ниточка жизни. Шарик, непрочно свитый.
Зыбкий туман надежды. Дымок соблазна.
Штопаный-перештопаный, мятый, битый,
жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна.

Да, говорю, прекрасна и бесподобна,
как там ни своевольна и ни строптивна,
ибо, к тому же, знаю весьма подробно,
что собой представляет альтернатива...

Робкая речь ручья. Перезвон капели.
Мартовской брагой дышат ручные броды.
Лопнула почка. Птицы в лесу запели.
Вечный и мудрый круговорот природы.

Небо багрово-красно перед восходом.
Лес опустел. Морозно вокруг и ясно.
Здравствуй, мой друг воробушек,
с новым годом!
Холодно, братец, а все равно — прекрасно!

НОВОГОДНЕЕ ПОСЛАНИЕ АРСЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ТАРКОВСКОМУ

Я кончил книгу и поставил точку...

Из его стихов

...И вот я завершил свой некий труд,
которым завершился некий круг, —
я кончил книгу и поставил точку —
и тут я вдруг
(хоть вовсе и не вдруг)
как раз и вспомнил эту Вашу строчку,
Арсений Александрович, мой друг
(эпитет *старший* не влезает в строчку,
не то бы я сказал, конечно, *старший* —
Вы знаете, как мне не по душе
то нынешнее модное пижонство,
то панибратство, то амикошонство,
то легкое уменье восклицать —
Марина-Анна, о, Марина-Анна! —
не чувствуя, как между М и А
рокошет Р, и там зияет рана,
горчайший знак бесчисленных утрат),
Арсений Александрович, мой брат,

мой старший брат по плоти и по крови
 свободного российского стиха
 (да и по той, по красной, что впиталась
 навечно в подмосковные снега,
 земную пробуравив оболочку),
 итак, зачем, Вы спросите, к чему
 сейчас я вспомнил эту Вашу строчку?
 А лишь затем — сказать, что Вас люблю,
 и что покуда рано ставить точку,
 что знаки препинанья вообще —
 не наше дело, их расставит время —
 знак восклицанья, или знак вопроса,
 кавычки, точку или многоточье —
 но это все когда-нибудь потом,
 и пусть кто хочет думает о том,
 а мы еще найдем о чем подумать...
 Позвольте же поднять бокал за Вас,
 за Ваше здравье и за Ваше имя,
 где слово Агс — искусство — как в шараде,
 со словом сень соседствует недаром,
 напоминая отзвук сотрясений,
 стократно повторившихся в душе,
 за Ваши рифмы и за Ваш рифмовник,
 за Ваш письмовник и гербовник чести,
 за Вас, родной словесности фонарщик,
 святых теней бессменный атташе,
 за Ваши арфы, флейты и фаготы,
 за этот год
 и за другие годы,
 в которых жить и жить Вам, вопреки
 хитросплетеньям кригиков лукавых,
 чьи называть не станем имена.
 Пускай себе. Не наше это дело.

Леонид Губанов 1946—1983

Он встретился мне шестнадцатилетним. Все, кто его
 знал и понимал тогда, в середине шестидесятых, радова-
 лись темпераменту, силе и молодости стиха. Ему прочили
 большое будущее, шумный успех. Он напечатал в «Юно-
 сти» несколько стихотворений, вызвавших яростные споры.
 Были там такие строки:

Уходим мы от жен и денег
 на полнолуние полотен.

Некоторые критики упрекали молодого поэта в манер-
 ничанье, в позерстве, ибо, по их мнению, возраст не давал
 права поэту на подобные заявления. Не хочу проводить
 аналогий, но не могу не вспомнить, что в таком же
 возрасте А. С. Пушкин писал:

Но мне в унылой жизни нет
 Отрады тайных наслаждений;
 Увял надежды ранний цвет:
 Цвет жизни сохнет от мучений,—

а разве мы его сегодня можем укорить за молодую
 зрелость?

Мир поэзии Леонида Губанова просторный и яркий. Он
 поэт вдохновенный и умеет видеть мир космическим
 взором:

Где, как планеты,
 маленькие люди
 вращаются в больших ладонях жизни.

Стихи Губанова неоглядны, размашисты, видно, как
 бьется в строках чуткое сердце, как живет полнокровный
 ум.

Ему прочили шумный успех, но Губанов ушел от
 успеха — в жизнь, в переживания, в стихи. Жизнь его
 оборвалась на тридцать седьмом году.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

МИРЫ

У каждого — свой тайный личный мир,
 Есть в мире этот самый лучший миг...

Таков закон безжалостной игры:
 Не люди умирают, а миры...

Евг. Евтушенко

Я — этот мир,
 корявый и красивый,
 глазастый мир,
 разбуженный с утра.
 В моей душе
 над ранами
 разливы
 большого человеческого тепла.
 Я — человек,
 и этим самым — вечен!
 Иду в века,
 как в новый трудный бой,—
 там,
 где вселенной
 на большие плечи
 легла земля
 счастливой головой,
 там,
 где грешат,
 поют и бьют,
 и любят
 мир трав и песен,
 мир чужих и ближних,
 где,
 как планеты,
 маленькие люди
 вращаются в больших ладонях жизни.
 Я — человек,
 и веку современник,
 а жизнь как песня,
 жизнь — большой порыв,
 когда в душе
 рождается Коперник
 и открывает новые миры.
 ...И если я,
 за мир сердец и песен
 умру в руках
 у палача — огня,
 мои созвездья
 вспыхнут в поднебесье.
 мои миры
 споят вам за меня!

ЭТА ЖЕНЩИНА

Эта женщина недописана,
 Эта женщина недолатана,
 Этой женщине не до бисера,
 А до губ моих, адо-адовых...

Вот сидит она, непричастная,
Непричесана — ей без надобности...
И рука ее не при часиках,
И лицо ее не при радости.

Все-то хмурится ей, все-то горбится,
Непрочитанной, обездоленной.
Вся-то жизнь ее в белой горнице,
Только горница недостроена.

Ничего-то в ней не раскисает,
Ничего-то в ней не разбудится,
Отвернет лицо, стонит пальцы,
Незнакомо страшно напудрится...

Вот и все дела! Мама — вишенка,
Вот такие ей непригожие...
Почему она в доме лишенка?
Не гостиная, не прихожая.

Что мне делать с ней, отлюбившему,
Отходившему к бабам легкого...
Подарить на грудь бусы лишние,
Навести румян неба лётного?

Я приду весной, пьяным-пьяненький,
Завалюсь во двор, стану окна бить,
У меня в пальто кулек пряников,
И еще с собой все что есть и пить.

«Выходи, скажу, девка подлая,
Говорить хочу все, что на сердце!»
А она в ответ: «Ты не подлинный!
Ты вали к другой — а то хватится!»

И опять закат свитра стертого,
И опять рассвет мира нового.
Черный снег да снег... Только в чем-то мы
Виноваты все, невиновные...

* * *

Яблок красных и белых
Стук в саду невпопад...
Смерть кустов обгорелых,
А потом — снегопад...

Ветер в парке гуляет,
Шапку гнет набекрень.
И березы стреляют
От Мороза весь день...

И читаю, читаю,
И пишу, и пишу...
Долгих дней не считаю
И живу — как дышу!

* * *

Угар сошел, как будто кожа
Спаленная, — сплошной волдырь,
О, если б был я помоложе
И разум — был мой поводырь!

О! Если б смог и я вернуться,
Тропинкой в юность пробежаться
И к зацелованному Кунцеву,
Как мальчик, радостно прижаться.

Сергей Мнацаканян

ЛИРИКА 80-х ГОДОВ

Мальчики нового поколения
крутят транзисторы на углу...
Девочки нового поколения
еще не услышали от них

«люблю»...

А природа требует повторения —
и наводит черемуховую мглу.
Ах, эти девочки, эти мальчики,
они мне нравятся от души,
в них много уверенности и алчности,
но все же наивны и хороши.
Они пока еще не догадываются,
что жизнь накатывает и на них,
они пока еще просто радуются
в вечерних сумерках проходных.
Они пока что живут — не ведая:
какие б ни были времена,
есть в этом мире навеки вечное —
неразделимые Он и Она.
Так скоро мальчики эти в армии
будут от девочек ждать письма
и будут слушать новые арии —
металлом эпоха звучит сама.
А после кинут солдатские кители,
и будет свадебный витье дым,
пусть молодые еще родители
все не привыкнут к детям своим.
А там покатится

и завертится,

и эти ребята

превратятся в отцов,

и эти девочки,

столь вельветовые,

станут мамашами в конце концов...

А там — начнется,

еще неведомая,

вечная лирика иных годов...

* * *

Событье! — липа зацвела!

Ну и дела!

Везде — в садах и городах
так одуряет запах липы,
что просто «ах»
и хохот, шелесты и всхлипы.

От океанов — до пустынь,
в яслях, квартирах и конторах
махровой липы веет шорох,
витают дым...

Повсюду липа, черт возьми,
как наважденье золотое,—
часов с восьми
сквозняк лишается покоя.

Под вечер в уличных пивных,
над фабрикой, над институтом
дух липы царствовать привык
с напором лютым.

А сквер брюхат —
он весь как липовая школа,
он учится благоухать
до одури, до произвола...

Событие — липа зацвела
не понарошке,—
жужжит над веткою пчела
кругами звуковой дорожки!

А сквер мохнат,
топорщится неверным цветом:
пора соцветья отряхать
по парапетам.

Сквер повторяет свой урок —
глядь: сумерки стоят на лапах —
и их завлек
цветущей липы желтый запах.

Вячеслав Куприянов

* * *

За всю мою долгую жизнь
темнота ночи
не изменилась

но мне показалось
что звезды
стали внимательнее
друг к другу

ВОСПИТАНИЕ КАМНЯ

Кем вырастет камень?
Надгробьем?
Пьедесталом?
Снарядом?

Благородней всего
уметь высекать огонь
или стать жерновом
молоть муку
для добрых людей

Без любви
такой судьбы не добиться:
для благих дел
даже камней
должно быть
двое

* * *

О звездах ведем разговоры.
Любую из них насели —
какие освоишь просторы,
как много на небе земли!

Там тоже пахать и пахать,
возделывать хлеб и лен,
и медленный скот погонять
по млечной дороге времен.

Евгений Храмов

* * *

Пока московская окраина
Ночными пташками посвистывает,
Все сделано уже, задраено,
Проверено и все подписано.

Покуда полуночник мечется,
Ловя такси куда-то в Ховрино,
Миров неведомых разведчица
Уже к движенью изготовлена.

В бессонном Центре Управления
Уже отсчет ведется времени...
Спокойно дышит население,
И шепчутся дожди с деревьями.

Одновременность дел и отдыха,
И тишины, и беззаботности
С внезапным содроганьем воздуха,
Сгущением его до плотности.

И вот — над первыми трамваями!
Над первой поливной машиною!..

Все, как обычно, ожидаемо
И, как ведется, неожиданно.

* * *

...Так начать с полуслова, с мгновенья,
На котором кто-то прервал
Этой памяти долгой теченье,
И совсем невелик интервал,
И рассказчик рассказ продолжает,
И не надо ему объяснять,
Отчего керосин дорожает
И какие слова через ять.

Это там, где гудят подворотни,
Где шарманки хрипят во дворах,
Где берут за квартиру полсотни,
Но зато при хозяйских дровах.
Где швейцаром Семен или Павел —
Гренадер, отслуживший свой срок,
Там, где дед мой России оставил
Тыщи верст двухколейных дорог.

(И сейчас же при имени деда
Вижу белый чертеж на доске...)
Иль начать с описанья обеда
В затемненной голодной Москве?
Все равно, лишь бы все это было
От Кремлевской до брестской стены
Перескажем семейного быта
И поэтому — жизнью страны.

Чувство родины,
Чувство народа...
Но все крепче за сердце берет
Чувство...
Нет — о сознание рода.
Ибо РОД, а отсюда НА-РОД.
Не с того ли в московских квартирах,
Из прапамяти извлечены,
Усачи в позабытых мундирах
Улыбаются нам со стены?
И крестьянский крепьш из-под Вятки,
Утвердившись в быту городском,
Словно водит в детские прятки —
Ищет дедов оставленный дом?

На сырых берегах Тагила,
Под Вапняркой, у Повенца
Все мы ищем Дом и Могилу —
Дедов дом и могилу отца.
Тот упал на пески Урала,
Тот задохся в фашистской петле.
Ух, как много убийц погуляло
По дарованной нам земле.
Не кликушество,
Не ностальгия,
Просто видеть хотим сквозь года:
Если нынче мы стали другие,
То какие мы были тогда?
Мы, кто Русью, Россией были,
Мы, кто стали Советский Союз,
Как страдали, бились, любили
И какой проносили груз
Сквозь недели, дни и века,
От начала реки, от истока,
От летающего мужика
До гагаринского «Востока».

ВСЕПОГОДНАЯ АВИАЦИЯ

Это небо было небом
Час иль два на каждый день.
В остальное время не было
Неба —
Был тяжелый дым.
Плыли тучи погремучие,
Набухая ртутной кровью.
Словом, нет, не наилучшие
Были метеоусловья.

Но, представьте, самолеты
Поднимались в это небо,
Регулярные полеты
Совершались все же, ибо
Никакая непогода
Не помеха человеку!..
Даже если время года
Станет равным полувеку.

* * *

Незаслуженно тяжким возмездьем
наступление этого дня,
и шепчу я лесам и созвездьям:
«Я умру, пожалейте меня...»

А в ответ мне — и краски, и звуки,
и шершавые уши телят,
и дрожащие мамыны руки,
и отцовский растерянный взгляд.

Виктор Гаврилин

* * *

Деревья шумят. Начинается ветер.
К растрепанным купам поднимется взгляд.
Как тихо от этого шума на свете.
Одно только слышно — деревья шумят.

Могучей дубравы согласное вече...
Впивай этот ропот хмельной, как вино.
Не только тебе одному, человеке,
шуметь на немолчной планете дано.

И ты не один с этим ветром эпохи,
где гиблого атома вкраплен распад.
Подует покрепче — здесь тоже не вздохи.
Такая погода — деревья шумят.

Восходит кипенье зеленого шума,
и птиц не слышать над твоей головой,
и так неизбежна высокая дума,
и в нас отзывается ветер верховой!

Ирина Новосельская

* * *

Я люблюсь тонкой кистью,
Белой кистью на стекле.
А в окно стучатся листья
Яблонь, вымокших во мгле.

На столе моем дубовом
Расколосило стекло.
В ткань пореза чем-то новым
Слово вечное вошло...

* * *

Жизнь, что вокруг бушует и поет,
В вечность просто так не перейдет;
Все, свершая свой круговорот,
Вновь в свои источники войдет.

Будут снова капельки росы.
И минуты будут, и часы.
Будут звезды, будет бег планет.
Что ж ты плачешь: «Повторенья нет».

ОНА И ОН¹

Она и Он — притоки Абакана.
Переключаясь смутно и гортанно,
под сенью неба, листьев и тумана
Она и Он свершают свой полет.
Доверясь и друг другу и движенью,
Она и Он устремлены к сближенью,
к слиянью, к полному перемещенью
своих и песен, и натур, и вод.

И цели этой жертвенной в угоду
Она и Он навеки губят с ходу
свою от веку личную свободу.
А где-то, на исходной высоте,
еще в начале всех начал нечинных,
еще в горах, на спадах и в теснинах,
Он пляшет воином в густых седилах,
Она — невестой в свадебной фате.

Седины и фата — самозабвенно
на скачущей воде вскипает пена.
Седины и фата — попеременно
они являют правду и обман.
Сквозь мельтешенье снежно-голубое
следим мы за счастливую судьбою.
В предел любви впадаем мы с тобою —
Она и Он впадают в Абакан.

Впадают, брызги на камнях сея.
И вместе с остальной водою всею
уносит их обоих к Енисею
стезей, теперь уж более прямой.
А я, негибкий, в поздний час и в ранний,
топчусь в кругу своих мужских скитаний:
лишить тебя как женщину страданий —
лишиться, дескать, и тебя самой.

Она и Он — притоки Абакана:
касясь их, мы поздно или рано
коснемся и Москвы, и океана,
и чувства нашего первопричин,
и на орбитах — солнечного ветра,
и тех корней разлапистого кедра,
которые, уйдя в земные недра,
касаются родительских глубин.

Два диких русла — петли да зигзаги.
О, сколько нужно личностной отваги,
чтоб нам с тобой хоть на каком-то шаге
за рамки выбиваться и за план.
За косность. За привычку. За усталость.
За все, что нам с тобой теперь осталось...
Мы в грусть впадаем иногда под старость —
Она и Он впадают в Абакан.

Впадают, хоть на них довольно косо
ложится тень то ветки, то утеса.
Входя в один ответ на три вопроса
окрестных птиц, деревьев и зверья.
Что есть паренье? Полная свобода!

¹ Так названы два притока реки Абакан, несущей свои воды на юге Красноярского края.

Что есть цветенье? Полная свобода!
Что есть движенье? Полная свобода!
Один ответ — Свобода. Ты и я.

Она и Он. Увязка тьмы и света.
Согласье откровенья и секрета.
Родство дозволенности и запрета.
Он как смятенье, и Она как лад.
Он и Она как два речных притока,
которым друг без друга одиноко
и коим нет ни отдыха, ни срока,
ни смены, ни износу, ни преград.

Не верю я и сам ни в коем разе
в ту явность, что не смладу, а в запасе.
И рвут меня на части ипостаси:
пигмей, посредственность и великан.
Рвут, разлагая цельность на детали...
От лишку бодрости или печали
во что б мы там с тобою ни впадали —
Она и Он впадают в Абакан.

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

Светало во мне понемногу,
манило к не дальней тропе:
тропа-де впадает в дорогу,
а та, мол, выносит к судьбе.

И крепи мальчишечьи ноги.
И надоедало жильё.
Ну, вправду же: как без дороги,
без вечных соблазнов ее?

Держись на миру молодчиной,
с приснившихся лестниц лети —
все будет напрасно: мужчиной
становишься только в пуги,

в движении.
И оттого-то
смещеньем тепла и порош
дорога в крутых поворотах
мне под ноги кинулась все ж.

Шагай, мол, вперед помаленьку,
как будто забыв о езде:
идуший точнее оценку
выносит всему и везде.

Разумней берется за службу,
смелее приветствует новь,
по-новому смотрит на дружбу,
полней ощущает любовь.

Справляется легче с кручиной,
себя не держа взаперти.
Оно и понятно: мужчиной
становишься только в пути.

В пути, открывающем глазу
то озеро, то перевал.
В дороге — хотя б и ни разу
ты из дому не уезжал.

В движенье — и в том, от порога,
и в том, что в особых шагах.
Уносится в дали дорога
рекою о ста берегах.

Влечет сквозь рыдания и песни
к тому, что вон там, впереди.
Дорога — само поднебесье
ее прижимает к груди.

Дорога — в ней легкость и бремя,
в ней собранность и кутерьма.
На месте не стынут ни время,
ни ты, ни дорога сама.

Не стынут — смирай же заботы
и вновь их сыскать норови.
Иди же дорогой работы,
ошибок, удач и любви.

Страдай же от пыли и жажды,
не прячь от ненастий лица.
Тропа оборвется однажды —
дороге не будет конца.

Дорога подладится к шагу,
хоть твой он, хоть целой Земли.
Ты чуешь в себе эту тягу?
Ну, если решился, — пошли!

Валерий Хатюшин

ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ

Центр вселенной —
Земля.
Кто еще сомневается в этом?
Лишь отсюда уйдут
в невозможную даль корабли.
Прав Коперник,
и все ж
Птолемей был
великим поэтом,
если он осознал
мировое значенье Земли.

Беспредельна ли тьма,
бесконечен ли свет —
неизвестно.
Этот хаос ночной
не разведан пока что никем.
Только разум и жизнь
занимают центральное место
среди мертвых планет
и безжизненных звездных систем.

Если б где-то возник
на просторах астрального света
разум жизни другой —
мы б слышали их голоса.

Но другие миры
предназначены для человека,
лишь вокруг человека
вращаются все небеса.

* * *

Воронки,
воронки...
На Марсе, на Сатурне, на Луне...
Почему мы решили,
что это кратеры вулканов?
А может быть, это
воронки
от разрывов бомб?..

Может быть,
по окончании войны
кто-нибудь
из глубины мирозданья
смотрел
на нашу землю в телескоп
и думал,
что она вся изрыта
кратерами вулканов...

Марина Тарасова

* * *

В луга и раздолья лесные,
где синее
дружит с зеленым,
центральная едет Россия
в продымленных общих вагонах.

Не жадность людей
помещает
на эти простецкие полки,
а скромность,
привычка такая —
не тратить копейки без толку.

Ребятам везут апельсины,
костюмы и книжки они,
отцы необъятной равнины,
что жизнью звалась искони.

Бесчестье
крадется их мимо,
а подлость
пугливо дрожит,
как черный окурочек «Примы»,
что ветру вдогонку летит.

Как мудрость жива в простодушье,
а дерзость в супруге законной,
смыкается
эпос с частушкой
в продымленных общих вагонах.

НАСЧЕТ ПОКОЯ

Он где-то есть,
Он снился Блоку.
Во вздохе мамы:
«Слава богу,
Жизнь прожита» —
Он так глубок,
Что и дорога из-под ног
Ушла,
И вот с любого боку —
Так называемый покой.
Он был, как видно, под рукой,
Меж пальцев тек,
Мерцал пудово
В крупницах пляжного песка,
Цеди хоть сетью гамака —
И ты, глядишь, не без улова.
Покой, однако, не улов,
А ловля.
Не прикол, а зов
Гудков и тяга парусов.
Иной раз вылупишься: вот он!
Ан нет — желанного лишен.
Он не добыча, а охота,
Не камень, а огранка он.
Покой не хлеб, а сев.
И не
Сугрев, а попросту горенье,
Не дар,
Не дань глубоких недр,
Откуда выкачана нефть,
А сверхглубокое буренье.
И я не знал, чего искал
В озерах зорь,
На склонах скал,
В чащобах лиственных и хвойных,
Куда я больше ни ногой.
Я нынче думаю: на кой
Покой,
Пока я не покойник?

1984

Столетье бесповоротно,
И вот уже
У крыльца
Год восемьдесят четвертый —
Семнадцатый от конца.

Семнадцатый от начала
Ему завещал порыв,
«Авроровы»
У причала
Орудия зачехлив.

На звезды летит
И медлит
Снежинками возле век
Навек семнадцатилетний
И вечности равный
Век.

Не скоро ему
На отдых:
За каждой зимой Земли
Есть вешние воды —
Годы
Нетронутые мои.

Да будут легко сбываться,
Ведь, как бы ты ни был сед,
Они впереди —
Семнадцать,
Которых в седилах нет.

Мы выходцы из метели —
Споткнувшиеся не раз,
Чего-то мы не успели,
Но будущее
При нас.

Подумаем
О планете:
Другой под ногами —
Нет.
На стыке тысячелетий
Нам будет
Семнадцать лет.

Олег Кочетков

ЦВЕТОК

Сорвал я цветок и забылся,
Поближе к лицу поднеся.
Вдохнул я, как небом умылся:
«Откуда такой родился?»

В кювете, к землице он гнулся
И молча ее целовал.
Как сине он мне улыбнулся,
А я его — взял — и сорвал.

И что я увидел в итоге?
Лишь то, что и видел с дороги:
Как свет его долог и ясен,
Как горько он свеж и прекрасен!

ПРИЗЕМЛЕНИЕ КОСМОНАВТА

Так тяжело на землю ступил,
С улыбкой такой виноватой,
Как будто ему кто прибил
Подошву к стерне жестковатой.

Так трудно махнул он рукой
Его обступившим просторам —
Как будто вернул он покой,
Сродненность почуял в котором
И с этим вот старцем раскосым,
Который сейчас — обнимает,
И с вечным мальчишкой белесым,
Который о крыльях мечтает...

Валентин Кузнецов

* * *

Земля загрустила о снеге,
Бесснежье в родной стороне.
Не сломит ли ветер побег,
Пробьется ли колос к весне?

Тревожишься ты понапрасну:
И дождь соберется и град.
Бесснежье не так уж опасно,
Безлюдье
страшнее стократ.

Ты знала свинцовые ночи,
Без хлеба была и жилья.

Но кто-то сегодня не хочет,
Чтоб ты колосилась, Земля!

Тобою натешились вволю:
И в море кидали, и в печь.
И я никому не позволю
Лицо твое стронцием сжечь.

Нет. Я не ничтожная кроха,
А я человек! Ты пойми.
А это не так уж и плохо,
Скажу между нами, людьми.

Не ради приварка какого
Тружусь над строкой не спеша.
А чтобы у шара земного
Не очень
болела
душа.

В СБОРНИКЕ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1984» УЧАСТВУЮТ:

Авсарагов Б.—стр. 127
Акчурин М.—147
Андреева Е.—161
Антошкин Е.—120
Ахмадулина Б.—31

Баева А.—126
Байбаков В.—92
Балашов Э.—135
Бахтин М.—130
Бек Т.—74
Белинский Я.—70
Белова Л.—68
Беляев М.—148
Берендгоф Н.—112
Бобров А.—68
Богат Е.—124
Боков В.—29
Бояринов В.—87
Букетова Т.—112
Букина Л.—57
Бурич В.—114

Валиков Г.—103
Ваншенкин К.—5
Васильева Л.—132, 163
Вегин П.—127
Велихова З.—114
Вергелис А.—72
Винокуров Е.—32
Винонен Р.—171
Владимов М.—111
Вознесенский А.—53
Воронов Ю.—45
Воропаева Л.—145

Гаврилин В.—167
Гершанова С.—91
Глазков Н.—55
Глушкова Т.—139
Говоров А.—136
Голицын Ю.—112
Гольцман Я.—168
Гордейчев В.—10
Грибачев Н.—4
Григорьева Л.—57
Губанов Л.—163
Гусев Вл.—60

Дагуров В.—84
Дементьев А.—70
Дементьев В.—138
Дмитриев О.—66

Евтушенко Е.—12
Елфимов П.—109

Жигулин А.—15
Жданов И.—104
Жирмунская Т.—113

Завальнюк Л.—85
Золотцев С.—51

Исаев Е.—16

Казакова Р.—80
Казанцев В.—79
Каныкин А.—141
Карпеко В.—168
Кафанов А.—97

- Кашежева И.— 34
 Квливидзе М.— 83
 Киуру И.— 161
 Клюев Н.— 123
 Князев А.— 92
 Кобзев И.— 56
 Коваль-Волков А.— 98
 Ковда В.— 162
 Козловский Я.— 150
 Кондакова Н.— 101
 Копылова Л.— 100
 Корнеев А.— 100
 Костров В.— 26
 Котляр Э.— 97
 Кочетков О.— 171
 Кошелева Н.— 63
 Кошель П.— 111
 Крандиевская-Толстая
 Н.— 161
 Красухин Г.— 121
 Крыжановский С.— 114
 Кузнецов Вал.— 172
 Кузнецов Ю.— 30
 Кузнецова С.— 51
 Кузьмина-Караваева Е.— 124
 Куняев Сергей — 123
 Куняев Станислав — 35
 Куприянов В.— 166
 Кушнер А.— 76
- Лаврин А.— 116
 Лавлинский Л.— 41
 Лазарев В.— 114
 Латынин Л.— 50
 Левин Г.— 143
 Левитанский Ю.— 163
 Лисянский М.— 34
 Луговская М.— 50
 Львов М.— 14, 88
 Ляпин И.— 93
- Мазнин И.— 137
 Макаров В.— 135
 Мальми В.— 137
 Мандельштам О.— 151
 Марков А.— 157
 Мартынов Л.— 65
 Мартынов Н.— 111
 Матвеева Н.— 71
 Митасов Е.— 134
 Мнацаканян С.— 165
 Мориц Ю.— 118
- Наппельбаум Л.— 111
 Нежданов В.— 135
 Нефедова Л.— 139
 Николаев А.— 28
 Николаева О.— 134
 Николаевская Е.— 30
 Новосельнова Н.— 119
 Новосельская И.— 167
- Одицова Л.— 94
 Озеров Л.— 52
 Окуджава Б.— 75
 Олзоева Л.— 159
 Осинин В.— 98
 Ошанин Л.— 34
- Пальчиков (Элистин-
 ский) В.— 113
 Панченко Н.— 58
 Парпара А.— 107
 Парщиков А.— 143
 Передреев А.— 43
 Поделков С.— 86
 Поздняков Н.— 100
 Поликарпов С.— 115
 Постникова О.— 145
 Потапов А.— 91
 Потехина И.— 93
 Преловский А.— 26
 Примеров Б.— 49
 Прийма А.— 136
 Путилова Я.— 151
- Рабинович В.— 136
 Рахманин Б.— 101
 Реброва Т.— 149
 Романов Б.— 139
 Романова Р.— 145
 Русаков Г.— 76
- Савельев В.— 169
 Самойлов Д.— 64
 Самченко Е.— 119
 Северянин И.— 115
 Селезнев И.— 87
 Семакин В.— 108
 Семенов В.— 59
 Семьнин П.— 95
 Сергеев В.— 144
 Сикорский В.— 162
 Синельников М.— 36
 Сидоров Вал.— 142
 Слуцкий Б.— 10
 Смирнов С.— 7
 Соколов В.— 8
 Солоухин Вл.— 110
 Сорокин В.— 148
 Софронов А.— 105
 Старшинов Н.— 62
 Сухарев Д.— 102
- Тараканова Л.— 162
 Тарасова М.— 170
 Тарковский А.— 77
 Твардовский А.— 20
 Твардовская М.— 25
 Терещенко Д.— 84
 Ткаченко А.— 126
 Третьяков А.— 151
 Топоров В.— 160

Толстая Т.—116
Тряпкин Н.—13

Устинов В.—81
Ушаков Д.—52

Федоров Вас.—47
Федосова Л.—168
Федотов В.—99
Фильштейн М.—93
Флеров Н.—91

Хатюшин В.—170
Хелемский Я.—61
Хлебников О.—141
Храмов Е.—166

Цесельчук Д.—59
Цыбин В.—46

Чернов А.—57
Чугай О.—113
Чуев Ф.—104
Чухонцев О.—75

Шаламов В.—79
Шарыгина В.—137
Шевелева Е.—41
Шестинский О.—73
Шкляревский И.—153
Шлаин М.—56
Шленский В.—158

Щипахина Л.—67

Юдахин А.—96
Юшин Е.—85

Яковенко В.—117

Д34 ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1984. Москва: Сборник.— М.:
Советский писатель, 1985.— 176 с.

По традиции в очередной выпуск ежегодника входят новые произведения московских поэтов, статьи о проблемах современной поэзии, архивные публикации.

4702010200—392
Д ~~083(02)—85~~ 181—84

ББК84. Р7

Составитель

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА РЕБРОВА

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1984

М., «Советский писатель», 1985, 176 стр.
План выпуска 1984 г. № 181

Редактор *В. С. ФОГЕЛЬСОН*

Худож. редактор *Н. С. ЛАВРЕНТЬЕВ*

Техн. редактор *И. М. МИНСКАЯ*

Корректор *Т. Н. ГУЛЯЕВА*

ИБ № 4224

Сдано в набор 14.06.84. Подписано к печати 30.10.84. А02562.
Формат 60×84^{1/8}. Бумага офсетн. № 1. Гарнитура таймс.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 20,46. Уч.-изд. л. 24,34. Тираж
100 000 экз. Заказ № 3124. Цена 2 р. 70 к. Ордена Дружбы
народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва,
ул. Воровского, 11. МПО «Первая Образцовая типография»
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054,
Москва, Валовая, 28.

2р. 70к.

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ